



В 2004 году издательство М. и В. Котляровых впервые в России опубликовало роман Константина Чcheidзе «Страна Прометей» (1930) – светлое и пронзительное повествование о людях Кабарды и Балкарии, их менталитете, образе жизни и духовных ценностях.

И вот новая встреча с удивительным писателем – к читателю пришел роман «Крылья над бездной», написанный в 1942 году и до сих пор так и не изданный на русском языке (на чешском печатался во фрагментах).

Из кровавой реальности оккупированной фашистами Праги К. А. Чcheidze уходит в мир светлой легенды, в мир далекого прошлого, куда не донесутся звуки еще одной бойни, развязанной человечеством на противобожеских путях. Снова перед нами Кавказ во всем его божественном великолепии.

Старец Эльдар из Орсундаха (Орсундак – один из аулов Чегемского ущелья), ведет неторопливый рассказ о делах давно канувших лет, о вражде двух братьев, Кадая и Леуана, перешедшей на их потомков, и о финальном исходе этой вражды и торжестве Божьей правды.

Написанный ярко, образно, афористично, отмеченный местным колоритом, узнаваемыми реалиями горского быта, роман «Крылья над бездной» никого не оставит равнодушным. Также в издание включен раздел «Кавказская проза», в который вошли произведения разных жанров (рассказы, очерк, легенды), созданные в основном в 1920–1930-х годах и публиковавшиеся в эмигрантских изданиях.

К. А. Ухендзе

Крылья
над бездной



К. А. Ухеидзе

*Крымля
над бездной*

· Роман-сказ



Кавказская проза

Нальчик
Издательство М. и В. Котляровых
2010

ББК 83.3 (2Р-6 КБ)

Ч97

Проект *Марии и Виктора Котляровых*
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Издательство выражает искреннюю благодарность
дочери писателя Марии Чхеидзе,
правообладательнице литературного наследия К. А. Чхеидзе;
Литературному архиву Музея национальной письменности (Прага)
и Славянской библиотеке (Прага)

Чхеидзе К. А.

Ч 97 Крылья над бездной: Роман-сказ; Кавказская проза. – Нальчик: Издательство
М. и В. Котляровых, 2010. – 288 с.

ISBN 9-785-93680-369-7

В 2004 году наше издательство впервые в России опубликовало роман Константина Чхеидзе «Страна Прометей» (1930) – светлое и пронзительное повествование о людях Кабарды и Балкарии, их менталитете, образе жизни и духовных ценностях. И вот новая встреча с удивительным писателем – читателю предлагается роман «Крылья над бездной», написанный в 1942 году и до сих пор так и не изданный на русском языке (на чешском печатался во фрагментах).

Из кровавой реальности оккупированной фашистами Праги К. А. Чхеидзе уходит в мир светлой легенды, в мир далекого прошлого, куда не донесутся звуки еще одной бойни, развязанной человечеством на противобожеских путях. Снова перед нами Кавказ во всем его божественном великолепии. Старец Эльдар из Орсундаха (Орсундак – один из аулов Чегемского ущелья), «горного гнезда, что лежит выше полета орлиного, выше облаков грозových, среди гранитных скал, ледников и лесов», ведет неторопливый рассказ о делах давно канувших лет. О вражде двух братьев, Кадая и Леуана, перешедшей на их потомков, и о финальном исходе этой вражды и торжестве Божьей правды. Он скорбит об ушедших и оставляет завет живущим, завет обезумевшему человечеству, забывшему о своем назначении на Божьей земле: «Живи, верь, надейся, трудись, больше всего люби, сострадай с несчастным, отрицай зло, вечно слушай правду голоса совести своей».

Написанный ярко, образно, афористично, отмеченный местным колоритом, узнаваемыми реалиями горского быта, роман «Крылья над бездной» никого не оставит равнодушным.

Также в издание включен раздел «Кавказская проза», в который вошли произведения разных жанров (рассказы, очерк, легенды), созданные в основном в 1920–1930-х годах и публиковавшиеся в эмигрантских изданиях.

В книгу включены предисловие Анастасии Гачевой, издательское послесловие к роману «Крылья над бездной», а также воспоминания дочери писателя – Марии Чхеидзе, широко проиллюстрированные фотографиями из семейного архива, большинство из которых публикуется впервые.

© А. Г. Гачева, составление, предисловие, примечания, 2010

© Й. Вацек, А. Г. Гачева, В. Н. Котляров, М. А. Котлярова,
подготовка текста, 2010

© М. К. Чхеидзе, текст, иллюстрации, 2010

© Издательство М. и В. Котляровых, 2010

ВЗЫСКАНИЕ СОВЕРШЕНСТВА (Жизнь и творчество Константина Чхеидзе*)

«Моя тема – Кавказ»** – так в интервью чешскому журналу «Обозрения литературы и искусства» обозначил главную тему своего творчества Константин Александрович Чхеидзе. Писатель, мыслитель, публицист, литературный критик и мемуарист, один из ведущих деятелей евразийского движения, создатель архивного собрания *Fedoroviana Pragensia*, посвященного философу-космисту Н. Ф. Федорову... В каждой из этих ипостасей он проявлялся самобытно и ярко, щедро изливая в мир богатства ума и души.

Как писатель, К. А. Чхеидзе стал явлением чешской литературы, хотя за годы жизни в Чехословакии так и не начал писать по-чешски. Все его произведения писались по-русски, сначала от руки, потом на старенькой машинке, верно служившей ему многие годы, и лишь затем переводились на чешский язык. Во многом именно благодаря Чхеидзе в сознание чешских читателей XX века вошел образ Кавказа – во всей его многогранности, исторической, духовной, культурной. Неудивительно, что в Чехии и в предвоенное десятилетие, и в 1960–1970-х годах, когда, вернувшись из сталинских лагерей, Чхеидзе снова начал писать, да и теперь, в начале XXI века, его творчество известно гораздо более, чем на родине.

«Возвращение» – так назвал А. П. Платонов один из своих военных рассказов. Возвращение домой, под стены родного дома, к тому корню жизни, оторвавшись от которого сохнут и никнут ветви. Возвращение в отечество, на землю предков, к истокам родовой и народной памяти. Сам Чхеидзе духовно никогда не отрывался от этого корня. Но мы, ныне живущие, влекомые сладкими призраками, свои корни обрубаем легко и бездумно; желая быть «современными», не жалеем о прошлом и не помним традиций. Возвращаясь на родину спустя десятилетия после того, как его прах упокоился в чешской земле, Чхеидзе возвращает потомкам утраченный ими мир, возвращает нам нас самих.

* * *

Русский по матери, грузин по отцу, Константин Чхеидзе родился в 1897 году в Моздоке, где его предки, ставшие в XVIII веке русскими подданными, получили земли от правительства Екатерины I. Аристократический род князей Чхеидзе верой и правдой служил государству Российскому, не роняя чести фамильного герба, изображавшего меч, брошенный на чашу весов. Отец, Александр Чхеидзе, в юные годы добровольцем ушел на Русско-турецкую войну и участвовал в боях под Шипкой. Первым в семье он женился не на грузинке, а на девушке из русской семьи. Дочь полковника, незнатная и небогатая, обладала замечательной красотой и добрым, отзывчивым сердцем.

В семье Чхеидзе было шестеро детей. Пять девочек и Константин, единственный сын, «продолжатель рода». От отца он унаследовал независимость и твер-

* Статья подготовлена в рамках программы Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России».

** Чхеидзе К. А. Страна Прометей. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2004. С. 257.

дость характера, от матери – чувствительность, доброту, живой и подвижный ум. Родителей и сестер он очень любил, хотя отец умер рано, когда мальчику исполнилось только пять лет. Любил и бабушку Анну, мать отца, несмотря на ее властный и своенравный характер. Не одобрявшая выбор сына, женившегося не на ровне, она искренне была привязана к внуку.

С детства Константина Чхеидзе чрезвычайно интересует мир вокруг него: и ближний – домашний, с семейными традициями, реликвиями, родовыми преданиями, и городской – с ежегодными ярмарками, устраивавшимися после Успения, заезжим цирком. Моздок был многонационален, этнографически пестр: здесь жили грузины, армяне, «осетины, кабардинцы, чеченцы, ингуши, немцы, казаки, украинцы, евреи, персы»*. Бытовой и религиозный уклад этих больших и малых народностей Чхеидзе позднее опишет в воспоминаниях, не забыв подчеркнуть, что разница в типах и условиях жизни, а она подчас была поразительной, не мешала мирным отношениям между ними.

Впечатлительность натуры соединялась в Константине с мальчишеской удачей. Вместе со сверстниками он ездит верхом, ловит рыбу, ходит в дальние походы, легко перенося трудности и лишения, совершает свои маленькие подвиги, вселяющие в него чувство гордости: мало кто из молодежи решался переплыть бурный Терек, а он решился и переплыл. А еще однажды спас двух друзей, едва научившихся плавать и легкомысленно полезших в воду в опасном месте.

Мир человеческий во всей его многоликости – этнокультурной, религиозной, психологической – входил в душу ребенка, сплетаясь с миром природы. Первозданная красота Кавказа, воспетая Пушкиным и Лермонтовым, завораживала, наполняла сердце восторгом, возвышала ум и психею. Этот высокий строй мысли и чувства не был утрачен Константином Александровичем даже в самые трудные и страшные годы.

С детства его особенно влекли к себе горы. «Величественная красота горных вершин вселяла уверенность в том, что мир, в котором существует такое неизъяснимое великолепие, не может не быть прекрасным» (Воспоминания. С. 36). Кавказские пейзажи навсегда останутся в его памяти как эталон красоты. Ими он будет поверять впечатления от европейских ландшафтов, их не раз будет описывать в своих книгах. К ним будет улетать воображением и в лемносских палатках, и в болгарских рудниках, и в тесной комнатке в пражском студенческом общежитии.

Впрочем, русско-грузинский мальчик не только наблюдает, запечатлевая в уме и сердце образы человеческого и природного мира. Он еще и стремится ответить на вопрос: «почему», «понять мир, людей и самого себя» (Там же. С. 37). Его волнуют причины самых разных явлений – от взаимной непохожести национальных физиономий, верований, укладов жизни до событий в политике – ведь отзвуки первой русской революции докатились и до Моздока. Он хочет найти причины превратности жизни – еще в раннем детстве Константин почувствовал ее на судьбе собственного рода: умирали близкие, покончил с собой кузен Арсений, был убит в результате то ли злого умысла, то ли несчастного случая кузен Симеон. В поиске от-

* Чхеидзе К. А. События, встречи, мысли // Литературный архив Музея чешской литературы. Фонд К. А. Чхеидзе. 6/71/0003. С. 22. Машинопись с авторской правкой. Далее ссылки на воспоминания К. А. Чхеидзе даются в скобках после цитаты с указанием номера машинописной страницы. В настоящее время воспоминания К. А. Чхеидзе готовятся к изданию Домом русского зарубежья им. Александра Солженицына и Литературным архивом Музея национальной письменности.

вета мальчик бродит по фамильному дому, всматриваясь в портреты отца и деда, трогает отцовские вещи – «янтарные мундштуки, оружие, портсигар», как будто просит помочь. «Но портреты и вещи хранили торжественное молчание» (Воспоминания. С. 19).

В одиннадцать лет Чхеидзе уезжает из родного дома. Его судьба предрешена: в отцовском роду все были военными; фамильная шашка, на протяжении поколений переходившая от отца к сыну, уже ждала своего наследника. «Я должен был стать военным, служить в кавалерии, в Северском, Нижегородском или Тверском драгунском полку», – напишет он в воспоминаниях (Воспоминания. С. 29).

Полтавский кадетский корпус, в который поступил Чхеидзе в 1908 году, носил имя Петра Великого. «Просторные классы, широкие коридоры, залы, увешанные портретами императоров во весь рост, красивая церковь внутри здания, большая столовая в нижнем этаже со сводчатыми потолками» (Там же. С. 39), а еще спальни, гимнастический зал, библиотека. Преподавание было поставлено хорошо: общему образованию уделялось не меньше внимания, чем военной подготовке будущих офицеров. В учебной программе корпуса были физика, математика, география, иностранные языки, музыка, литература, история, наконец, закон Божий, который вел отец Сергей Четвериков, в будущем – известный деятель эмиграции, один из духовных столпов Русского студенческого христианского движения.

Еще в родном Моздоке Константин Чхеидзе пристрастился к чтению: в доме одного из братьев отца было прекрасное собрание книг – несколько тысяч томов. В кадетском корпусе увлечение книгой стало постоянным и прочным. Чхеидзе был назначен заведующим библиотекой. Читать начал запоем, да так, что запустил все предметы и провалился на ближайших экзаменах. Впрочем, оценки он быстро исправил и к окончанию корпуса был в десятке лучших учеников.

В фундаментальной библиотеке корпуса, куда допускали немногих, он читает русских классиков: Достоевского, Толстого, Горького. «Историю моего сознания, – напишет позднее, – можно разделить на две части: до знакомства с Достоевским и после знакомства с ним» (Там же. С. 46). Свои впечатления обсуждает с Асланбеком Шериповым, будущим деятелем революционного движения на Кавказе, а пока – кадетом четвертого курса. Асланбек, гордый чеченский юноша, не менее Константина взволнован чтением Достоевского, но его чувства ближе к ненависти, чем к любви: он презирает Раскольникова и Дмитрия Карамазова, его отталкивают нервные образы героинь и лишь «Записки из мертвого дома» вызывают симпатию – за сочувственное изображение дагестанцев. «Записки из мертвого дома» близки и Чхеидзе. Позднее он напишет этюд о сходстве дагестанца Али с Алешей Карамазовым.

Именно в корпусе впервые берется он за перо. Сначала – по учебной нужде (характерны названия его работ: «Рыцари средних веков», «Смысл танцев»), а затем и по зову сердца. Вместе с учившимся в корпусе племянником писателя В. Г. Короленко издает журнал «Огонек». Потом затевает новый журнал, носивший название «Сигма»; основной темой было «стремление к объединению. Кого и чего – оставалось не вполне ясным и его творцу» (Там же. С. 57).

Славный Петровский полтавский кадетский корпус Чхеидзе оканчивает в мае 1916 года. А с октября начинаются занятия в Тверском кавалерийском училище. Здесь он сразу становится одним из первых учеников. Не только талант писателя пробуждается в юноше, но и талант кавалериста. Отец посадил Константина на лошадь, когда тому было 4 года. Занятия верховой ездой мальчик полюбил с детства.

И в корпусе, следуя семейной традиции, увлеченно оттачивал мастерство конника, вдохновляясь в своих занятиях не только примерами жизни, но и образами литературы: описаниями гусар и гусарской жизни в произведениях Лермонтова, Дениса Давыдова, Льва Толстого.

И в кадетском корпусе, и в кавалерийском училище будущим офицерам внушали неписанный завет: «Армия вне политики». Но внешние события развивались так, что политические ветры доносились и до училищных стен.

Второго марта 1917 года, в день отречения Николая II, в городе вспыхнули беспорядки. Озверевшая толпа растерзала губернатора, осадила здание Временного комитета. Представители Временного правительства обратились за помощью к юнкерам. Молодые корнеты до поздней ночи патрулировали город, стремясь удержать обезумевших, пьяных вином и кровью людей от новых насилий. Не высокий, не романтический – «изнаночный», искаженный злобой лик революции предстал им тогда. Позднее Чхеидзе будет писать, что эти ненависть и насилие были лишь одной, частичной правдой, что была и другая, высокая правда социального переворота, питавшаяся верой в возможность справедливого, братского устройства людей на земле. Но всегда будет жить в нем понимание, рожденное и личным опытом, и прикосновением к духовному опыту русской классики, что цель средства никогда не оправдывает, что если нет братских чувств в сердцах человеческих, никакой социальной гармонии создать нельзя: неизбежно взорвется она изнутри под натиском темных энергий ненависти и розни.

После Февральской революции Тверское училище, присягнувшее Временному правительству без энтузиазма, но спокойно и твердо, следуя новым веяниям, перешло на самоуправление. Власть в нем теперь принадлежала корнетскому комитету. Комитет, председателем которого являлся Чхеидзе, был символом училищных традиций, стабильности и внутреннего порядка. Константина избрали и членом губкома, но царившая на заседаниях атмосфера – неразбериха, крики с мест, перебранки ораторов – неприятно поразила его, привыкшего к военной четкости и дисциплине, а когда он узнал, что принимаемые резолюции заранее готовятся рабочим центром, находящимся под влиянием большевиков, это известие отбило у молодого корнета всякую охоту участвовать в подобного рода играх управленческой власти.

На Пасху 1917 года Чхеидзе отправился к семье на Кавказ. И тут произошла встреча, определившая его судьбу не только на ближайшие годы – в сущности, на всю жизнь. Он оказался в одном поезде с Заурбеком Даутоковым-Серебряковым, офицером Кабардинского конного полка. После разговора с Заурбеком неясное намерение служить именно в этом полку стало твердым решением. И спустя полгода, 25 октября 1917 года, в день Октябрьского переворота, пустившего историю России совсем по новому руслу, молодой офицер Константин Чхеидзе прибыл в Нальчик, где в это время дислоцировался Кабардинский полк.

Он служил в третьей сотне под началом Заурбека, ставшего и его начальником, и старшим другом. Вместе с ним принял участие в смелой операции в Пятигорске: третья сотня в составе 54 человек сумела предотвратить большевистское восстание в городе. Когда в Кабарде установилась советская власть и рядовые и офицеры полка были распущены по домам, Чхеидзе не прерывал общения с командиром – часто разговаривали они по душам: о революции и ее смысле, об идейном и духовном кризисе, постигшем страну в предреволюционные годы и углубляющемся в современности, о судьбах народов Кавказа и их взаимоотношениях с Россией.

В одну из таких бесед Константин признался, что хотел бы получить высшее образование, стать психиатром, но не практиком, а теоретиком в этой области. Где учиться? Возможно, в Киеве, Одессе, а лучше всего в Тбилиси.

«– Если бы попал в Тбилисский университет, тем самым возвратился бы в страну своих отцов; а это тоже мое давнее желание...

– Интересно, – сказал Заурбек. – Ты, оказывается, мечтатель... Университет! Хорошо задумано» (Воспоминания. С. 228).

Мечты об университете в это разорванное, кровавое время так и остались мечтами. Вскоре вспыхнуло восстание на Терекке, Заурбек образовал военный отряд и партию «Свободная Кабарда», и Чхеидзе стал его личным адъютантом и секретарем. Так будущий писатель оказался в Белом движении и должен был разделить его судьбу до конца.

Об эпохе Гражданской войны он напишет потом немало страниц. Ей будут посвящены повесть «Моменты» и главы книги «Страна Прометей», романы «Глядящий на Солнце» и «Навстречу буре», исторический очерк «Генерал Заурбек Даутоков-Серебряков и Гражданская война в Кабарде», обширная глава мемуаров «События, встречи, мысли».

Смысл происшедшего со страной и людьми Чхеидзе будет осмыслять в публицистических статьях, письмах, записях из дневника: «Люди – не классы, не сословия, не социальные группы, не граждане, – а просто люди возненавидели друг друга. Возненавидели какой-то безликой, беспредметной ненавистью. Озлобились на самую жизнь. На идею жизни. Именно поэтому происходили стихийные зверства где-то на глухих станциях, хуторах, [в] кварталах. Люди убивали людей, самих себя. Ненавистен был не буржуй или офицер, не коммунист или красноармеец – ненавистен был живой человек»^{*}.

Но рядом с разгулом ненависти и злобы, заставлявшей с дьявольской, безумной жестокостью истреблять себе подобных, истово нарушая Божий завет «Не убий!», бывший корнет наблюдал и примеры «великодушия, героизма, самопожертвования, святости» (Там же. С. 255), решимости «положить душу свою за друзей». Он видел высокий идеализм, живший в душах тех, кто стоял по разные стороны баррикад. И позднее, размышляя о трагедии революции и Гражданской войны, подчеркивал, что у каждой из сторон была своя – дробная, частичная, – правда, за которую ее защитники готовы были идти на смерть. Трагедия же состояла в том, что ни одна сторона не была способна возвысить эту частную правду до правды целостной и абсолютной, способной примирить идейные антагонизмы, синтетически вместить в себя – в претворенном, избавленном от разделяющих крайностей виде – правды отдельных личностей, слоев, классов, народов.

Двадцать седьмого августа 1919 года в боях под Царицыным погиб Заурбек. Чхеидзе сам вывез тело друга с поля сражения. По его собственному признанию, с этого момента на протяжении трех лет он жил «по инерции» – слишком крепка была их духовная связь. Что касается военной службы, то после гибели Заурбека Чхеидзе стал адъютантом правителя Кабарды князя Тембота Бековича-Черкасского – по настойчивой личной просьбе последнего. А зимой 1919/20 года начался разгром Белого Юга. В феврале 1920 года остатки кабардинских войск прибыли в Нальчик. Впереди было прощание с родиной – как оказалось, навеки – и тяжелый, изматывающий переход через Владикавказ и Дарьяльское ущелье в Грузию. Четвертого

^{*} К. [Чхеидзе К. А.]. Казачьему сполоху // Казачий сполох. 1924. № 1. С. 22.

марта длинная «колонна – всадники, пулеметные тачанки, артиллерия, подводы с женщинами, стариками, ранеными и детьми – двинулась, растянувшись на несколько верст, из города. Город сразу опустел, онемел, окаменел. На горизонте сверкали на фоне пронзительно голубого неба величавые гребни гор. Горы стояли здесь в неприступном, торжественном, замкнутом в себе молчании на заре веков» (Воспоминания. С. 310).

Образ этих гор, молчаливых свидетелей тысячелетней истории человечества, ее взлетов и падений, святости и безобразия, уносил в своем сердце в изгнание Константин Чхеидзе.

* * *

Душети, Мцхети, Гори, Поти. Переправа на кораблях в Феодосию. Врангелевский Крым, напоминавший за краткое время своего существования «древний Карфаген, уже осознавший свою неизбежную грядущую гибель» (Там же. С. 319). Бои на Перекопе. Разгром армии Врангеля. В первых числах ноября 1920 года десятки судов с военными и беженцами отчаливают от родных берегов. В романе «Без гнезд» (1943–1944), который так и не увидит света, Чхеидзе подробно опишет последний акт «белой трагедии» – изнурительное плавание по Черному морю. Казалось, сама природа отвернулась тогда от русских изгнанников. В пути штормило, пассажиры переполненных судов страдали от тесноты, недостатка воды и пищи, многие мучились морской болезнью. Но главное – в душах беженцев царили уныние, тоска, страх неизвестности, а белые воины испытывали горечь и стыд – за то, что не отстаивали Россию. Позднее в повести «Моменты» (1927) Чхеидзе выведет русского офицера Николая Зарина, одушевленного идеей спасти царскую семью, «их жизнь и через это жизнь России». С риском для жизни пробирается он в Екатеринбургскую губернию, но усилия его тщетны: царская семья расстреляна, а сам герой попадает в руки красных, отдающих его крестьянам на самосуд. Работая батраком на полях – идет уборка хлеба, дороги каждые руки, и старик, судья и сторож пленника, оставляет его в живых, – в один из отчаянных, горьких моментов Николай молит у Бога конца: «Я уйду к НИМ, к убитым, к которым прийти опоздал... Смерть, смерть даруй ми, Господи!..»*.

В Константинополе, а затем в Галлиполи и на Лемносе, куда были отправлены прибывшие в Турцию войска, к чувствам горечи и стыда присовокупляется унижение. Палатки, бараки, скудный паек (кусоч хлеба, перловка, старые мясные консервы), сырые дрова – такова была помощь союзников, за которых на фронтах Первой мировой проливали кровь русские солдаты и офицеры.

В рассказе «Лемносские встречи» (1927), описывая один вечер жизни на уединенном острове («Ты, Лемнос, ты наша каторга... / Иностранная тюрьма», – пели казаки-кубанцы на мотив знаменитой песни «Ты Кубань, ты наша родина»), Чхеидзе приводит разговор между старым казаком Фотеем Игнатьевичем и есаулом Иваном Могутовым:

«– Нет, ты вот чево скажи, Иван Филипыч! Ты, Иван Филипыч, вот чего объясни, – раскочивался дед, – ты с другого боку зайди... что б это было, скажи, ежели бы французы, али там англичан какой, али другой кто у нас на Дону али где бы то ни было в России спасенья, скажем, искал. Ты, Иван Филипыч, с этого боку зайди...

* Чхеидзе К. А. Моменты // РГАЛИ. Ф. 2475, оп. 1, ед. хр. 482, л. 9.

** Там же. Л. 7.

Слова Игнатьича произвели впечатление. Игнатьич неспроста тянул, да выматывал.

Могутов привскочил:

– Да уж никаких Лемносов Россия бы не устроила, за это будь покоен. Во-первых, их разместили бы в столицах и лучших городах. Во-вторых, если бы правительство не приняло их войска в нашу армию, общество устроило бы их так, что они и родину свою позабыли. В третьих, в любом городе, в любой станице приняли бы их лучше лучшего: и поили, и кормили... Да что считать? Что и сравнивать? Почувствуй, братцы, звучит-то как могутно: *Россия!*»*

Лемносское сиденье закончилось в октябре 1921 года. После краткого пребывания в Константинополе Чхеидзе попадает в Болгарию, согласившуюся временно принять часть русских войск. Блестящий корнет, князь, офицер становится черно-рабочим. Четырнадцать профессий переменял он за два неполных года: «Копал землю под виноградники, работал на постройке школы, церкви, плотины, был грузчиком на вокзале, валил лес под Шипкой, пилил и колол дрова всякому, кто наймет, прессовал сено на примитивном механизме с ручными рычагами, <...> месил ногами глину, одно время "преуспевал" на веревочной фабрике, обжигал кирпичи и т. д.» (Воспоминания. С. 378). Не на фронтах Гражданской войны, не в лемносских палатках – именно здесь, под палящим балканским солнцем, по-настоящему мужает его характер.

В начале августа 1923 года он получает письмо от одной из сестер. Она в Чехословакии, в Брно. Только что потеряла ребенка. Зовет к себе: «Приезжай хотя бы на месяц» (Там же. С. 391). Кружным путем Чхеидзе добирается до Австрии и там нелегально переходит границу Чехословакии – страны, с которой будет связана вся его дальнейшая жизнь.

«Русская акция» президента Чехословакии Т. Масарика, не только выдающегося государственного деятеля, но и блестящего ученого-слависта, открыла возможность для эмигрантской, прежде всего военной, молодежи получить в этой стране высшее образование. Свои двери для студентов открыли чешские вузы, в Праге были созданы Русский институт сельскохозяйственной кооперации, Русский институт коммерческих знаний, Русский педагогический институт, Русский народный университет и др. В 1922 году был образован Русский юридический факультет. Состоявший под протекторатом Карлова университета, крупнейшего университета Чехословакии, факультет собрал в своих стенах выдающихся деятелей русской гуманитарной науки. Здесь работали П. И. Новгородцев и П. Б. Струве, Н. О. Лосский и о. Сергей Булгаков, Г. В. Вернадский и Г. В. Флоровский, А. А. Кизеветтер и И. И. Лапшин, Н. Н. Алексеев и П. Н. Савицкий. Помимо преподавания юридических дисциплин в программу факультета было включено широкое изучение философии, логики, психологии, истории. На факультете царила творческая атмосфера, работали спецсеминары, кружки, объединения.

Девятого октября 1923 года К. А. Чхеидзе подает на имя декана Русского юридического факультета проф. П. И. Новгородцева прошение о приеме в число студентов**. Прошение удовлетворено, и выпускник Полтавского кадетского корпуса (именно этот диплом дал ему право на высшее образование), «адъютант его пре-

* Констал [Чхеидзе К. А.]. Лемносские встречи // Казачий путь. 1927. № 18 (111). 27 ноября. С. 16.

** Личное дело К. А. Чхеидзе // ГАРФ. Ф. 5765 (Русский юридический факультет в Праге), оп. 2, д. 1037, л. 44.

восходительства», двумя годами ранее сменивший ружье и шашку на лопату, тачку, пилу, меняет школу жизни на школу знания.

Характерной чертой натуры Чхеидзе всегда была страстность. Он не теплохладен – стремителен, горяч, обжигающ. Но сильная воля в конце концов сдерживает бурлящий поток, направляя его в русло дела и творчества. В письмах О. Н. Сетницкой, дочери философа Н. А. Сетницкого, он признавался, как в юности увлекался азартными играми: «Но однажды проиграл в один “присест” больше 20 тысяч, которые приготовил, чтобы купить новую лошадь. С той поры “дал зарок” и не играл». В Константинополе и на Лемносе – от неприкаянности, безнадежности, отсутствия цели существования – вместе с сотоварищами мог искать забвения в вине, «в зрелом возрасте приучился “запоем” работать»^{***}. Таким же «запоем» в 1923–1928 годах он учился. Помимо занятий на факультете вечерами по вторникам, средам и субботам посещал лекции Русского народного университета^{****}. Выпускные экзамены сдал отлично, дипломную работу на тему «Опыт анализа социальных норм» защитил блестяще и был рекомендован к оставлению при факультете для подготовки к профессорскому званию.

В представлении, поданном в дирекцию факультета 23 октября 1928 года, профессор А. Н. Фатеев, научный руководитель К. А. Чхеидзе, писал: «К. А. Чхеидзе с первого года своего поступления на факультет обратил на себя мое внимание. До окончания курса выделялся своею любовью и преданностью науке, способностью не только к критическому овладению ею, но самостоятельностью мысли, даром обобщения. Имя его неизменно в годовых отчетах факультета о научной работе многих семинаров. Он сделал 22 доклада, работая в областях, какие могли быть в помощь его занятиям в общей теории права.

Пятилетнее научное общение (как и его дипломное сочинение “Опыт анализа социальных норм”) дает мне полную уверенность, что он может продолжать научную деятельность на широком академическом поприще»^{****}.

Перечень двадцати двух докладов, упомянутых в представлении, сохранился в личном деле К.А. Чхеидзе. Вот только некоторые названия, демонстрирующие спектр интересов и занятий будущего писателя: «Новгородское вече»^{*****}, «Степенная книга и ее историко-политическая философия», «Сперанский и его место в развитии русского права», «Теория двух состояний А.П. Щапова», «Общество и индивид (с экономической точки зрения)», «Индивидуализм, коллективизм и соборность», «К познанию России», «Россия и Америка», «Лига наций и государства-материки»^{*****}.

Три последние темы – плод интереса Чхеидзе к философии евразийства. Еще в Болгарии он познакомился с программным сборником «Исход к Востоку» (1921), где четверо молодых философов Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский,

* К. А. Чхеидзе – О.Н. Сетницкой. 12 декабря 1973 // Московский архив А. К. Горского и Н. А. Сетницкого. Собрание Ю. Р. Берковского. Далее письма К. А. Чхеидзе О. Н. Сетницкой цитируются по этому источнику.

** К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 3 марта 1968.

*** Личное дело К. А. Чхеидзе // ГАРФ. Ф. 5765 (Русский юридический факультет в Праге), оп. 2, д. 1037, л. 47–48.

**** Там же. Л. 58.

***** Текст доклада, подготовленного К. А. Чхеидзе весной 1924 года в рамках семинара знаменитого историка, исследователя русских летописей М. В. Шахматова, ныне хранится в ГАРФ: ф. 5765, оп. 4, д. 55.

***** Личное дело К. А. Чхеидзе // ГАРФ. Ф. 5765, оп. 2, д. 1037, л. 59–60.

П. П. Сувчинский выдвинули идею своеобразия России как особого историко-географического и этнокультурного единства – Евразии, склад и судьба которой иные, чем у Европейского и Азиатского регионов. Выступая против евроцентризма, они подчеркивали: Россия – самобытный духовно-культурный мир, который должен развиваться по собственным, внутренне ему присущим законам, руководствуясь исконными началами духа народного.

Прага в 1920-х годах была одним из центров евразийского движения. На Русском юридическом факультете преподавали ведущие его деятели. Чхеидзе судьба свела буквально со всеми. Он занимался в семинаре Г. В. Вернадского по русской истории, в семинаре Г. В. Флоровского по истории философии, изучал государственное право у Н. Н. Алексеева и «россиеведение» у П. Н. Савицкого*. Но параллельно научным студиям шел поиск мировоззренческих опор и ориентиров: «Страстное желание понять, осмыслить пережитое, впитать опыт и знания тех “больших” и “мудрых”, которые шли впереди потока жизни и, казалось, руководили им; заглянуть в сокровенную сущность разыгравшихся (и разыгрывавшихся) в России и мире событий, уразуметь их причины и следствия, а может быть, и предугадать их конечные меты – вот вехи, определявшие пути начального периода моей жизни в Праге», – писал позднее Чхеидзе в воспоминаниях (Воспоминания. С. 394а). В евразийстве он надеялся обрести то всеобъемлющее мировоззрение, которое могло бы дать подлинные, а не мнимые ориентиры людям, прошедшим сквозь ужас гражданской братоубийственной бойни, искал идеал, способный по-настоящему одушевить историческое и социальное делание.

Вступив в движение в 1924 году, Чхеидзе нашел в нем и оправдание глубокой, все его существо захватившей любви одновременно и к русской культуре, и к культуре Кавказа. Образ Кавказа в его творчестве философски осмыслен, подан сквозь призму евразийских идей. Считая «проблему Восток – Запад» «основной осью, вокруг которой вращается вся мировая история», начиная с похода греков на Трою и завоеваний Александра Македонского, Чхеидзе рассматривает современность как «очередную фазу развития все той же единой мировой темы»: «Арена действия – расширилась до размеров всего Старого Света. Буквально весь мир: Россия, Европа, Индия, Китай, Япония и Америка – вовлечены в эту стремительно развертывающуюся трагедию. В центре событий – Россия, с ее срединным географическим положением; с ее двойственной полуевропейской, активной, отвечающей на вопрос “как?” и полуазиатской, созерцательной, отвечающей на вопрос “для чего?” душой... Одним из важнейших участников описываемой трагедии является Кавказ. Кавказ, в своих пределах и на свой манер, переживал и переживает все ту же мировую трагедию. С незапамятных времен греки (западники!) во главе с Ясоном искали в наших местах золотое руно. Также с незапамятных времен у нас известны восточные влияния: огнепоклонников, солнцепоклонников, последователей Заратустры и т. д. Миф о Прометее вовсе не случайно связан с Кавказом. Кавказ, удивительно сочетавший в себе цветущие долины, жители которых мгновенно перенимают все завоевания культуры, с мрачными теснинами, где возможно встретить не только средневековье, но подчас и пещерный период, – Кавказ как бы заключает в себе все времена и все письмена, оставшиеся от веков. Поэтому кавказцу легче, чем кому другому, понять и воспринять дух разных веков. Переезжая из современного города, расположенного на железной дороге, в горный аул, куда ведет выючная

* Несколько комментированных дат о К. А. Чхеидзе // ГАРФ. Ф. 5911, оп. 1, д. 120, л. 2.

тропа, – он за несколько часов проделывает путь нескольких веков. Кавказ – музей мировой истории. В нем находятся древние скрижали, содержание которых еще предстоит разобрать... И, быть может, именно Кавказу предназначена великая судьба приблизиться к нахождению того синтеза Запада-Востока, о котором у нас идет речь»^{*}.

Да, именно синтез Запада и Востока искал в эмигрантской Праге Константин Александрович Чхеидзе, грузин по отцу, русский по матери, выросший в многонациональном Моздоке. А еще – путь на Кавказ, который пролегал для него теперь не через военное противостояние большевистской власти, оказавшейся на поверку более национальной, чем то казалось ее оппонентам, сумевшей создать в исторических границах бывшей Российской империи мощную геополитическую державу и даже расширить эти границы, а через духовное перерождение ее изнутри. Евразийская система идей и должна была, по мысли Чхеидзе, стать основой этого перерождения, создать новый, целостный базис общественного и государственного строительства.

Любовь к России и Кавказу явилась в конечном итоге главной причиной тому, что Чхеидзе, подававший, с точки зрения профессоров, большие надежды как ученый, так и не выбрал научную карьеру в Праге, предпочтя ей место члена редколлегии газеты «Евразия» в парижском пригороде Кламар^{**}. Газета, выходявшая

^{*} Чхеидзе К. А. Моя тема – Кавказ // Чхеидзе К.А. Страна Прометей. С. 259–260.

^{**} Впрочем, поначалу Константин Александрович все же пытался сочетать научную и общественную карьеру. Объясняя в письме профессору А. Н. Фатееву от 14 (27) сентября 1928 года причины своего отъезда из Чехословакии, он писал: «Еще в период, когда я сдавал государственные экзамены и, следовательно, исход экзаменов был неизвестным, – мне было сделано предложение редактировать газету-журнал, учреждаемый в Париже. Я принял это предложение.

После сдачи экзаменов, из беседы с Вами, я узнал о возможности оставления меня при университете. Это известие было для меня радостным, придающим бодрость и энергию. За время пребывания на факультете я успел сродниться с русской правовой и философской науками и представлять себе отрыв от них было очень тяжело.

Покорнейше прошу Вас, Аркадий Николаевич, сообщить мне о моих возможностях в отношении факультета. Но независимо от этого вопроса и во всяком случае позволяю себе затруднить Вас просьбой указать мне перечень литературы – той литературы, которая помогла бы мне совершенствоваться на пути к знанию» (ГАРФ, ф. 5765, оп. 2, д. 1037, л. 61). По ходатайству А. Н. Фатеева, несмотря на то, что К. А. Чхеидзе находился в другом государстве, руководство факультета все же решило оставить его при кафедре государственного права (См.: Письмо декана факультета А. А. Вилкова К. А. Чхеидзе от 24 октября 1928 г. // Там же. Л. 63). Поскольку Чхеидзе должен был получать зарплату в редакции газеты «Евразия», оставлен при факультете он был без стипендии, что и сыграло в конечном итоге главную роль в прекращении его научной карьеры. После Кламарского раскола Чхеидзе, занявший сторону П. Н. Савицкого, вышел из редколлегии, утратив, таким образом, средства к существованию. Вернувшись в Прагу, он перебивался случайными заработками и соответственно не мог полноценно готовиться к магистерским экзаменам. Годовой отчет о литературе, прочитанной за год, он составил не по требуемой форме, а в виде краткого обзора в письме А. Н. Фатееву (К. А. Чхеидзе – А. Н. Фатееву. 28 сентября 1929 // Там же. Л. 64–68), и только доброе отношение научного руководителя, передавшего текст письма руководству факультета и сделавшего к нему приписку: «[господин] К. А. Чхеидзе находится в столь тяжелых материальных условиях, что сделанное им представляется достаточным. В следующий срок он представит отчет в официальной форме. Его занятия признаю удовлетворительными» (Там же. Л. 68), – защитило его от отчисления. О том, в каких «тисках» находился магистрант в конце 1920-х

в 1928–1929 годах, задумывалась как главный периодический орган движения. В редколлегию вошли члены парижской евразийской группы П. П. Сувчинский, Д. П. Святополк-Мирский, Л. П. Карсавин, С. Я. Эфрон и др. Они были представителями левого крыла движения, выступая за поворот лицом к СССР. Пражская евразийская группа во главе с П. Н. Савицким стояла на правых позициях, критикуя настроения парижан. Что касается К. А. Чхеидзе, то он ко второй половине 1920-х годов становится влиятельной фигурой пражского евразийства, опорой П. Н. Савицкого, с которым его теперь связывает не только товарищество по движению, но и искренняя, сердечная дружба. Лучшей кандидатуры для отстаивания своей позиции в редакции «Евразии» Савицкий найти просто не мог.

В августе 1928 года Константин Александрович «впервые вдохнул парижский воздух, насыщенный историческими воспоминаниями, увидел парижское небо, на которое глядели бесчисленные любимые персонажи В. Гюго, О. Бальзака, Г. Флобера» (Воспоминания. С. 427). Едва пожав руки будущим коллегам, он бросился «осматривать Нотр-Дам-де-Пари», «где венчались на царство вереницы Людовиков, где Наполеон сам воздел на себя императорскую корону, где испытывал адские муки Клод Фролло и где гнезвился дух Квазимодо. Но дань поэзии <...> заняла только первый день. А на второй – Париж стал уже “рабочим местом” и окружили довольно жесткие условия журналистских занятий.

Прежде всего, выяснилось, что парижские евразийцы – народ совсем иного закала и профиля, нежели пражские. В Праге – прежде всего дело, во всем ясность, некоторый “дух Спарты”, спайка и дисциплина. У “парижан” чувствовалось своего рода сибаритство, имели значение аперитивы, обильный завтрак – в полдень, еще более обильный обед – вместо ужина» (Там же. С. 427). Разница жизненных стилей дополнилась разницей идеологических установок: «Дело сводилось к определению евразийства в системе современных русских идеологических течений. Принадлежим ли мы больше к эмигрантскому миру или советскому? И в чем? И в какой степени? И где проходит водораздел? И что считать “абсолютным аксиоматическим фондом”, а что “тактическими утверждениями”? – Почва довольно деликатная, зыбкая» (Там же. С. 429).

С самого начала у Чхеидзе не сложились отношения с П. П. Сувчинским, в руках которого фактически находилось издание «Евразии». «Вылощенный барин с аристократическими манерами» (Там же. С. 429) раздражал бывшего офицера, не раз смотревшего в лицо смерти и не понаслышке знавшего, что такое черный, поденный, копеечный труд. Настораживало Чхеидзе и стремление Сувчинского «дать

годов, красноречиво свидетельствует его письмо секретарю юридического факультета профессору П. П. Остроумову, написанное в ответ на приглашение принять участие в торжественном обеде по случаю чествования профессоров Е. В. Спекторского, М. А. Циммермана и И. И. Маркова:

«Дорогой Петр Петрович!

Прошу передать глубокоуважаемому мною А. А. Вилкову сердечную благодарность за приглашение участвовать в проводах пр.пр. Циммермана и Маркова и приветствии пр. Спекторского. Полное отсутствие не только “лишней копейки”, но даже просто “свободной копейки” заставляет меня отказаться от мысли быть в обществе людей, которых уважаю и люблю. От души желаю участникам собрания во главе с А. А. всяческого благополучия и веселого времяпрепровождения.

Искренне преданный Вам
9 / X 1929» (Там же. Л. 69).

К. Чхеидзе

русскую трактовку марксизма» (Там же. С. 430) – он опасался растворения евразийства в марксизме, утраты движением собственного творческого лица.

Идейные споры внутри редколлегии в конечном итоге привели к расколу. В седьмом номере «Евразии» было напечатано открытое письмо Н. С. Трубецкого, заявлявшего о выходе из евразийской организации, затем состоялось публичное выступление правых евразийцев, во время которого было заявлено об «отпадении» парижской группы, вышла в свет брошюра «Газета "Евразия" не есть евразийский орган» за подписью П. Н. Савицкого, Н. Н. Алексева, В. Н. Ильина... Чхеидзе последовательно и убежденно выступает на стороне правых. Он входит в редколлегию «Евразийского сборника», определившего платформу посткламарского евразийства, печатает здесь статью «Евразийство и ВКП(б)», посвященную проблеме смены коммунистического правящего отбора с его оскопленной, атеистической идеологией евразийским правящим отбором, способным предложить народу, ищущему Божьей правды, идею целостную и религиозно укорененную.

В 1929 году Чхеидзе возвращается в Прагу. Евразийство по-прежнему занимает одно из центральных мест в его мысли и жизни. Он активно работает в Пражской евразийской группе, входит в ЦК организации, состоит в редколлегии основных евразийских изданий. Ведет постоянную переписку с парижскими, брюссельскими, эстонскими, литовскими евразийцами, инициирует выпуск в Нарве в 1933 году евразийского сборника «Новая эпоха. Идеократия. Политика. Экономика. Обзоры». Составляет и редактирует «Евразийские тетради» (1934–1936), регулярно посылает материалы для брюссельского «Евразийца». При этом чисто организационной сферой его деятельность не ограничивается. Во второе евразийское десятилетие он вступает как идеолог, стремясь дать движению, обессиленному кламарским расколом, новый творческий импульс, вывести евразийскую концепцию, которая на первых этапах своей истории мыслила себя обращенной лишь к части народов земли, тех, что живут на пространстве России-Евразии, на уровень общечеловеческого мировоззрения*. Призывает к оплодотворению евразийства ценностями русской религиозной философии с ее идеями богочеловечества, активного христианства, истории как «работы спасения». Выдвигает концепцию «совершенной идеократии», несущей в себе целостный религиозный идеал в противоположность разного рода лжеидеократиям, основанным на идеале дробном, ущербном (коммунизм, фашизм и др.), и в христианском ключе осмысляет важную для посткламарского евразийства идею «идеократического интернационала». Объединение государств-материков и населяющих их больших и малых народов мыслится философом как путь к всеземному единству, открывающему новую творческую эру истории. Чхеидзе переосмысляет ключевое понятие евразийской мысли – «месторазвитие», расширяя его до планетарных масштабов: «Человечество, занимающее поверхность земного шара, представляет собою объект геополитического исследования. Причем в этом случае месторазвитием будет весь земной шар, а субъектом истории – все человечество**».

* Подробнее о роли К. А. Чхеидзе в евразийском движении см.: Гачева А. Г. *Неизвестные страницы евразийства: К. А. Чхеидзе и его концепция «совершенной идеократии»* // Вопросы философии. 2005. № 9. С. 147–167.

** Чхеидзе К. А. *Из области русской геополитики* // Тридцатые годы: Утверждение евразийцев. Париж, 1931. Кн. 7. С. 109.

Впрочем, это уже 1930-е годы. А мы возвращаемся в середину 1920-х. Ибо помимо деятельности общественной и философской разворачивается и крепнет тогда деятельность Чхеидзе-писателя, та, что вскоре введет его в литературу русского зарубежья, а потом и в чешскую литературу.

* * *

Есть писатели, начинающие с поэзии и потом переходящие к прозе. Так начинал И. С. Тургенев: до знаменитых «Записок охотника», до романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» были поэмы, в том числе сочувственно принятая В. Г. Белинским поэма «Параша». Начинал как поэт и А. Н. Толстой, автор «Хождения по мукам» и «Петра I», и если первую, откровенно слабую книгу стихов он сам называл плохой, подражательной и наивной, то вторая, «За синими реками» (1911), вобравшая в себя впечатления писателя от знакомства с русским фольклором, народными верованиями и бытом, была гораздо удачнее.

А как у Чхеидзе? В одном из писем О. Н. Сетницкой он шутивно признавался, что стихи писал всего «один раз в жизни, на пари», дабы утереть нос некоему поэту-графоману, хваставшему своей гениальностью. За час написал несколько стишков «такого же "качества"», тот, будучи редактором журнала, два из них напечатал, тем дело и кончилось^{*}.

Одно из этих стихотворений разыскано^{**}. Оно появилось в журнале «Казачий сполох» в 1925 году. Неточные рифмы, неуклюжие – намеренно неуклюжие – метафоры (надо же было посрамить приятеля, уверенного, что подобного рода стихи – по меньшей мере шедевры), чересчур выпренный слог. Но в стихотворении есть свой ритм, своя динамика, а сквозь огрехи слова и образа пробивается искренняя, честная, мужественная интонация. Она-то в конечном итоге и рождает в душе читателя то волнение, без которого любое, даже формально «безупречное» стихотворение – только набор рифмованных строчек:

Ты же – ты!

Тебе – кресту житейской бури,
Тебе – облитому волной,
Тебе – исполненному горя,
Тебе – разбитому грозой;

Тебе – блуждающему скорбно,
Тебе – мишени града мук,
Тебе – взмятенному тревогой,
Тебе – изогнутому в лук –

Я говорю:

* К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой, 17 января 1966.

** [Vacek J.] Bibliografie dosud zjištěného literárního díla Konstantina Čcheidzeho // Zírající do Slunce. Literárněvědný sborník o životě a díle gruzínského knížete Konstantina Čcheidzeho, spisovatele v Čechách. Sestavili V. Bystrov a J. Vacek. Praha, 2002. S. 93.

Оставь раздумье!
Я говорю:
Долой тоску!
Я говорю:
Гори желаньем!
Я говорю:
Дерзай! дерзай!

Пусть жизнь цвела в кровавой бане,
Пусть увядал твой цвет в грязи,
Ты жив! ты молод! ты же – ты!
Дерзай! зажги свои мечты!

«Ты же – ты!» – формула самосознания, самоотчета. В первые пражские годы Чхеидзе действительно *собирал себя*. После кровавой бани Гражданской войны и трагедии Крыма... После константинопольского и лемносского сидения, унижающе-стыдного, исполненного убивающей безнадежности... После двух лет болгарской, почти что каторжной, лямки... Средоточием внутреннего собирания, *вертикализации* духа, огранки души стало слово. Силу и священность этого логосно-сердечного орудия, данного из всех живых существ лишь человеку, Константин Чхеидзе всегда ощущал. Ничто так не было ему чуждо, как *болтовня*, бессмысленная, ни к чему не обязывающая, легковесное, пустое *плетенье словес*... И малые формы, с которыми входит он в литературу: очерк, рассказ, микропроза, – от этого ответственно-го отношения к слову, сознания его связи со Словом, Которым все «начало быть» (Ин. 1:3). Он не позволяет себе переводить драгоценный дар на пространные «пробы пера», расточать его попусту. Он внимателен к каждому слову, вводимому в текст, к его звучанию и значению, и делает все, чтобы не потерялось оно в ряду других слов, но явило во всей полноте свою силу и красоту.

Чхеидзе начинал не как поэт или прозаик, для которого реальность, художественно претворенная, оказывается истиннее достоверной, но голой действительности. Он начинал как журналист, обращенный к жизни во всем ее «реализме», как мыслитель-публицист, стремящийся понять смысл современных событий, ответить на вопрос, что происходит с Россией, с миром, с человеком. В краткой автобиографии, написанной в 1931 году для Союза русских эмигрантских писателей и журналистов в Чехословакии, он упоминал, что еще в годы Гражданской войны «эпизодически сотрудничал в газетах: "Кабардинец" (1919 и 1920) и "Южный Курьер" (1920)», а с Лемноса посылал «корреспонденции в различн[ые] газеты», не зная, впрочем, какие из них попали в печать*. И на страницы пражской эмигрантской печати Константин Чхеидзе вышел с взволнованной, страстной, зовущей к делу и творчеству публицистикой. Он включается в спор о путях возрождения России, об отцах и детях эмиграции, об их духовных ориентирах. Первые статьи, опубликованные в 1–3-м номерах журнала «Казачий сполох» за 1924 год, представляют собой пламенные обращения автора к его создателям и идеологам. Чхеидзе призывает новый журнал быть «выразителем настроений молодого поколения»***, его исканий, его веры. Он выступает против отвлеченного умствования, свойствен-

* Казачий сполох. 1925. № 6–7. С. 35. Подпись: «К».

** РГАЛИ. Ф. 2724, оп. 1, ед. хр. 89, л. 2.

*** К. [Чхеидзе К. А.]. Казачьему сполоху // Казачий сполох. 1924. № 1. С. 21.

ного, по его мысли, «отцам» эмиграции, против попыток устроить русскую жизнь согласно теоретическим схемам – слишком часто «преклонение перед карточно-программными домиками» оборачивается разрушением «зданий, созданных “беспрограммными” усилиями сотен и сотен поколений; созданных историей и жизнью»^{*}. Чхеидзе подчеркивает, что поколение, к которому принадлежит он сам, стремится идти не от теории, а от жизни, внимательно прислушивается к биению ее пульса. Оно стремится изучать Россию во всей полноте и, не претендуя на то, чтобы в два-три месяца переродить страну на новых началах, готово к труду самовоспитания, к долгой и кропотливой работе, к деланию, основанному на союзе любви и творчества.

Пути выхода России из исторического и духовного кризиса Чхеидзе мыслит не на путях сепаратизма, но в идее единства. Именно сепаратизм привел, по его убеждению, к провалу Белого движения. Протест против «советского монополизма» объединил защитников белой идеи с лидерами националистических движений в областях России. В результате «идея парцелятивного местного национально-величия» «ослабила и разбила общий подъем на множество частичных, местных сопротивлений», что в конечном итоге привело к поражению и «советизации всех частей России»^{**}. В духе представителей русской религиозно-философской традиции, разрешавших антиномию частного и общего, национального и общечеловеческого через идею соборного единства наций и народов, Чхеидзе рисует образ будущей России как симфонии национальностей и их самобытных культур. Он грезит о «России бесчисленного числа племен и наречий; бесконечно богатой самоцветными гениями многих народов, рождающих ныне единый, могучий, всеобъемлющий, всем понятный, близкий и родной – гений любви и творчества, гений грядущей России»^{***}.

Сознательно и твердо дистанцируется Чхеидзе от классовых, партийных оценок: какой бы эта партийность и классовость ни была, она неизбежно сужает духовный и мыслительный горизонт, мешает видеть явления жизни в их полноте. В 1925 году в журнале «Кавказский горец» писатель помещает очерк об Асланбеке Шерипове, одном из лидеров большевистского движения на Кавказе. И уже в первых строках признается, что его не интересует «Аслан-Бек революции», «Аслан-Бек – митингов, речей, политики»^{****}. Чхеидзе пишет о другом Асланбеке – юноше, которого когда-то встретил в стенах Полтавского кадетского корпуса, с которым читал и переживал Достоевского, который – втайне от учителей и учеников – знакомил его со своими стихами.

Толчком к написанию очерка о Шерипове явилась публикация в первом номере журнала «Кавказский горец» сказания «Абрек Геха», принадлежащего перу самого Асланбека. Чхеидзе прочел ее как своего рода исповедь, крик души автора. Легендарный разбойник, не смирившийся с властью русских на земле его предков, смело восставший на врагов и погибший в результате предательства, походил на Асланбека не внешней судьбой (хотя, быть может, именно о такой ослепительной, отважной судьбе мечтал в долгие ночные часы воспитанник кадетского корпуса), но всем своим внутренним складом. Независимое, гордое и в то же время ранимое

* *Конст. Ал. [Чхеидзе К. А.]. Казачьему сполоху // Там же. № 2–3. С. 14.*

** Там же.

*** Там же. С. 22.

**** *Конст. Ал. [Чхеидзе К. А.]. Аслан-Бек Шерипов // Кавказский горец. 1925. № 2–3. С. 59.*

сердце нес он в себе. Не любя русских, отвращаясь от однокашников, жаждал понимания и сочувствия.

Соотнося образ смелого горца с личностью самого Асланбека, Чхеидзе демонстрирует в характере будущего кадета ту нестираемую закваску национального, не учитывая которую, нельзя понять движущие причины индивидуальных и коллективных поступков, те – лишь на первый, скользкий взгляд – алогичные повороты судьбы, которые порой так поражают историков. Позднее, в воспоминаниях, он прямо объяснит, почему бывший кадет, бесконечно любивший свой край, влился в ряды большевиков: Шерипов надеялся, что революция разрушит империю, угнетавшую народы Кавказа, приведя или к полной их независимости, или к сосуществованию в составе федерации с другими равноправными национальностями. Не марксистско-ленинское учение, но зов родины, голос предков повелевал горскому юноше в годы революции и Гражданской войны.

Национальное в обрисовке характера Асланбека Шерипова сплетается со *всечеловеческим* – в том самом смысле, который вкладывал в это понятие столь нелюбимый им Достоевский. Как в портрете гордого абрека Гехи, совершившего многие подвиги, но страдавшего от одиночества, не знавшего страха смерти, но исполненного «тоски по человеку», отчетливо различимы черты героя, столь знакомого по литературе романтизма, так и в личности Асланбека отмечает Чхеидзе эти универсальные романтические черты. Асланбек отчетливо напоминает то мятущихся героев Байрона, то персонажей лермонтовских поэм. «Всегда медлительный, молчаливый и грустный»*, он таит в груди всепожирающий пламень. Как Мцыри, томится и мечтает о воле. Ему тесно и душно в сковывающей обстановке кадетского корпуса, и всеми силами души рвется он из этой клетки, жаждет свободы и подвигов. Правда, в отличие от героя знаменитой поэмы Асланбек озлоблен на мир и людей. «И с этой мыслью я засну / И никого не прокляну», – последние слова Мцыри, отчетливо соотносенные с христианской идеей любви и смирения, не для него. Угрюмостью и одиночеством он близок Демону и внутренне настаивает на своей отверженности, пусть даже в корпусе и не проводят различий между русскими и учащимися других национальностей.

Соотношенность частного и общего, местного и универсального, органическая включенность текущего в контекст всемирной истории и культуры в очерке Чхеидзе проявляется даже в мелких деталях. «Клянусь тебе Аллахом, я предпочел бы быть сейчас пастухом, чем зубрить французские глаголы или дежурить по классу...»** – так выражает Шерипов свое желание вырваться из чужих, постылых краев, и эта фраза заставляет вспомнить знаменитый ответ тени Ахилла хитроумному Одиссею: «Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле, / Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой засушный, / Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый». А еще чеченский мальчик, не любящий русских и боготворящий Шамиля, оказывается сродни «русским мальчишкам» Достоевского, для которых главное – «мысль разрешить», найти «высшую идею существования», способную озарить ум, чувство, волю, собрать «внутреннего человека», дать прочную опору делу и творчеству.

Впрочем, образы самих русских мальчиков герою очерка совсем не по душе. Слишком мягкотелы, слишком расхлябаны они, на взгляд гордого горца. Так обо-

* *Конст. Ал. [Чхеидзе К. А.] Аслан-Бек Шерипов. С. 60.*

** Там же.

значается грань, которая разделяет Константина Чхеидзе с его любовью к русской культуре и молодого чеченца-националиста, эту культуру отвергающего. Потому и романтизм, столь многолико проявлявший себя в разных национальных мирах, у Асланбека Шерипова носит мрачный оттенок, оборачивается гордынным бунтом. И не случайно волнует воображение мятежного юноши образ скованного Прометея; вместе с изнашиваемым в цепях античным героем он тоскует, мечется, гневно кричит, посылает проклятия, «но не мольбы»^{*}. Увы, отдавшись бунту и обособлению, он обречен, как герой его сказания – мужественный абрек Геха.

Внимание к документалистике, обозначившееся в очерке об Асланбеке Шерипове, проявилось и в дневниковой прозе «Снимки и думы», напечатанной в начале 1926 года в журнале «Годы»^{**}. В ее основе записки Чхеидзе, которые он вел на Балканах. Полтора месяца – с 6 июня по 22 июля 1923 года – фиксирует рука автора и одновременно героя то, что происходит с ним и людьми вокруг него. «Мне доставляет огромное удовольствие быть фотографом жизни»^{***}, – признается он в дневнике. Но делая словесные «снимки с натуры», запечатлевая текущую жизнь, писатель одновременно стремится осмыслить и понять происходящее, и тогда к «снимкам» присоединяются «думы», бытовые зарисовки перемежаются размышлениями, более того, сами зарисовки строятся так, чтобы явить скрытую авторскую мысль.

Перед читателем разворачивается трудный быт русских эмигрантов в Болгарии: лишённые родины, выброшенные из своих социальных страт, фактически выпавшие из времени и истории, они вынуждены выживать в чужой стране, хватаясь за любую, самую черную работу, ту, которой чужаются даже болгарские бедняки. С каждым днем все сильнее затягивает инерция. «Нет духовной жизни, нет хорошо волнующих интересов»^{****}. Жизнь редуцируется до поддержания элементарного физического существования: «Работаем, спим, едим и относим в овраг переваренную пищу. Вот и весь круг занятий»^{*****}. Где-то в столице бурлят события – в Софии государственный переворот, а в горах, где автор вместе с несколькими товарищами работает на постройке плотины, все так же тихо и равнодушно.

Бессмыслица, отсутствие надежд на будущее, тоскливое избывание каждого дня – и в долине, где живут те, кто сумел устроиться чуть прочнее и благополучнее. Один проводит день в ожидании сначала завтрака, потом обеда и ужина, а если «мучает бессонница», то позволяет себе плотно закусить перед сном; и сознательно отодвигает от себя все вопросы о смысле подобного существования. Другой, напротив, то и дело задает себе эти вопросы и мучится сознанием бесцельности происходящего. Третий топит все сомненья в вине и вдохновенно произносит «гимн Алкоголю».

Чхеидзе-писателя более всего интересуют люди: не внешняя обстановка, не исторические обстоятельства, а именно люди. «Какими они вышли из революции?»^{*****} В чем смысл совершившейся с ними метаморфозы? И где найти ту подлинную опору, которая поможет удержаться висющим над пропастью, укрепит волю тех, кто еще надеется на благой, счастливый исход? Для самого автора этой опорой становится вера в возрождение родины – не на материалистических, а на

* *Конст. Ал. [Чхеидзе К. А.] Аслан-Бек Шерипов. С. 63.*

** *Кн. Чхеидзе. Снимки и думы // Годы. 1926. № 1 (23). С. 8–13; № 2 (24). С. 12–16.*

*** *Там же. № 2 (24). С. 13.*

**** *Там же. № 1 (23). С. 9.*

***** *Там же.*

***** *Там же. № 2 (24). С. 13.*

христианских путях. И в свете этой веры даже самая горькая и беспросветная доля, постигшая офицеров и солдат Белой армии, видится жертвой, принесенной на алтарь грядущей России.

Вслед за дневниковой прозой Чхеидзе печатает в журнале «Своими путями» рассказ «Повесть о Дине»*. Документальное повествование уступает место художественному, правда факта – правде литературного вымысла, подчиняясь главному заданию – понять смысл исторической эпохи, в которой проходят свой путь автор и его современники, найти нравственную точку опоры, обозначить линии внутреннего роста и собирания личности. Жизненный девиз: «Порыв не терпит перерыва», провозглашаемый главным героем рассказа Батыр-Беком Кабардейшауо, – введен автором не только в качестве удачной психологической краски. Он обращен к читателю – к его уму и сердцу, к эмигрантским собратьям, так часто теряющим себя от бессилия побороть обстоятельства и стыдливо плывущим по течению.

Философ Николай Федоров, идеи которого тремя годами спустя так увлекут молодого писателя, называл искусство попыткой мнимого воскрешения: оно движется стремлением вернуть утраченное, протестом против безжалостной «реки времен», несущей «в пропасть забвенья» лица, события, судьбы. По физической необходимости укладывая умершего в землю, по нравственной – человек восстанавливает его в виде памятника, оживляет образ умершего в камне или на полотне. Словесное искусство – та же воскресительная работа, начиная от погребальных тренов, положивших начало лирике, заканчивая биографиями, воспроизводящими личность в ее динамике, – так, как раскрывается она во времени и истории. И даже в литературных персонажах прозреваем мы реальные прототипы, возводим их образы к людям, жившим в ту или иную эпоху, предкам или современникам автора: пусть не во всей полноте, пусть лишь отдельными чертами характера, поведения, мысли и чувства, но запечатлены в них навечно те, кого уже нет на земле.

С начальных своих шагов на поприще литературы Чхеидзе чувствует правду такого понимания искусства слова. «Повесть о Дине» и напечатанный затем в журнале «Годы» рассказ «Вавочка»** построены как извлечения из записок друга, погибшего на фронтах Гражданской войны. Чхеидзе называет его Батыр-Беком, но в облике героя, дерзкого и бесстрашного, сочетающего в себе «мощность, и властность, и редкую одаренность кипучей <...> натуры»***, угадываются черты Заурбека Даутокова-Серебрякова, с гибелью которого он смирился так и не смог.

«Повесть о Дине» и болгарские заметки «Снимки и думы», вышедшие в один год, обозначат две главных темы молодого писателя: Кавказ и эмиграция. Земля предков и судьбы русских изгнанников. Обе темы будут развиваться, то сплетаясь, то идя параллельно, до 1945 года, когда арест, выбросивший Чхеидзе и из текущей жизни, и из литературы, жестко перечеркнет это органическое, взаимопитающее развитие.

Повести, рассказы, очерки об эмиграции рисуют портреты тех, кому нет места в большой истории: она оперирует крупными событиями, ценит лишь великие имена, легко стирая в безвестную пыль просто живущего человека – если и остается там его след, то только в безликой статистической цифре. Герои Чхеидзе – обыкновенные люди. И сам автор-повествователь – не на горделивых котурнах, а на сми-

* Кн. Чхеидзе К. Повесть о Дине // Своими путями. 1926. Июнь. № 12–13. С. 21–24.

** Кн. Чхеидзе. Вавочка // Годы. 1926. № 3 (25). С. 3–6.

*** Кн. Чхеидзе К. Повесть о Дине // Своими путями. 1926. Июнь. № 12–13. С. 21.

ренной земле – шагает по ней вместе со своими героями. Он – с ними, он – один из них. Один из тех, кто не понаслышке знает черный поденный труд, кто, получив счастливую возможность учиться, заполняет лекционные аудитории и библиотеки, кто утром едет в переполненном трамвае на работу и возвращается домой поздним вечером. Просто ему еще дан дар художественного слова, позволяющий обобщать впечатления повседневности, придавать текущему качеству вечности.

На страницах художественной и документальной прозы Чхеидзе встречаем мы множество лиц. Одни образы выписаны тщательно и подробно, другие даны в моментальном наброске, третьи представлены в каком-то одном, но впечатляющем ракурсе... В изображении присутствует и приглушенный трагизм, и светлый лиризм, и тонкий юмор. Вот старый полковник на пару с вахмистром таскает на носилках тяжелые камни. Повествователь, работающий бок о бок с ними, советует вытянуть руки: так легче нести, чем на согнутых, – и тут выясняется, что полковник не может этого сделать: он инвалид, рука перебита («Снимки и думы»). Вот Серж, в прошлом бравый гусар и знаток женских сердец, «картая на чистейший парижский фасон», провозглашает намерение выйти из «дворянского сословия» и присоединиться к пролетариям. Ах, какая романтика! «Подумай (он прищурил глаз, привыкший к моноклю): там, в небесах, прекрасная синева, сияющее солнце. А здесь, внизу, я. Мои волосы развеваются ветром, могучая грудь дышит глубоко, геркулесовские мышцы напряжены...». Несколько дней готовится герой к путешествию в Павел-Баню, где его ждет работа на постройке новой церкви: собирает праздничный костюм, «запас белья, одеяло, подушку»^{**}, игнорируя советы автора, уже побывавшего в трудовой шкуре, позаботиться о рабочей одежде и обуви. Наконец, на рассвете он торжественно выступает из города. И что же? Через несколько часов герой уже не может идти: ноги стерты в кровь, боевое настроение резко падает и верный друг вынужден посадить его на осла, чтобы хоть как-то довести до места назначения.

А вот молодая женщина в старом, потертом пальтишке едет в переполненном трамвае, бережно прижимая к груди пакет с покупкой из дорогого магазина. Во всем ее облике видна отчаянная борьба с бедностью – тем удивительнее этот пакет, который она держит в руках. Автор пытается прочесть – и что же? «Синими буквами на белой с красным тесемке» написано: «Лучшая детская мука». Возбуждавший недоумение контраст исполняется глубокого смысла, то, что воспринималось как диссонанс, предстает гармонией, прекраснейшей из всех гармоний: «Кто бы она ни была, – сказал я себе, – она – мать»^{***}.

Перед этой жертвенностью материнства, извечной, как мир, возрождающей и стремящей его вперед вопреки всем катаклизмам бытия и истории, Чхеидзе будет преклоняться всегда. Ее воспевает он и в одной из последних своих кавказских легенд «Сказание о Мириам-амазонке» (1971). «Синеокая девушка с золотистой косой», поднявшая на руках осиротевшего ребенка, отдавшая ему свое сердце, перекликается через время с молодой матерью-эмигранткой из далеких двадцатых годов.

Многие знакомые по русской классике темы в эмигрантской прозе Чхеидзе звучат иначе. Жизнь изменилась – изменилось и видение этой жизни. Вот повесть,

* Чхеидзе К. А. Из болгарского дневника // Новая Искра. 1937. 1 марта. № 44 (308). С. 3.

** Там же.

*** Чхеидзе К. В трамвае // Česko-ruská budoucnost. 1929. № 4. С. 13.

опубликованная в 1930 году в журнале «Москва». Любовный треугольник: он, она и еще раз он. Перед лицом смерти – не героической, в упоении боя, а леденяще будничной: от голода, холода и болезни – не до возвышенных мечтаний и бурных страстей. Соединенные нуждой пытаются выжить втроем. Мужчины работают, женщина ведет дом, старый дом, пустующий еще со времен Русско-турецкой войны, и ждет ребенка. «Голые люди» – так назовет Чхеидзе эту повесть, рисующую три отдельные судьбы из миллионов судеб русских изгнанников, утративших родину, почву, родимый дом, привычные социальные роли, выброшенных на пространства земли, где у них только один выбор: умереть, увлекая в свою смерть и малую, еще нерожденную жизнь, или выжить вопреки внешней неустроенности, зыбкости эмигрантского существования.

Просто жить – для литературы XIX века это никогда не было высшей ценностью. Как жить и для чего – вот что волновало писателей и общественных деятелей, видевших в литературе совестную инстанцию нации. Правда, бывало, что высокие рассуждения о долге и назначении человека оставались лишь рассуждениями, а жизнь шла своим обыденным чередом. Бывало и так, что высокие идеи отодвигали в тень саму жизнь, служить которой были они предназначены, и она никла и стыдливо ступшеывалась, не будучи в силах соперничать с гладкой, математически выверенной теорией. Для Чхеидзе вопрос о смысле не менее важен, но он никогда не ставит его впереди жизни. Более того, понимает, что для эмиграции, существующей не в благополучных пределах государства Российского, а в полном смысле слова «на осколке Вселенной» (образ, принадлежащий харбинскому поэту Арсению Несмелову), вопрос о смысле, в сущности, и является вопросом о жизни. Выбор жизни, а не медленного угасания в чужом краю, есть выбор смысла, а не бессмыслицы, это выбор делания, творчества, роста, а значит, в конечном итоге глубоко нравственный выбор.

«Жить, жить, жить – без конца...» – в финале очерка «Лемносские встречи» бросает эти слова в звездные пространства есаул с говорящим именем Иван Могутов. Но эта декларация – совсем не эгоистическое «Живи в свое пузо» или пассивно-трусливое «Живи как живется». Близятся роды жены подхорунжего Алшевского – и образ женщины, стоящей на пороге таинства появления новой жизни, сплетается в сердце Могутова с образом России, которая тоже на пороге, но чего, смерти или рождения? «Этой еще не время рожать, – повторил он про себя. – А той, великой, которой пели многие лета: время умирать или рожать? вечная память или многие лета?»^{*} Воля к жизни, звучащая в трижды повторенном императиве – «Жить, жить, жить», утверждает не только личное избрание героя, но и волю к возрождению России.

В повести «Моменты», созданной в тот же год, что и очерк «Лемносские встречи», тема возрождения и преображения России – центральная и главная тема. По ходу действия подводит автор читателя к мысли о том, что спасение России придет не через борьбу и насилие (путь гражданской войны и интервенции), а через духовно-нравственную умопремену, через покаяние, которое родится в глубинах народной души. Терпит крах попытка Николая Зарина спасти царскую семью, которая для него – символ России, внешними, военными средствами. Герой не ста-

^{*} Обе формулы принадлежат Ф. М. Достоевскому: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 51; Л., 1974. Т. 9. С. 303.

^{**} *Констал [Чхеидзе К. А.]*. Лемносские встречи // Казачий путь. 1927. 27 ноября. № 18(111). С. 16–17.

новится *героем*; *подвиг*, о котором он так мечтал, не совершен. Дальнейшие жизненные мытарства бывшего офицера идут бок о бок с мытарствами души и ума, с поисками ответа на вопрос: в чем истинный путь? И вот, испытав и позор красного плена, и работу батраком на полях, и радость свободы (старик-крестьянин не убил – отпустил его со словами: «Я те не судья»), и горечь сомнений, которые предательски нашептывал ему в болезненных грезах страшный, полуфантастический человечек, одно из бесчисленных воплощений «страшного и умного духа, духа самоуничтожения и небытия»* («Посмотрите: мир прекрасно себе существует без *них* и без *России*»**), в финале повести Зарин переживает своего рода внутреннее озарение. Толчком к метанойе героя становится письмо, полученное митрополитом, у которого духовно окормляется Николай. В письме разворачивается картина просветленной, прозревшей России: и той, что ныне томится под игом большевиков, и той, что блуждает в рассеянии. «Верим и уповаем: провозсияет слава Господня по всей Вселенной чрез радостнотворные подвиги воскресающей нашей страны»***. Не военные, но нравственные, духовные *подвиги* совершаются теперь ее народом, и именно в них – залог подлинного преображения.

Мысль о том, что спасение России – не в революциях, ополчающихся на саму идею жизни, равно как не во внешних, инициированных государством реформах, а в нравственном состоянии и поведении личностей, из которых слагается ее национальное тело, ложится в основу очерка «Как живут и работают...». Для Чхеидзе «плоть России – это мы сами», ее спасение или погибель зависит буквально от каждого. «Волей к жизни и волей к труду спасется Россия. Экзамен на жизнь выдерживает тот, кто хочет – кто неистребимо волит: жить, жить, жить... и волит трудиться»****.

Снова появляется знакомый по очерку «Лемносские встречи» императив: «Жить». Жить – значит противостоять небытию, жить – значит спасти себя и Россию, жить – значит трудиться, а труд – не разрушителен, как война, он созидает, творит новое, космизует мир, окружающий человека.

Очерк «Как живут и работают...» рисует «труды и дни» русских студентов в Болгарии. Днем – зеркальщик, сапожник, грузчик, маляр; вечером – студент Софийского университета – такие метаморфозы русских мальчиков наблюдает писатель. И все настойчивее крепнет в нем убеждение: они сильны именно этой спайкой мысли и жизни, учения и труда. «Радостнотворная» воля к жизни преодолела отчаяние, уныние, страх перед будущим. Сравнивая две фотографии: «Русские работают на "земляном карьере"» и «Русские занимаются в библиотеке», Чхеидзе пишет: «Ведь и та и другая "шестерица" – люди одной природы, "из одного теста". Переоденьте или, вернее, оденьте тех, что находятся в потогонном обществе кирки и лопаты, посадите их в библиотеку и уже не найдете на них "максимогорьковского" налета. В библиотеке они будут "на месте" и заняты "своим делом". Но и обратно: руки, держащие сейчас книги, не дрогнут и не опустятся, если судьба поведет их обладателей к топору и стамеске.

* Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 229.

** Чхеидзе К. А. Моменты // РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, ед. хр. 482, л. 19.

*** Там же. Л. 24.

**** Констал [Чхеидзе К. А.] Как живут и работают... // Годы. 1928. № 6 (28). С. 9.

Но сила не в том, что их кто-то оденет или поведет; сила в том, что они сами *облекаются в новые одежды*, сами идут по пути, направляющему от повышения к повышению, всегда и только вверх...»^{*}.

Болгарии и судьбам русских изгнанников в этой стране посвящены многие страницы художественных произведений Чхеидзе. Но особое место в наследии писателя составляет микропроза, посвященная Чехии. С благодарностью и любовью относится он к стране, приютившей среди многих тысяч русских изгнанников и его самого^{**}. В Чехии нет того антагонизма природы и культуры, который налицо в других странах Европы. Естественное и рукотворное здесь органично сплетаются и рождаются друг с другом. До глубины сердца волнует писателя красота чешской природы и красота Праги, прелесть старинных замков, холмов и равнин. Вбирая в себя эту красоту, автор стремится передать свои чувства читателю. В его мини-текстах о Чехии присутствуют и «снимки» с натуры, моментные зарисовки пражских улиц, состояний природы, перекликающихся с состояниями души человека; и исполненные лиризма, а подчас и доброго юмора сценки из повседневности. Вот закат солнца на знаменитом Пражском мосту: «игра света и тени», причудливо меняющая очертания старинных статуй; лучи солнца, «золотым вихрем» мчащиеся вперед, и в их сиянии – фигура Матери, распростертой над телом Сына-Спасителя^{***}. А вот серия этюдов «На улицах Праги». Щебечут школьницы, озабоченные неприходом «Ледовых мужей» – так в Чехии называют трех святых, на празднование которых всегда бывают майские холода («Ледовы мужи»). Двое, он и она, выходят из дверей «шикарного мехового магазина»: «Она – с улыбкой, от язвительной силы которой увядает мир и майский ландыш пахнет кисшей капустой. Он – опавшее тесто, автомобильная шина, лопнувшая безнадежно, непоправимо» («Не купили»). «Вихрастый мальчуган на базаре уцепился за материнскую юбку и звонко хрупает огурец, а напротив остановилась старушка с сеткой, наполненной рыбой; глаза ее ничего не видят, а губы озабоченно шепчут: “Зеленина – две корунки двадцать... Пул-кила масса – осум корун... А цо еште? О, Уежуш Мариа!”» («Бабушка»). Малыши

^{*} *Констал*. [Чхеидзе К. А.]. Как живут и работают. С. 12.

^{**} Чувство благодарности Чехии, свойственное большинству эмигрантов из России, было особенно теплым у представителей кавказской диаспоры. Так, в первом номере журнала «Кавказский горец» был помещен «Салам горцев Кавказа чехословацкому народу».

Рисуя святой для кавказца, завещанный предками, впитанный с молоком матери обычай гостеприимства, авторы приветствия вопрошали: «Кто бы мог подумать, что это святое чувство гостеприимства, свойственное народам, затерянным в глухих тущобах Кавказских гор, в их первобытной стадии жизни, в котором, однако, столько высокой человечности, – чувство, воспетое великим русским поэтом, обнаружится в народе, живущем в самом центре Европы и стоящем на самом гребне европейской цивилизации!»

В европейском обществе, в его господствующих классах преобладают сердца черствые и умы холодные. О, как они чужды сердцу кавказца!

Эта черствость и холодность особенно ясны для тех, кто, выброшенный из своей благодатной родины, принужден есть хлеб изгнания.

Тем более дружеские чувства возбуждает к себе тот народ, который проявил максимум человечности, выразившейся в высоком чувстве гостеприимства, под крышей «хаты» которого нашлись «уголки» для тысячи «кунаков».

Великороссы, белорусы, украинцы, грузины, армяне, калмыки, кавказские горцы и др. – всем этим разноплеменным людям оказывается это широкое гостеприимство» (Кавказский горец. 1924. № 1. С. 4).

^{***} Чхеидзе К. А. Вечер: Пражский этюд // Россия и Славянство. 1929. 4 мая. № 23. С. 3.

возьмется на детской площадке, и автор с любопытством наблюдает за ними, слушает их разговоры: «И какие значительные, поучительные! Говорят о полетах птиц, о работе жучков, о муравьином королевстве, о том, как растет трава и в чем, собственно, заключается роль домового». Играют в «чижика», «сеют мак» – и в песенках «городских садов» слышатся автору «полевые мотивы», быть может, заносимые сюда поколениями милых нянюшек – как в далекой России. И неудержимо рвется из сердца: «Ах, хорошо, хорошо на полях. И в степях хорошо... еще лучше в горах. В родных, родных горах» («На детской площадке»).

Так замыкается круг. Так с пражских улиц перелетает чувством, мыслью, воображением писатель Константин Чхеидзе на родной сердцу Кавказ.

* * *

Тема эмиграции и образы Праги в прозе Чхеидзе – это срез современности. Для русских изгнанников обрублены корни с прошлым, а предания приютившей их земли еще не стали своими. Жизнь движется в колее настоящего, подчиняясь принципу: «Довлеет дневи злоба его» (Мф. 6:34). Иначе организована кавказская проза. Здесь две главных темы: прошлое (традиция) и современность; в их силовом поле и ткется сюжет, рождаются образы, живут и дышат идеи.

В начале 1920-х годов в Европе оказалось много выходцев с Кавказа. Кавказская диаспора идейно и политически не была однородной, в ней сталкивались и соперничали различные точки зрения на будущее горских народов: от тенденций крайнего сепаратизма, лозунгов отделения Северного Кавказа от Советской России до планов федеративного устройства в составе обновленной державы с предоставлением широких возможностей экономического, духовного, культурного развития для каждой национальности.

Существовали значительные разногласия и в Союзе горцев Кавказа в Чехословакии. Однако в 1924 году известный политический и общественный деятель и публицист Ахмед Цаликов (в 1918 году он был главой меджлиса горских народов Кавказа, министром иностранных дел Независимой горской республики) выступил с призывом к духовному сплочению кавказской интеллигенции. 29 апреля 1924 года он был избран председателем союза, а летом того же года в Праге вышел первый номер журнала «Кавказский горец». В программном обращении «От редакции» и статье «Задачи горской интеллигенции» Цаликов, ставший главным редактором этого печатного органа, сознательно дистанцировался от вопросов политики: ужас политических распрей, разделяющих людей и народы, вносящих вражду в святая святых для всякого горца – в род и семью, ополчающих детей на родителей и братьев на братьев, он воочию увидел еще в годы революции и Гражданской войны на Кавказе (а позднее и изобразил в книге «Брат на брата», вышедшей в Праге в 1926 году). Новый журнал, подчеркивал он, ставя «своей задачей служение делу национально-культурного возрождения и экономического благосостояния горских народов Кавказа», стремится «собрать вокруг себя <...> находящуюся в эмигрантском рассеянии народолюбиво настроенную горскую интеллигенцию». Собрать не для борьбы за власть, а для совместной духовной и культурной работы. «Вопросы истории, этнографии, антропологии, лингвистики, археологии, обычно-

* Чхеидзе К. А. На улицах Праги // Россия и Славянство. 25 мая 1929. № 26. С. 7.

** От редакции // Кавказский горец. 1924. № 1. С. 2.

го права, мусульманского права, общей и хозяйственной статистики, земельного права, соби́рание и обработка всех произведений народного творчества (эпос, предания, легенды, сказки, пословицы, поговорки и т. п.), изучение горских языков и создание на основании этого изучения письменности для тех горских народов, которые этой письменности до сих пор не имеют, разработка вопросов, связанных со школьным образованием, обследование экономических ресурсов территории горских народов и выяснение возможных экономических перспектив при твердом понимании того, что счастливое будущее горских народов может быть построено только на соответствующем экономическом фундаменте, и т. д. – вот чем, – подчеркнул Цаликов, – должна заняться научная мысль горцев»^{*}.

Первый номер журнала отличало не только уважительное, но и добросердечное отношение к наследию русской культуры. Среди программных эпиграфов стояли строки пушкинского «Кавказского пленника», поэмы Лермонтова «Измаил-бей». А главный тезис Цаликова, утверждавшего, что горская интеллигенция сможет стать «истинным духовным вождем своего народа»^{**} и работать на его благо, только если она будет знать свой народ, перекликался с почвеннической концепцией Достоевского.

Уже в первом номере главный редактор начал осуществлять заявленную им программу всестороннего исследования Кавказа. В журнале были помещены статьи «Несколько слов об Абхазии» за подписью «Апсуа»; «Полезные растения Кавказа» Эльмуразы Бековича-Черкасского; статьи самого Цаликова – «Мотивы поэзии Коста» (за подписью «Ахмед») и «Естественные богатства территории горцев Кавказа» (под псевдонимом «Куртатаг») и др. В 1925 году (стремясь реализовать предносившийся ему замысел как можно более полно, Цаликов создаст Общество кавказоведения при Институте изучения России. Общество будет заниматься «изучением природы, населения, быта, культуры, экономики и политической жизни Кавказа»^{***}, регулярно будут устраиваться научные доклады как для эмигрантской диаспоры, так и для чешской публики, и К. А. Чхеидзе, которому окажется близка позиция Цаликова, примет участие в работе общества, а позднее, уже в 1930-х годах будет читать лекции по истории и культуре Кабарды в Русском народном университете в Праге^{****}.

Увы, объединительная позиция Цаликова, его стремление оставить за скобками вопросы политики, сосредоточившись на научной и культурной работе, его лояльность по отношению к России (еще в 1917 году, выступая с докладом о национально-государственном устройстве России на I Всероссийском мусульманском съезде, он высказался за национально-культурную автономию мусульманских народов в составе России, отвергнув мысль об их территориальной автономии) вызывали раздражение у радикально настроенных членов Союза горцев Кавказа. Затихнувшие было политические споры снова усилились^{*****}, приведя к тому,

* А. Ц. [Ахмед Цаликов]. Задачи горской интеллигенции // Кавказский горец. 1924. № 1. С. 47.

** Там же. С. 2.

*** Фонды русского заграничного исторического архива в Праге. Межархивный путеводитель. М.: РОССПЭН, 1999. С. 196.

**** См.: РГАЛИ. Ф. 2474, оп. 1, ед. хр. 89, л. 6.

***** Политическая борьба внутри союза не осталась незамеченной русской эмигрантской прессой. В журнале «Казачий слух» (1924. № 1) была помещена статья Н. А. Бигаева «Русско-казачьему эмигрантскому студенчеству», содержащая призыв стать на путь сотрудничества

что уже в августе 1924 года на экстренном общем собрании Союза Ахмед Цаликов сложил с себя полномочия председателя союза. Следующий – объединенный второй-третий – номер журнала «Кавказский горец» делался уже другим редактором – М. Хатгогу. И это не замедлило сказаться на содержании. Хотя в номер вошли – правда, в меньшем количестве – материалы по истории и культуре Кавказа, основная его нота все же обрела политический тембр: «Лишь добившись политической самостоятельности национальности и Северного и всего Кавказа освободятся от кошмара владычества не пожелавшей в свое время повести “достойное существование” разрешением национального вопроса России». Появилось и шло по нарастающей и отталкивание от России. Немало этому способствовала активность одного из членов правления Союза горцев Кавказа Эльмурзы Бековича-Черкасского, для которого учеба на естественном факультете пражского Карлова университета и изучение кавказской флоры и фауны шли рука об руку с политической активностью. Сторонник радикального отделения северокавказских народов от Российской державы, он не признавал значения русской культуры для просвещения Кавказа и последовательно отстаивал необходимость не прорусской, а проевропейской ориентации. Почему, спрашивал он, за просвещением горцу непременно надо направляться в Москву, а не в Вену, Берлин и Рим? «Западно-европейская цивилизация, кажется, более реальная и практичная, чем русская, которая часто обременена излишним инвентарем. Тем более что для получения образования в Европе не требуется никакого религиозного мандата»^{*}.

Цитируемый номер «Кавказского горца» стал последним. Разногласия в союзе, а также отсутствие средств на издание сыграли свою роль. А Эльмурза Бекович-Черкасский спустя три года в Париже начинает издавать журнал «Горцы Кавказа», орган Народной партии горцев Кавказа, лидером которой он являлся. Не уставая подчеркивать, что, выйдя из-под власти России имперской, горцы подпали под власть России советской, главный идеолог журнала требует национальной независимости уже не только для кавказских народов, но и для других национальностей бывшей Российской империи и теперешнего СССР: «Да будет нам позволено напомнить русским, что действительное счастье Россия найдет внутри своих естественных национальных границ, а не на Украине, Кавказе и в Туркестане»^{**}.

Подобный подход к вопросу о будущем России и Кавказа категорически не принимался Чхеидзе. Кавказ для него неотделим от России. Но не пассивно, не на правах «материала» входит он в державное целое. Чхеидзе близка выдвинутая философом Л. П. Карсавиным идея симфонической личности. На ее основе и интерпретирует он проблему национального. Как звуки в симфонии слагаются в гармоничное целое, в созвучие, а не какофонию, так и личности в составе народ-

северокавказских народов, отказавшись от соблазнов «национального антагонизма, который только мешает сближению горцев с русскими вообще и казаками в частности». А в студенческом журнале «Годы» появилась статья Б. Саламова «В горской семье», автор которой писал: «Горская организация в Праге, – так верил я, – есть уже не символ, а факт единения прочного, искреннего», но «наступила новая пора, пора политиканства», вспыхнула борьба центробежных сил – и вот уже «горская интеллигенция, детище русской культуры, духовно связанная с русской интеллигенцией, толкается <...> на путь политической вражды к России и внутренних распрей» (Годы. 1924. № 5. С. 22).

* Плохо переваренное чужое // Кавказский горец. 1925. № 2–3. С. 81.

** Эльмурза. Открытое письмо Н. А. Бигаеву // Там же. С. 91.

*** Одиннадцатое мая // Горцы Кавказа. 1929. № 5–6. С. 2.

ного целого, сохраняя каждая свою уникальность, должны быть связаны союзом согласия и любви. В свою очередь и наднациональное образование представляет собой не стандартизованную массу, в которой стираются черты различия между национальными физиономиями, а такую же симфоническую, соборную личность. В симфонии наций и культур, звучащей на пространстве России-Евразии, нераздельно и неслиянно соединяются малые и большие народности, неся в общую духовную копилку свой индивидуальный творческий опыт. А в будущем и человечество должно осознать себя соборным единством народов земли, и это единство, чтобы быть действительно нерушимым, должно держаться пониманием абсолютной ценности и необходимости *каждого* своего звена.

Неповторимость духовного и культурного облика народов Кавказа, уникальность их опыта рисует Чхеидзе в своей кавказской прозе – начиная с рассказов и очерков 1920-х годов, с первой книги «Страна Прометея», вышедшей в 1932 году в русском Шанхае, а в 1933 году в Праге в переводе на чешский язык, до романов 1930–1940-х годов. Любовно описывая уклад жизни горцев, традиции их быта и поведения, он не ставит себе узкоэтнографической цели. Его задача в другом – воспроизвести целостный образ мира и человека, как слагается он в этой точке планеты. Чхеидзе-писатель наблюдателен, меток и точен, но каждая конкретная деталь у него логосна, неэмпирична; каждый словесный рисунок (от внешности горцев до домашнего убранства), каждая картина природы (будь то солнечное утро в горах, древняя пещера, извилистая горная дорога, мост через горный проток или неповторимый нальчикский воздух) наполнены глубоким смыслом, невидимыми нитями связаны с целым, несут на себе его отблеск.

Кавказ для Чхеидзе не только особый этнокультурный мир. Это средоточие нравственных ценностей, передающихся из поколения в поколение на протяжении многих веков. Писатель стремится осмыслить духовный опыт Кавказа на фоне опыта современной Европы – усталой, разобщенной, живущей одним днем, противопоставить патриархальные традиции горских народов с их культом предков, почитанием старших, родственно-семейной любовью либерально-эгалитарной цивилизации, миру, не помнящему родства и забывшему о братстве. Во введении к книге «Страна Прометея» появляются образы дикого и культурного поля. На диком – тесня и уничтожая друг друга, прут из земли злаки и сорняки: выживают сильные, наглые, приспособленные, утонченным и скромным шанса не остается; на культурном – «нет и следов <...> дикой борьбы и <...> отвратительного торжества сильнейшего (и наихудшего)»*, здесь каждому растению дано достаточно света, влаги, тепла. Читатель уже ждет привычного сравнения мира необразованных, темных горцев с диким, невозделанным полем, а цивилизованной, просвещенной Европы – с культивируемой человеком землей. Но нет, Чхеидзе разбивает стереотипы: диким полем, где идет безжалостная борьба за жизнь и место под солнцем, предстает у него цивилизация Запада, эгоистическая, атомарная, не хотящая знать о любви, загнавшая человека в каменные лабиринты городов, в душные клетки квартир, где ему остается только умереть неизвестно и одиноко. А возделанной ойкуменой, где человек живет в гармонии с миром и Богом, с собой и другими людьми, предстает «сокровище земли», «Страна Прометея» – Кавказ.

Чхеидзе отчетливо сознает душеобразовательное, жизнехранительное значение традиции. Ее разрушение чревато кризисом сердца и разума, искажением

* Чхеидзе К. А. Страна Прометея. С. 35.

нравственного строя личности, распадом межчеловеческих связей. Для европейского жителя, превыше всего ценящего время, деньги и молодость, естественно садиться в трамвай, не думая, что по краям дороги плетутся те, кому быстрота и удобство передвижения не по карману: беременные женщины, старики и старухи. Нет нужды, что эти старухи когда-то были прекрасны и молоды и носили в своем чреве «будущий век». Они сделали свое дело и теперь могут спокойно отправляться на перегонной. Но стоит перенестись на «дикий Кавказ» – и является прозревшему сердцу вся внутренняя неправда, весь позор подобного отношения. Всего две «картинки» рисует Чхеидзе. Молодежь, спешащая на танцы, уступает подводу старикам. Односельчане в самый разгар полевых работ безвозмездно убирают поле вдовы, а потом наказывают мельнику обмолоть ее зерно в первую очередь. «Непростительные глупости» для расчетливого буржуазного мира, живущего по железной формуле «товар – деньги – товар»...

Кавказ для Чхеидзе не только этический, но и эстетический эталон. Писатель сравнивает запыленное, почерневшее небо Европы, на котором почти не видно звезд, и высокое, бездонное небо Кавказа, «вселяющее в душу великий, ничем не утолимый восторг». И в душе рождается поэтический гимн этой нерукотворной, божественной красоте, несущей в себе первозданную красоту мироздания: «Укажите мне на земном шаре места красивее и обаятельнее Кавказа?! Где есть такое сочетание мощности, величия и чистоты? У нас иное солнце, иной месяц, иные звезды... А наше небо! Разве есть где-нибудь такое, вселяющее в душу великий, ничем не утолимый восторг, небо, как небо Кавказа? Оно прекраснее всего самого прекрасного, что есть в мире. И если кто-нибудь захочет возвеличить и прославить на веки веков чью-либо красоту, пусть только скажет: это прекрасно, как прекрасно небо, гордо вздымающееся над Эльборусом... Высшей меры прекрасного не существует».

Человек индустриальной цивилизации, отгородившийся от природы бездушной техникой, утрачивает то живое восчувствие мира, любовно-сердечное касание к нему, которое органически присуще патриархальным народам и составляет суть подлинного отношения человека к бытию. Земля горцев хранит его в себе как священный завет. Тем внимательнее Чхеидзе, заброшенный из родного Кавказа в самое сердце Европы, к быту землепашца и скотовода, в основе которого – отношение доброго хозяина, а не вора и разбойника, безответственно расточающего ресурсы земли и поганящего отданный ему на доброе попечение Божий сад. А еще писатель стремится запечатлеть на страницах «Страны Прометей» образы живых носителей традиции, хранителей наследия предков. Это благословенный летами Тенгиз Суншев из селения Безенги, вместивший в свой жизненный срок весь девятнадцатый век и коснувшийся – на начале и излете жизни – еще двух столетий. Старейшина Биберд, ведущий у огня неторопливый рассказ о людях прошедших времен: каждая история – поучительная притча тем, кто только вступает в жизнь, дабы хранили они свое сердце от зла, корысти, несправедного приобретательства. Подобно высоким деревьям, вознесшим свои кроны к солнцу и свету, выделяются старцы на фоне своих горских собратьев; самой своей судьбой учат действовать и жить по правде, несут в себе подлинный кодекс чести, благородство ума, красоту и величие сердца.

* Чхеидзе К. А. Моя тема – Кавказ. С. 261.

Описывая мир Кавказа начала XX века, Чхеидзе показывает, что этот мир – при всей богатой его самобытности – мир, привитый к черенку русской культуры, тем самым снимая споры о том, где искать этому миру основы просвещения. Эти основы уже даны Кавказу Россией. Более того – через Россию соприкоснулась молодая горская поросль и с миром европейской культуры. Вот друг Чхеидзе Никита К., влюбленный в Байрона, Лермонтова и Шекспира. Не в Вене, Париже или Риме открыл он для себя шедевры всемирной литературы, а в Моздоке, находящемся в границах Российской державы, – открыл через русский язык и русскую книгу. И не только уроки просвещения, но и нравственные уроки обретаются во взаимодействии мира горцев с русским миром. В начале книги «Страна Прометей» Чхеидзе повествует о судьбе русской девушки Насти, полюбившей кабардинца Хуссейна и ушедшей за ним в аул. «Родственники Хуссейна сначала приняли Настю не очень дружелюбно. Однако впоследствии ее кроткая привязанность к мужу, ее старания всем и каждому сделать добро снискали ей всеобщую любовь». Горячность сердца, жертвенность, всеотдайность – лучшие черты характера русской женщины раскрывает писатель в образе своей героини.

Первая часть книги «Страна Прометей» – «Горы и горцы» – та духовная планка, по отношению к которой будет рассматривать Чхеидзе Кавказ периода революции и Гражданской войны. Он ставит эту планку перед своими современниками, пережившими исторический апокалипсис, дабы вновь забили в их душах, ожесточенных кровью и смертью, заглушенные источники добра и правды. «Быть плохим, злобным, жестоким – нетрудно, – позднее напишет он в воспоминаниях. – Трудно быть добрым и великодушным» (Воспоминания. С. 11).

Вторая часть «Страны Прометей» посвящена Заурбеку Даутокову-Серебрякову. Впервые Чхеидзе обратился к образу человека, о котором на Кавказе «слагались героические песни и повествовались легенды»^{*}, в рассказах «Повесть о Дине» и «Вавочка», но там образ Заурбека был трансформирован в образ Батыр-Бека Кабардейшауа. Здесь же перед нами роман-биография. Автор следует по стопам своего героя от детских и юношеских лет, обнаруживших в Заурбеке и смелость, и неукротимый нрав, и музыкальный талант, и душевную прямоту, и пылкость сердца, до зрелости, укрупнившей мужественные черты его характера, но и заставившей пройти через испытание властью, гордыней, жестокостью; от первого – бескровного – триумфа, когда юный Заурбек объездил неукротимого племенного жеребца Буздыгана, через победы и поражения, поражения и победы, многие из которых были оплачены кровью, до того последнего августовского дня, когда, развернув тридцать конников против пятисот красных кавалеристов, он взял в свои руки знамя и не договорил последних, вдохновляющих в атаку слов. Восхищение и любовь к командиру, под началом которого Чхеидзе прошел практически всю Гражданскую, задает эмоциональный тон повествования. Но эти чувства не слепы. Чхеидзе знает и другого Заурбека – хладнокровно отдающего приказы о казни: да, он казнит врагов и считает себя правым, но эта правда одной стороны не закрывает от автора целостной Божеской правды, которую несут в себе горы, молчаливые созерцатели братоубийственной розни людей, и которая в момент расправы над комиссаром Видяиным исторгает из уст женщины в черном, похожей на монахиню, пронзительный крик: «Нельзя!.. Нельзя убивать... Бог не позволяет убивать... А!»^{***}

* Чхеидзе К. А. Страна Прометей. С. 61.

** Там же. С. 142.

*** Там же. С. 174.

Образ вечных гор – свидетелей и судей живущих – вместе с образом неба, «такого радостного и голубого», как будто «оно создано для молитвы», переводит повествование о Гражданской войне в высший, религиозно-этический план, упирает его в вопрос о той подлинной цели существования, которую испокон веков ищет человек на земле, принимая за эту единственную и последнюю цель идейные фантомы и миражи и проливая за них свою и чужую кровь. «Неужели мужчина создан для пролития крови, а женщина для наполнения того бассейна, который именуется человечеством? Кто на это ответит?» – этим вопрошанием и светлой, ностальгической нотой – нотой тоски по «Стране Прометея», «алмазной короне мира», завершается первая кавказская книга Чхеидзе.

Выход «Страны Прометея» на чешском языке стал культурным событием. Появились яркие рецензии, было напечатано большое интервью в «Обзрениях литературы и искусства»: с Чхеидзе беседовал главный редактор журнала, доктор Милослав Новотный^{***}. Роман был назван среди девяти лучших романов 1933 года в чешской, французской, итальянской и русской литературе.

Русская эмигрантская печать на роман реагировала меньше, чем того хотелось Чхеидзе. Во многом причиной этому была принадлежность Константина Александровича евразийству. Такие крупные эмигрантские газеты, как «Возрождение» и «Последние новости», которым писатель послал «Страну Прометея», предпочли о ней умолчать. «Я не ищу причин этого молчания, – писал Чхеидзе, – потому что знаю их. Причины в том, что похвалить книгу – по мнению делающих погоду критиков – значит как-то и автора приподнять, а этого делать нельзя, ведь автор (страшно сказать!) евразиец. Выругать тоже нельзя, так как и брань может привлечь к книге внимание. Но внимание к книге – в значительной части внимание к автору, а это-то и вредно!»^{****}

Парижская пресса предпочла молчание, в пражской появился лишь один отзыв, два отзыва вышли в Шанхае, по одному в Харбине и Варшаве, но все рецензенты писали о книге взволнованно и горячо. Поэт и писатель Лев Гомолицкий, откликнувшийся большой рецензией в газете «Молва», так характеризовал «Страну Прометея»:

«Есть темы, которые делают писателя. Такова тема книги Чхеидзе. Она сама подсказывает ему величественные образы, строгую простоту языка.

И из простого воспоминания, “человеческого документа” книга Чхеидзе превращается в эпическую поэму»^{*****}.

Внимание к творчеству Чхеидзе проявил литературный критик и публицист Д. В. Философов. Осенью 1933 года он выступил с проектом создания Литературной академии русского зарубежья. Известного деятеля Серебряного века особенно волновали судьбы молодых эмигрантских писателей, тех, что начали свой творческий путь уже за пределами России. Именно эти писатели, в числе которых Философов называл Чхеидзе, по мысли критика, «таят в себе много неиспользо-

* Чхеидзе К. А. Страна Прометея. С. 172.

** Там же. С. 242.

*** Rozhledy po literatuře a umění. 1933. № 1.

**** К. А. Чхеидзе – Л. Гомолицкому. 16 июня 1933 // ГАРФ, ф. 5911, оп. 1, д. 23. л. 7.

***** Гомолицкий Л. Страна Прометея // Молва. 1933. 11 июня. № 132. С. 4.

ванных сил и могли бы обогатить нашу литературу, если бы встретили должную поддержку, как материальную, так и моральную»^{*}.

Считая необходимым собирание сведений о новых лицах в эмигрантской литературе, Философов обратился к писателям с просьбой прислать материалы о своей жизни и деятельности. Одной из первых автобиографий, напечатанных в газете «Молва» в рубрике «Эмигрантские писатели о себе», стала автобиография Константина Чхеидзе^{**}.

В предисловии к рубрике Д. В. Философов продолжил свои размышления о молодой эмигрантской поросли, подчеркивая, что принадлежащим к ней писателям труднее всего пробиться в литературу – неизмеримо труднее, чем их собратьям в дореволюционной России, где существовало множество толстых и тонких журналов, газет и литературных сборников, печатавших молодежь. Эмигрантская печать скупа и тенденциозна, и далеко не все таланты получают в ней шанс стать известными или хотя бы просто заявить о себе^{***}.

С трудностью печатания в зарубежье Константин Чхеидзе сталкивался постоянно. Перед этими трудностями даже отсутствие рецензий (вещь важная, особенно для начинающего литератора) отходило на задний план. В одних печатных органах брали лишь отдельные фрагменты крупных вещей, другие, в силу той или иной политической установки, не очень жаловали писателя-евразийца. И тогда Чхеидзе приходит к решению, которое будет стоить ему места в литературе русского зарубежья. Постепенно он перестает пробиваться со своими художественными произведениями в эмигрантскую прессу и все больше начинает печататься в чешских изданиях. Когда в 1935 и 1940 годах в чешском переводе выйдут в свет два крупных романа писателя «Глядящий на Солнце» и «Навстречу буре», объединенные темой революции и Гражданской войны на Кавказе, отзывы на них появятся лишь в чешской прессе. Эмиграции эти вещи, представлявшие собой крупные явления исторической прозы 1930-х годов, останутся неизвестны.

Еще с моздокской юности интерес к истории Кавказа тесно сплетался у Константина Чхеидзе с интересом к кавказскому фольклору. С середины 1930-х годов, стремясь глубже и объемнее познакомиться чешского читателя с родным ему миром, передать славянским братьям частичку любви к земле своих предков, он начинает обрабатывать кавказские легенды и сказки, помещая их в газетах «Венков» и «Пражски новини». На русском удалось напечатать лишь две сказки и две легенды – в 1936 году в Вильно в газете «Новая Искра», которой руководил журналист Д. Д. Бохан, член Литовской евразийской группы, высоко ценивший литературное и публицистическое дарование своего пражского собрата.

«Со сказок началось человеческое самосознание и сознание окружающего мира» – так на излете лет напишет Чхеидзе своей московской корреспондентке О. Н. Сетницкой^{****}. В легендах и сказках, как и в книге «Страна Прометей», писатель несет своим современникам мудрое наследие поколений, опыт предков, обращенный к потомкам, завещанный будущему. В них видит отзвуки древнего синкретического мироощущения, когда религиозное сознание не было отделено от культуры,

* Философов Д. В. Проект Литературной академии русского зарубежья // Молва. 1933. 19 ноября. № 266 (489). С. 3.

** Эмигрантские писатели о себе: С. Шаршун, К. Чхеидзе // Молва. 1933. 23–25 декабря. № 294 (517). С. 3.

*** Философов Д. В. Две автобиографии // Там же. С. 2.

**** К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 17 декабря. 1972.

но составляло с нею одно, когда обе они, и культура, и религия, возделывали, преобразовали и дикую природу, и невозделанную почву человеческих душ. В 1938 году в статье «Борьба между образами и за образ» он назовет обращение к фольклору в искусстве XX века и, в частности, в советском искусстве 1930-х годов началом возвращения – но уже на новом творческом и духовном витке – к этому исконному единству, «началом поворота к искусству и образам религиозной культуры, создавшей фольклор», а значит, к обретению утраченной цельности мысли и жизни, основа которой – сознание неразрывной связи человека с тем, что выше его, что влечет его к совершенству.

Сказки и легенды, напечатанные в газете «Новая Искра», объединены двумя главными темами: темой человека и темой судьбы. Обе вечны, как мир, и обе – всегда современны. Что есть человек, каково его задание в мире, на что обратиться ему силу, брызжущую через край? – такие вопросы рождает легенда об Амيرانе, «грузинском Прометее». Крестник Господень, «пресветлый» Амиран особо отмечен Богом. Вместе с названными братьями Усупом и Бадри он одолевает злого дэви, погубившего богатыря Цамцуну, черного дракона, пожирающего свои жертвы. Но сознание своей силы застит разум героя, кажется ему, что нет предела его могуществу. Не понимает гордец Амиран, что исток его силы не в нем самом, но в Том, Кто есть начало всякой силы и всякой жизни. И вот взбунтовавшийся богатырь бросает злой вызов небу, страж и защитник жизни от зла и безобразия готов покуситься на самый строй мира: рвет с корнем деревья, опрокидывает храмы Господни, разрушает высокие башни, сами звезды готов сорвать с небесного свода. Наконец, он вызывает на поединок самого Сына Божьего, Того, Кто крестил его в колыбели. И – не может сдвинуть ни на вершок Господень посох, воткнутый в землю, ибо, пустив корни, обвил тот ими и землю, и всю Вселенную (символический образ Силы Божьей, обнимающей и держащей мир). Образно-символическим языком сказания передает Чхеидзе мысль, бившуюся в сердце писателей и философов XIX века – Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева – и пророчески завещанную ими веку двадцатому: автономный, гордый, самостный человек, действующий в мире по своему собственному, своевольному, а то и злому хотению, – колосс на глиняных ногах, его сила призрачна, эфемерна, только в благом, вдохновенном союзе с высшей Божественной волей способен он творить дела.

В книге «Страна Прометей», повествуя о последних днях Заурбека, Чхеидзе называл его «человеком судьбы». Судьба вела героя, когда «в присутствии тысячной толпы» читал он в громадном зале стихотворение «Сон» – воззвание к кабардинскому народу, когда поднимал своих соплеменников на борьбу с большевизмом, когда дважды брал Нальчик и кровавым вихрем обрушивался на Балкарию, Горную Осетию, Малую Кабарду. Судьба вела его и в последнем неравном бою, подарив ему смерть с улыбкой на устах. Теперь в кавказских сказках судьба ведет охотника к высокой башне, где находит он прекрасную Дали, что мучится родами, давая жизнь богатырю Амيرانу. Судьба приводит царевича Левана, заблудившегося во время охоты, к хижине святого старца, а затем к дому бедного пастуха, в котором живет его суженая. Судьба толкает Амيرانа на поиски красавицы Камари, борьба за которую принесет смерть его названным братьям и скорбь самому герою. Перед судьбой оказывается бессильным Степной Наездник: сраженный горем, он рыдает над телом умершего сына.

* Чхеидзе К. А. Борьба между образами и за образ // Поток Евразии. Таллин, 1938. С. 69.

Судьба-рок и судьба-Провидение. Такие два лика судьбы предстают в легендах и сказках Чхеидзе. Столкновение с судьбой-роком дает прозрение богатырю Балкаруку: не силы, на которую всегда найдется большая сила, но знания ищет теперь герой, той мудрости, которая поможет ему познать, а значит, и преодолеть «Закон Судьбы», закон страдающего, смертного мира. Но при встрече человека с судьбой-Провидением не борьбы, но доверия ждет она от него. И пусть поначалу, движимый своеволием, он противится предначертанному и не опознает в том, что совершается с ним, мудрой руки Творца мира, как царевич Леван, пытающийся избежать своей доли, которая кажется ему горькой и стыдной, но, когда настает просветление и становится ясно: все, что случилось, было преддверием великой радости, из уст его исторгаются слова благодарности и любви к Тому, Кто не оставил его на земных тернистых путях, направил к свету и счастью.

Тема судьбы не случайно так волнует Чхеидзе. Он хочет понять, какими путями ведет она русских изгнанников, что уготовано им и России. Удастся ли ей «воскреснуть и восстать» или «обморок духовный» продлится еще много десятилетий? А за вопросом о России и судьбах ее расколотого на части народа встает другой – всеобъемлющий и главный вопрос: о мире и грядущих судьбах его, о том, какими путями идет история и какими должна она идти, чтобы стать полем сотрудничества Божественных и человеческих сил, какого ответа ждет Провидение от человека? Всё это – вопросы, рожденные прикосновением к русской религиозно-философской традиции. Вопросы, нудящие к ответу, к поиску абсолютных ориентиров, того «конечного идеала», без которого жизнь человека на земле обесценена и обессмыслена.

* * *

Тридцатые годы для Константина Чхеидзе проходят под знаком идей Н. Ф. Федорова, современника Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева, мыслителя, вбросившего в духовную почву России семена идей поистине вселенского, космического масштаба. Интерес к этим идеям в русском зарубежье был весьма осязателен. «Многие неясно чувствовали, – вспоминал публицист В. С. Варшавский, – что, может быть, именно в “Общем деле” Федорова была намечена та новая “сорванная коммунизму” идея, которую искала эмиграция”.

Представление о человеке как существе, ответственном за бытие, соратнике Творца, призванном к «восстановлению мира в то благолепие нетления, каким он был до падения»^{*}; идея преодоления смерти, разумно-творческой регуляции природы, заступающей место безоглядной и бессовестной эксплуатации ресурсов земли; этика родства и братства, идеал соборного единства рода людского – эти идеи по-настоящему захватили Чхеидзе, искавшего не половинчатых, компромиссных, а полных и предельных ответов на вопрос «о человеке, его смертности и бессмертии», о смысле исторического и культурного делания.

Углублению интереса к «Философии общего дела» способствовало эпистолярное знакомство писателя с жившим в Харбине философом Н. А. Сетницким, автором книги «О конечном идеале» (Харбин, 1932). Переписка длится более шести лет. С востока Евразийского материка, из города на Сунгари, летят письма в сердце

^{*} Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Париж, 1956. С. 260.

^{**} Федоров Н. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1995. Т. 1. С. 401.

Европы, в город на Влтаве, а в ответ направляются листки, заполненные то резким, стремительным почерком, то убористым шрифтом машинки, с неизменной припиской «Ваш К.»*. Разделенные огромным расстоянием встречаются в пространстве христианского Логоса. Родство мыслей, чувств, идеалов духовно поддерживает и укрепляет обоих. А вспыхивающие порой споры помогают оттачивать мысль.

Став убежденным сторонником федоровских идей, Чхеидзе стремится проводить их в среде русской эмиграции, помогает распространению в Европе посвященных Федорову харбинских изданий**. Он настаивает на синтезе евразийства, одушевленного пафосом исторического делания, и построений Федорова, дающих этому деланию высшую религиозную цель. В русской и чешской периодике печатает статьи о философе всеобщего дела, делает большой доклад в Русском философском обществе в Праге на тему «Организация жизни по Н. Ф. Федорову», подчеркивая, что «московский Сократ» «осознал с небывалой ясностью долг человечества – всецелую организацию жизни на всех путях человеческого творчества»***, призвав к соработничеству религию и науку, философию и искусство.

В апреле 1933 года по инициативе К. А. Чхеидзе в Национальном музее в Праге было основано отделение «Fedoroviana Pragensia», главной задачей которого являлись «сбор и хранение материалов, относящихся к автору "Философии общего дела"»****, а в мае 1934 года писатель устраивает в музее выставку, посвященную 30-летию со дня смерти мыслителя. Ее резонанс в русской и чешской среде был велик. Вместо планируемых двух недель выставка проработала почти месяц, до 23 июня 1934 года, вызвав к себе интерес и получив сочувственные отклики в чешской прессе. Выступая на открытии выставки, Чхеидзе назвал философа всеобщего дела выразителем духа славянства и одновременно подчеркнул универсальный, всечеловеческий характер его идей: «Сердце учения Ник. Фед. Федорова состоит в объединении человечества на путях творчества и любви. Его любовь универсальна. Она обгоняет века, устремляясь к "конечному идеалу". Она преодолевает время, восстанавливая в сознании человечества его долг в отношении ушедших поколений»*****.

Высокий строй мысли и жизни Федорова – подвижника, аскета, пророка – вдохновляет Чхеидзе на создание нового романа «Пророк в отечестве». Работа над ним начинается осенью 1934 года и длится с перерывами всю вторую половину 1930-х годов. С января 1941 года роман в переводе Софии Погорецкой, переводившей большинство художественных и философско-публицистических произведений

* Переписка Н. А. Сетницкого и К. А. Чхеидзе частично опубликована: Из истории философско-эстетической мысли 1920–1930-х гг. Вып. 1: Н. А. Сетницкий. М., 2003. С. 382–450.

** См. подробнее: Гачева А. Г. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова в духовных исканиях русского зарубежья // Гачева А. Г., Казнина О. А., Семенова С. Г. Философский контекст русской литературы 1920 – 1930-х годов. М., 2003. С. 337–344, 350–351. Публикацию материалов см.: Н. Ф. Федоров: pro et contra. СПб., 2008. Кн. 2. С. 683–771, 796–797.

*** Чхеидзе К. А. Краткая стенограмма доклада К. А. Чхеидзе «Организация жизни по Н. Ф. Федорову» в Русском философском обществе в Праге с прениями // Н. Ф. Федоров: pro et contra. Кн. 2. С. 763.

**** Проект официального обращения Чехословацкого национального музея об открытии фонда Fedoroviana Pragensia // Литературный архив Музея национальной письменности. Ф. 142. Fedoroviana Pragensia. I.3.37; См. также публикацию: Из истории Fedoroviana Pragensia // Н. Ф. Федоров: pro et contra. Кн. 2. С. 836–848.

***** Речь К. А. Чхеидзе на открытии выставки к 30-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова // Н. Ф. Федоров: pro et contra. Кн. 2. С. 843.

Чхеидзе, начинает печататься в газете «Národní listy», но уже в апреле издание газеты приостановлено немецкими оккупационными властями, и публикация остается незавершенной.

Делясь замыслом этого, очень дорогого ему романа, с Н. А. Сетницким, Чхеидзе писал: «Мой главный герой – организатор “Общества Спасения”, причем всеобщего, в обстановке Праги, в условиях сего дня. Он действует на стыке чехов и русских. По происхождению чех, по культуре русский, по духу христианин. <...> Это будет (в романе) пророк, изобретатель в области духа, аскет, ученый, мудрец и несчастный, хотя и полный огня вдохновения. Люди его не примут и не пойдут за ним. Но эта развязка не помешает (я думаю) показать своего героя во весь рост»^{*}.

В образе главного героя романа «Пророк в отечестве» скрестились черты Федорова и друга Чхеидзе – талантливого музыканта и оригинального мыслителя Вацлава Вагнера, в 1930-х годах глубоко интересовавшегося «Философией общего дела». Чех по крови, много лет живший в России, он был органически привит и к русской, и к чешской культуре. Это соединение в лице одной личности двух национальных традиций, в глубине своей принадлежавших одному целому – духовному миру славянства, для Чхеидзе имело глубокий символический смысл. Много сделавший для русско-чешского культурного и мировоззренческого диалога, для взаимодействия чехов и русских, в новом романе он поднимает и этот диалог, и это взаимодействие на уровень всемирных, вселенских задач. Действие романа, где звучат привычные для русской литературной и религиозно-философской традиции «последние вопросы» существования, перенесено в Прагу. И идея преодоления смерти, высказанная русским мыслителем, звучит из уст чешского юноши. Впрочем, сам Федоров как-то писал, что «мечта дать благополучие не всему лишь живущему, но [и] всем умершим, страданиями доведенным до смерти», эта «глубоко нравственная», «сердобольная мечта» есть мечта не только русская, но и «славянская»^{**}. Чхеидзе этих слов Федорова знать не мог, но, в сущности, именно их смысл выражает он в своем романе.

Рассказ о «Стране Прометей» Чхеидзе заканчивал гимном Праге: «Город, подобный древнему венцу, вылитому искусной рукой Того же, Кто сотворил Страну Прометей...»^{***} В книге «Пророк в отечестве» описано величие чешской столицы, неповторимый облик города, являющий собой настоящую архитектурную симфонию, его обаяние и загадочность. Вдохновенность и трепетность, с которыми повествует Чхеидзе о городе, в котором довелось ему прожить – с горьким переживом на лагерь – долгие сорок лет, свидетельствует лучше всяких слов: если первой родиной Чхеидзе был Кавказ, а второй – Россия, то третьей стала славянская Прага. Здесь он получил образование, стал известным писателем. Здесь вошла в его сердце любовь...

* * *

Три главных любви было в жизни Чхеидзе. Первая – любовь к Кате Никольской, встреченной им в поселке Долинском, где семья Чхеидзе проводила лето. Хотя о «жениховстве» ни между «взрослыми», ни между молодыми людьми речи не шло,

* К. А. Чхеидзе – Н. А. Сетницкому. 22 сентября 1934 // Литературный архив Музея национальной письменности. Ф. 142. Fedoroviana Pragensia. I.3.27.

** Федоров Н. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1999. Т. 4. С. 150, 151.

*** Чхеидзе К. А. Страна Прометей. С. 242.

негласно подразумевалось, что Катя и Константин подходят друг другу и в дальнейшем соединят свои судьбы. Но жизнь распорядилась иначе. Катя умерла от болезни во время Гражданской войны, а Чхеидзе встретил женщину, которая стала его второй любовью и которой он был предан долгие годы.

Настоящее имя этой женщины он так никогда и не назвал, хотя ее образ проступает в образах героинь романов «Глядящий на Солнце», «Навстречу буре» и особенно «Путник с Востока» (1941), ставшего художественной автобиографией Константина Чхеидзе. В «Глядящем на Солнце» Чхеидзе назвал ее Пани. Под этим именем вывел и в воспоминаниях. Роман – стремительный, страстный – попытал всю Гражданскую, потом последовало расставание – без надежды встретиться вновь. В эмиграции судьба снова свела Чхеидзе с его возлюбленной, но это была уже лебединая песня чувства. Слишком многое теперь разделяло бывшего офицера, прошедшего через распад великой армии, «лемносское сиденье», черный, почти каторжный, труд, и молодую певицу, и в эмиграции живущую вполне благополучно (собственная певческо-музыкальная школа, гастрольные концерты).

Третьей любовью Чхеидзе, которую пронес он в своем сердце через все испытания, стала Маркета Сикорова. «Доктор философии, знаток Балкан, замечательный филолог и – самое главное – редкостный человек, т[ак] ск[азать], великого сердца»^{*} – так характеризовал Константин Александрович будущую жену, с которой познакомился в 1935 году, в письме В. Ф. Булгакову, бывшему секретарю Л. Н. Толстого, автору знаменитой книги «У Л. Н. Толстого в последний год его жизни». «Моя Маргарита» – мило-сердечно, на русский манер, называл ее в письмах друзьям.

Константина и Маркету – они поженились в 1936-м – сближало многое: любовь к народной культуре, литературе, истории. Этнограф и фольклорист, Маркета серьезно занималась балканским фольклором, «изъездила и исходила пешком Югославию и Болгарию, знала и любила мусульманские провинции Югославии, Боснию и Герцеговину» (Воспоминания. С. 452). Примечательное признание делает Чхеидзе в мемуарах: «Своим внешним видом в молодости она напоминала мою юношескую любовь – Катю Никольскую» (Там же).

«Живем мы в романтической обстановке, – пишет Чхеидзе В. Ф. Булгакову, – старый “панский дом”, почти замок, или “шатó”, здесь когда-то лечился раненый русский генерал (эпохи Наполеона). Генерала звали Николаем Николаевичем, отсюда наименование “villa Nikolajka”^{**}. Двери дома открыты для друзей и коллег. У молодых супругов широкий круг общения: писатели, поэты, ученые – русские, чехи, словаки, болгары. Оба много работают. Чхеидзе пишет романы, продолжает обработку кавказских легенд, читает лекции в Русском свободном университете, ведет кружок по изучению современной русской литературы, созданный им в 1932 году в содружестве с филологом Л. В. Копецким.

Много сил в 1937–1938 годах он отдает подготовке «Словаря эмигрантских писателей». Проект, начатый в 1933 году Д. В. Философовым и Союзом русских писателей и журналистов в Польше, продолжился в Праге. В. Ф. Булгаков, возглавлявший Русский культурно-исторический музей, под эгидой которого шла работа, привлек к ней К. А. Чхеидзе^{***}. Константин Александрович существенно дополняет

^{*} К. А. Чхеидзе – В. Ф. Булгакову. 7 апреля 1936 // РГАЛИ, ф. 2226, оп. 1, ед. хр. 1211, л. 18.

^{**} Там же. Л. 19.

^{***} Переписку В. Ф. Булгакова и К. А. Чхеидзе по поводу подготовки «Словаря...» см.: ГАРФ, ф. 6784, оп. 1, д. 7, 9; РГАЛИ ф. 226, оп. 1, ед. хр. 1211.

списки писателей, рассылает и обрабатывает анкеты, ведет картотеку, редактирует готовые материалы.

Жизнь течет своим чередом. А горизонт сначала медленно, потом все стремительнее затягивает черная мгла. В октябре 1938 года в результате инспирированного Германией Мюнхенского соглашения Чехословакия теряет треть своей территории, 15 марта 1939 года в Прагу вступают гитлеровские войска, 1 сентября начинается Вторая мировая война.

Русская эмиграция по-разному реагировала на начало европейской войны и на последовавшее двумя годами спустя вторжение гитлеровских войск в пределы России. Некоторые представители правых кругов эмиграции радовались успехам Гитлера, надеясь что фашистское наступление уничтожит ненавистную власть большевиков. Другие – как Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, мать Мария (Е. Ю. Кузьмина-Караваева) и др. – духовно восставали против фашизма, несущего миру ложную, оскотленную веру, корежащего образ Божий в человеке, и видели в совершающемся «суд над историей». Многие эмигранты уходили в движение Сопротивления и гибли в концлагерях.

Были и те, кто оказывал кровавой вакханалии войны тихое сопротивление, единственно возможное для них в силу внешних обстоятельств. Такое сопротивление явил И. А. Бунин: больной, страдающий от голода и холода, он писал «Темные аллеи» – книгу рассказов о любви, противопоставляя скрежещущему, жестокому времени образы чувства, лежащего в основе жизни.

Чхеидзе нашел свою форму «тихого сопротивления». В оккупированной Праге в 1942 году он работал над романом «Крылья над бездной». Из реальности озверения и убийства уходил в мир легенды, в область дней давно минувших, обретая там и нравственные идеалы, и уроки настоящему.

Внешний и внутренний сюжет своей книги спустя десятилетия он так обозначит в письме О. Н. Сетницкой: «Тема – жизнь горцев в XVIII веке, борьба феодалов, протесты народа. Конечно, и романтическая струя. Но основной тон – восприятие жизни, как мелькание крыльев над бездной»*. Образ крыльев, простертых над пропастью, – символ хрупкости бытия и одновременно внутренней силы его, побеждающей хаос и смерть.

Мир по своему собственному хотению сошел с ума; сокрушив устои человечности, ввергся в бездну нравственного безумия. Чхеидзе наблюдает современность – и все больше вопросов рождается в его душе. Чем чревато преступление заповедей, данных человеку Творцом? К чему влечет нарушение традиции, которая совсем не пуста: за внешней, выношенной веками формой стоит глубина содержания. В мудрости веков ищет писатель ответ. Еще в «Стране Прометея» из уст старца Биберда прозвучала поучительная история двух братьев, Ибрагима и Тау-Султана: младший преступил закон старшинства, обманом завладел новорожденным жеребенком. Ничего хорошего не вышло из его жадной лжи. Господь наказал поправшего заветы предков, пренебрегшего мудростью поколений – поставил лицом к лицу с циничными нарушителями этой мудрости, обманщика сделал жертвой обмана. Жеребенка украли, и тогда вспомнил Ибрагим «о брате Тау-Султане, которого так несправедливо обидел». С черным лицом уходит он из селения: «Лишающий себя братьев не может рассчитывать на друзей»**.

* К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 12 января 1969.

** Чхеидзе К. А. Страна Прометея. С. 111.

В романе «Крылья над бездной» трудная история Орсундаха, «горного гнезда, что лежит выше полета орлиного, выше облаков грозových, среди гранитных скал, ледников и лесов», начинается с того же человеческого своеволия, ставящего себя выше правды Господней, запечатленной в отчем обычае. Два друга, два воина вступают в селение. Гордый, нетерпеливый Кадай за должное принимает почести, предназначенные для Леуана, ибо тому принадлежит старшинство. Отгоняет от себя голос совести, не рассеивает заблуждения горцев. Но не во благо служит почет, оказанный по ошибке. Гордыню сердца Кадая и потомков Кадаевых питает он. Рознь и вражду разжигает в селении. Малое зло разрастается, роковые несчастья поражают аул Орсундах.

Два нравственных выбора рисует Чхеидзе в образах Кадая и Леуана. Два нравственных выбора, стоящих и перед отдельным человеком, и перед человечеством как целокупностью. Выбор самости и своеволия, эгоизма, от которого грубеет сердце, власти, основанной на силе и страхе. И выбор служения Богу и людям, выбор ответственности, совести и любви. Башни, которые строят герои в селении, обретают символический смысл. Одна – в центре аула – манифест злой гордыни, поставлена «во имя свое». Вторая – на холме у въезда в селение – образ благодарения, архитектурная молитва Творцу, это «башня-защитница», «неприступный ключ к родным очагам»^{*}.

Голос правды Божьей звучит в романе-сказе устами старца Эльдара. Благословенный летами, одаренный разумением истины вещей, раскрывший свое сердце Богу и миру, Эльдар напоминает библейских патриархов. Высшая мудрость дана уболенному сединами горцу. Уже не видят глаза, слабеет и ссыхается тело, но дух его светел и душа полна любовью к миру, который держит в своей руке Тот, Кем сотворены и земля, и небо, и бессмертные горы, и цветы, и травы, и человек.

Образ Эльдара собирателен, но и конкретен: «В ранней молодости я любил бывать в самых глухих местах в горах, в Балкарии, – признавался К. А. Чхеидзе О. Н. Сетницкой. – Там довелось прожить некоторое время вблизи действительно старца-патриарха, ему было 124 года. Ростом два метра и несколько сантиметров и почти не сгорбленный. У него был сын двадцати лет, точная копия отца. Отца звали Тенгиз, сына Маштай. Так вот высказывания Тенгиза, их “мелодию” я и попытался передать в этой своей книжке»^{**}.

Тенгиз, Тенгиз Суншев... «...Я не встречал человека, которого поставил бы не говорю – выше Тенгиза, <...> но рядом с Тенгизом. А пришлось мне встречать многих и многих: ученых, великих князей, полководцев, писателей и других людей, которых иногда называют великими. Пусть называют»^{***}, – писал Чхеидзе в книге «Страна Прометей». И снова – теперь уже в романе-сказе – оживает навсегда вошедшее в его душу восхищение Тенгизом, этим «чудом Балкарии»^{****}. Герой «Страны Прометей» выходит из исторического повествования в пространство предания. Старец Тенгиз становится старцем Эльдаром.

Еще в декабре 1932 года в программном докладе, прочитанном на первом заседании кружка по изучению современной русской литературы, писатель определял литературу как сферу творчества идеала и рассматривал русскую литературу под

* Текст романа «Крылья над бездной» цит. по: Литературный архив Музея национальной письменности. Ф. 139. С. Погорецкая. 79/63. № 4625.

** К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 12 января 1969.

*** Чхеидзе К. А. Страна Прометей. С. 76.

**** Там же. С. 78.

углом искания идеального образа – человека и человеческого общежития, «мира и жизни в нем»^{*}. Позднее он не раз углублял и оттачивал эту мысль, настаивая на проективности художественного образа, на том, что образ обладает способностью заражать и преображать, вести за собой человека. Тем серьезнее ответственность художника – и тем напряженнее на высших взлетах русской словесности стремление создать образ «положительно-прекрасного человека», героя, подражание которому стало бы преображением.

В литературе XIX века таким героем был Алеша Карамазов. В творчестве Чхеидзе – юноша Агелик из Леуанова рода. В нем неразрывны внешняя и внутренняя красота, благородство черт лица, походки, манеры держаться – и благородство духа, души и ума. Он справедлив и милосерден, храбр и великодушен, мужествен, но обладает чутким, сострадающим сердцем. Не на своевольную, гордынную мощь, подобно владыке Темиру, наследнику рода Кадаевых, опирается Агелик, но на заветы предков, на голос совести, на чистое сердце. И потому именно ему дано восстановить мир в Орсундахе, нарушенный давней враждой, и соединить оба семейства, природнившись – через древний обряд (вот она, спасительная сила традиции!) – с родом Кадаевых.

Как послушник, принимая монашество, получает новое имя, так Агелик, пройдя через «второе рождение», становится Эльдаром – в честь названного отца. Когда-то Гизо, побратим Инала, кровного родителя юноши, убитого наследниками Кадаев, назвал его Агеликом по имени «героя-мстителя древних горских сказаний». Но не мстителем – умиротворителем стал Агелик-Эльдар в Орсундахе. Воспринял он в сердце мудрое слово Хассана, старого пастыря: «Не обычай создает человека, а сам человек – горское племя, вот кто хозяин закона. Что было доброго в прошлом, пусть не умирает вовеки: зла перенимать не надо». Зрячим и мудрым, умеющим отделять добро от зла идет по жизни герой. Не велениям кровной мести, не древнему «око – за око» – заповедям любви и согласия внемлет его чуткое сердце.

В светлой юности – Агелик, Эльдар – в старости, убеленной сединами. Таков путь героя Чхеидзе. Стремительный, бурный рассвет и медленный, величаво-прекрасный закат. Между ними – долгая жизнь, благословенная трудами, счастьем любви, добрым потомством. Как праотец Авраам, через которого Господь установил завет свой с людьми, умирает, «насыщенный днями» (Быт. 25:8), так приближается к скорбному финалу Эльдар – тихо, просветленно, не ропща на свой удел, на быстротечность жизни, сколько бы лет она ни вмещала: «Есть мера всему на земле. Есть мера и веку людскому».

Хотя Чхеидзе стихов не писал, поэтическое начало в нем было всегда. Оно проявляло себя в образности его кавказской прозы: «Стране Прометей», рассказах, сказках, легендах. Легко и свободно льется поэзия на страницы романа «Крылья над бездной». Как аэроплан, разогнавшись на взлетной дорожке, готов оторваться от распластанной, тяжелой земли, взмывая в небесную высь, так стремительно бегут, влекомые энергией ритма, строки романа-сказа, то и дело приближаясь к той грани, за которой возможен взлет из прозаического в поэтический эпос.

Поэтичность творческой манеры Чхеидзе шла от его кавказских корней, от кавказского и балкарского, грузинского и осетинского фольклора. Питалась она и восточной поэзией, с которой Константин Александрович был хорошо знаком. Низами, Саади, Руми, Хафиз, сливающие поэзию с философией, – его учителя в слове и

^{*} Чхеидзе К. А. О современной русской литературе. Прага, 1932. С. 3.

образе. Как и европейские, и русские классики, вдохновлявшиеся миром Востока: Гете, Байрон, Пушкин, Лермонтов... В прозе об эмиграции Чхеидзе ориентирован на реалистический стиль повествования, более сдержан, скуп на эпитеты, хотя и сюда долетают вдохновенные ветры, гуляющие по пространствам его кавказской прозы. На этих пространствах писатель дышит полной творческой грудью. Богатая палитра метафорической, образно-символической речи щедро дарит свои краски, текст являет собой настоящую симфонию цвета, слова и образа.

Роман «Крылья над бездной» кончается просветленным гимном Творцу и Творению, миру, в котором проходит свой путь человек. Над темными пропастями, бездонными провалами, обрывами, сулящими паденье и смерть, парят крылья надежды, влекущие к избавлению от каменной тяжести зла, к чаемой гармонии, которой взывает душа человека с первых шагов его на земле.

* * *

Увы, реальный исторический мир от обетованной гармонии был очень далек. В 1945-м в Прагу вступили советские войска. Для одних это было освобождением, для других – началом тюремных мытарств. Чхеидзе оказался среди последних. Он был арестован органами СМЕРШ, депортирован в Россию. Десять лет провел в лагерях*.

Маргариту Чхеидзе лишили работы, выселили из Праги. Вместе с маленькой дочерью Марией она поселилась в городке Роуднице над Лабем. Доктор наук, умная, тонкая, образованная, знавшая иностранные языки, была вынуждена работать дворником, чтобы прокормить себя и ребенка. Работала с улыбкой, с гордо поднятой головой. Это тоже было свое «тихое» сопротивление.

Чхеидзе вернулся в 1955-м. На фотографии, сделанной по возвращении, – осунувшееся, худое лицо. Но глаза смотрят сосредоточенно и волево. Он должен восстановить не только себя. Он должен спасти жену и дочь. Он не может допустить, чтобы его Маргарита и дальше мучилась с тяжелой метлой.

Жизнь налаживалась трудно и медленно. Работа ради насущного хлеба отнимала все время. На писательский труд сил почти не оставалось.

И тем не менее Чхеидзе пытается вернуться в литературу. Проводит ревизию сохранившихся рукописей и уже через год, после того как его нога снова ступила на чешскую землю, предлагает перевод романа «Крылья над бездной» одному из пражских издательств – увы, безрезультатно**. Не опуская руки, начинает готовить к печати сборник сказок и легенд «Орлиная скала». Вошедшие в него тексты были написаны еще до войны, София Погорецкая в 1939–1941 годах их перевела, но издать сборник тогда не удалось. Сейчас, с огромным трудом, сквозь редакторские препоны и рогатки, Чхеидзе продвигает дело к изданию.

Сборник вышел в 1957 году в издательстве «Детская книга». Чхеидзе не подписал его своим именем, предпочел псевдоним «Аль-Костан». Не очень хотелось

* См.: Репников А. В., Макаров В. Г. Хранитель «Федоровского очага»: Князь Чхеидзе глазами чекистов // Родина. 2008. № 1. С. 91–96.

** См. Письмо К. А. Чхеидзе В. Каплицкому от 2 августа 1956 // Литературный архив Музея национальной письменности. Фонд В. Каплицкого. 27/А/12–95/76. Далее письма К. А. Чхеидзе В. Каплицкому цитируются по этому источнику. Приношу глубокую благодарность Марии Чхеидзе, ознакомившей меня с цифровыми копиями переписки К. А. Чхеидзе и В. Каплицкого.

ему, уже состоявшемуся писателю, после больших довоенных романов выступить перед читателями с маленьким сборничком. Но, с другой стороны, – и это оправдывало смену писательского имени – псевдоним был памятной данью Кавказу и предкам: «Костан – это мое имя, как оно произносится в Кабарде. А. Л. – начальные буквы имени моего отца (Александр)» – так пояснял свой выбор Чхеидзе в письме Вацлаву Каплицкому*.

Символичным было и заглавие сборника. «Орлиная скала» – так назвал Чхеидзе легенду о неприступной скале, высющейся вблизи Казбека. Хранит она возвышенную и трагическую историю: о царе-орле, в последний день своего царствия мужественно ринувшемся на скалу, дабы обогреть ее кровью согласно обычаю предков; о новом молодом царе, принесшем в орлиную стаю ребенка и отказавшемся проливать кровь того, кто поставлен Творцом мира «царем над всей природой»; и о том, как, потеряв в один день двух властелинов, навсегда расстались орлы с Орлиной скалой, «свидетельницей их несчастий».

Многие сказки и легенды, вошедшие в сборник, писателю помнились с детства, и он, по его собственному признанию, «только переработал основной мотив»¹. Дагестанские сказки пришли из сборников XIX века, получив новую обработку. Особая история произошла с персидскими сказками «Красавицы-проказницы», «Волшебный перстень», «Унижение шаха Аббаса». В письме О. Н. Сетницкой К. А. Чхеидзе излагал ее так: «В годы моего “курортного отдыха” (так называл Чхеидзе свое пребывание в сталинских лагерях. – А. Г.) года два у меня напарником был полуперс, полутаджик. Звали его Ала-Мурад и “отдыхал” он за контрабанду, вообще за “черные” дела. По-русски говорил он бойко, но страшно комично и в его лексиконе блатной язык и сквернословие составляли более 90 процентов. <...> Так вот этот самый Ала-Мурад был со мной в дружбе и в минуты “перекура” рассказывал разные были, небылицы и сказки. От меня тоже требовал, чтобы я его знакомил с кавказским фольклором»². Вошла в сборник и сказка «Мудрый Орцхо», представлявшая собой «семейное предание семьи Мальсаговых из Ингушетии». Познакомил Чхеидзе с ним красный партизан Орцхо Мальсагов, «названный так в честь своего отдаленного предка»³: воевавшие в Гражданскую по разные стороны баррикад, они оказались в 1950-х на одних нарах в сибирском лагере.

Над сказками Чхеидзе будет работать и после выхода сборника. В сущности, это был единственный жанр, с которым мог выйти в печать в социалистической Чехословакии бывший белый офицер и заключенный сталинских лагерей. Впрочем, сказки он любил и, как уже говорилось выше, считал формой народного самосознания. А еще – мечтой о предельном и невозможном, которую затем пытается осуществить человеческий разум: «Сказки – это тоже “заказ”. К примеру, ковер-самолет, живая вода, победа над смертью», недаром «на вопрос одного собеседника, что надо делать, чтобы быть великим ученым, Ал. Эйнштейн ответил: “Читать сказки”»⁴.

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы! –

* К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 5 июня 1970.

** К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 1 июля 1973.

*** Там же.

**** Там же.

***** К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 17 декабря 1972.

эти строки из лермонтовского стихотворения «Бородино» передают то внутреннее настроение, с которым обращался Чхеидзе в своих легендах и сказках к устному наследию предков, шедшему из глубин источной, мифологической памяти. «Они вопрошали – и находили ответы. Они спрашивали себя, погружаясь в глубины своего сознания, для чего они существуют, каково назначение рода человеческого – и давали ответы. <...> В отличие от нашего сознания – исковерканного скепсисом и рационализмом – их сознание отличается бесстрашием и – для нас недостижимой – верой».

В 1968 году в Праге выйдет маленькая книжечка «Волшебный перстень. Избранные сказки и легенды». Тогда же Константин Александрович попытается выпустить – увы, безрезультатно – в чешской «Детской книге» второе издание «Орлиной скалы». Русский вариант сборника он предлагает «Детской книге» в Москве, однако издательство дает на рукопись отрицательную рецензию. Просветом в череде издательских неудач стал выход в 1971 году в словацком издательстве «Молодые годы» романа «Невеста гор», представлявшего собой обработку кавказской легенды о девушке, бросившейся со скалы, – единственная из крупных вещей Чхеидзе, напечатанная после лагеря.

А между тем в рукописях лежали и недопечатанный «Пророк в отечестве», и «Крылья над бездной» – вещи, которым писатель придавал особое значение в своем наследии. Ибо они более всего отвечали тому пониманию творчества, которое не раз формулировал он в статьях и письмах 1930–1970-х годов: быть словом об идеале, вести «к самосознанию человечеством своего истинного назначения»^{***}.

К обеим вещам Чхеидзе возвращается в последнее десятилетие жизни. К «Крыльям над бездной» – в 1968 году, к «Пророку в отечестве» – в 1973-м.

«Крылья над бездной» он отдает в издательство «Праге». Внутренняя рецензия, написанная А. Плудеком, весьма благоприятна. К тому же, книгу высоко оценил чешский писатель Вацлав Каплицкий^{****}, с которым Чхеидзе близко общался и состоял в переписке по возвращении в Прагу. «Ваш отзыв произвел на меня глубочайшее впечатление, – писал Чхеидзе Каплицкому. – После стольких лет ожиданий наконец промелькнул какой-то проблеск – появилась какая-то надежда, что «Крылья над бездной» выйдут из «бездны небытия»^{****}.

С энтузиазмом воспринял Константин Александрович предложение Каплицкого снабдить книгу поясняющим введением и кратким словарем кавказских реалий и выражений. «Словарь, – писал он своему чешскому корреспонденту, – мог бы составить доктор Вацлав Черны, он работает в Ориентальном уставе^{*****}, прекрасно знает Кавказ. Знаком он и с моими книгами»^{*****}.

Но надеждам Чхеидзе не суждено было сбыться. Книгу без всякого движения продержали в издательстве почти три года, пока автор сам не забрал ее. Попытки пристроить в другие издательства – то «Чехословацкий писатель», то «Молодые годы», где печатался роман «Невеста гор», – тоже потерпели провал.

* К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 5 июня 1962.

** К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 13 февраля 1958.

*** «Вашу рукопись я уже прочел и искренне Вас поздравляю. Это лучшая книга, которую я читал у Вас» (В. Каплицкий – К. Чхеидзе. 24 апреля 1969 // Литературный архив Музея национальной письменности. Фонд К. А. Чхеидзе. 92/71).

**** К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 28 апреля 1969.

***** Ориентальный устав – Институт востоковедения.

***** К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 28 апреля 1969.

Причины, по которым издательства отклоняли роман, были прозрачны. После подавления Пражской весны 1968 года и августовского вступления в Прагу советских войск в стране изменился политический климат. С каждым годом атмосфера становилась все тяжелее. В истории Темира, утверждающего свою власть в Орсундахе насилием и жестокостью, цепкий цензурный взгляд, натасканный на ловлю крамолы, видел опасные аллюзии на сталинское правление в СССР, а свободолюбивый Агелик, твердо защищающий аул от тирании безжалостного властителя, и вовсе был неуместен на страницах новой социалистической литературы.

И все же Чхеидзе не позволяет себе досадовать и роптать. Та мудрость предков, вера в судьбу-Провидение, которую рисовал он в своих кавказских легендах, по-прежнему ведет его вперед, и он готов идти к цели даже по каменистым путям. «...В общем судьба (или Бог) были милостивы ко мне, – размышляет он в одном из писем Каплицкому. – Подумайте, сколько пришлось пережить, перенести. Я бывал в самых невероятных ситуациях и – хотя это удивительно – вышел из них с “целой кожей”».

И действительно, судьба дала ему силы на последний творческий подвиг. С конца 1967-го по август 1971 года по заказу чешского Литературного фонда Константин Александрович работает над «Воспоминаниями». Название «События, встречи, мысли» перекликается с названием одного из первых очерков писателя «Снимки и думы». Перекличка совсем не случайная. В «Воспоминаниях» тот же принцип письма, что и в болгарских записках: образ мира сливается с мыслью о нем. На шестистах машинописных страницах – «не календарный двадцатый век»: дореволюционный Кавказ и Россия, Гражданская война, эмиграция, Вторая мировая, арест, Лубянка, советский лагерь... «Ставлю себе первейшую задачу дать независимое, правдивое, пусть личное, описание нашей необыкновенной эпохи»^{*}, – пишет автор О. Н. Сетницкой, горячо поддерживавшей его начинание.

Как и в художественной прозе, Кавказ в воспоминаниях Чхеидзе занимает огромное место, кавказская тема звучит даже там, где повествование переносится за границы России. Как колоритно описывает мемуарист дореволюционный уклад моздокской жизни, сколько поэтических страниц посвящает Кабарде и Балкарии, по которым путешествовал летом 1916 года, с какой болью рассказывает о Гражданской войне на Кавказе, поднимавшей братьев на братьев, и с какой любовью говорит об обитателях гор, сохранивших в себе высоту духа, прямоту и чистоту сердца...

Как и в художественной прозе, в воспоминаниях Чхеидзе соединяет две темы, стоявшие в его творчестве рядом, – Кавказ и эмиграция. Обе пропущены сквозь личный опыт, обе – пеплом Клааса стучатся в сердце. Появляется и третья тема, которую он не мог примерить на себя ни в 1930-е, ни в начале 1940-х годов, – тема лагеря. Свидетельство Чхеидзе о ГУЛАГе по силе эмоционального воздействия, по своей исторической правде, по смысловой глубине не уступает «Архипелагу ГУЛАГ» Солженицына и «Колымским рассказам» Варлама Шаламова.

Чешский писатель Вацлав Копецкий сравнивал лагерные картины воспоминаний Чхеидзе с «Записками из Мертвого дома»^{**}. Сходство это заключалось не

* К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 28 февраля 1970. Ср. в другом письме: «Как я уже писал, отношусь фаталистически к судьбе книги “Крылья над бездной”. Не я первый и не я последний, кто “страдает от ситуации”» (К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 5 июля 1970).

** К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 28 июня 1968.

*** Письмо В. Каплицкого К. Чхеидзе от 16 декабря 1970.

во внешнем совпадении места действия, но в самих принципах изображения. «Сибирский лагерь. Я встречался там с настоящими дьяволами, палачами, садистами. Однако, за редкими исключениями, и среди преступников находились люди, в которых жило нечто человеческое. Надо было лишь найти "мост" к этому человеческому». Это стремление «при полном реализме найти в человеке человека»^{***}, ставшее основой художественного метода Достоевского, свойственно и лагерным свидетельствам Константина Чхеидзе.

Мемуары Чхеидзе получили пять положительных отзывов. Отрицательный поступил из пражского Института марксизма-ленинизма, что, впрочем, было вполне предсказуемо. Но Константина Александровича меньше всего волновала оценка, шедшая не от исторической и художественной правды, а от идеологии. Гораздо больше его заботило то, что времени, отпущенного судьбой, остается все меньше, в голове зреет новая книга, а в Торговой палате, где он работал последние годы, ему приходится «гнуть спину над переводом» самых занимательных и разнообразных вещей, «начиная от торговых договоров и кончая текстильными машинами»^{****}.

И все же урывками, несмотря на ежедневную службу, несмотря на болезни, которые обрушились на него в последний год жизни, Чхеидзе продолжал писательский труд. Он переделывал «Пророка в отечестве», за три недели до смерти написал статью о своем друге, чешском писателе Йозефе Кнапе, для сборника его памяти. А еще беспокоился о судьбе Пражской Федоровианы, архивного собрания, созданного им в далеком 1933 году. С момента возвращения в Прагу Константин Александрович продолжал пополнять уникальную коллекцию, перекочевавшую из Национального музея в Музей национальной письменности, в знаменитый Страговский монастырь. Весной 1974 года, уже страдая от смертельной болезни, он обратился к Литературному фонду с просьбой о выделении стипендии на разработку материалов архива, посвященного мыслителю, идеи которого, по мысли Чхеидзе, рассчитаны «не на десятилетия – на века»^{****}. Фонд отказал – отчасти это разочарование приблизило горький финал.

Двадцать девятого июля 1974 года сердце Константина Чхеидзе остановилось.

* * *

Еще в детстве и юности Чхеидзе полюбил Лермонтова. За его влюбленность в Кавказ. За чуткость, восприимчивость его души. За его несмиримость со злом, порывы к бесконечному и невозможному. «Неугасимый светоч», «окрыленный, неповторимый гений»^{*****} – Лермонтов сопровождал Чхеидзе на всех его жизненных и духовных путях. Не раз «в минуту жизни трудную» цитировал писатель себе и другим знаменитое «Когда б в покорности незнания...», видя в нем художественно-философское кредо поэта, обретая в чеканном десятистишии ту жажду осуществления чаемого, которая составляет сущность подлинной веры:

* К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 4 октября 1970.

** Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. С. 65.

*** К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 5 марта 1972.

**** К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 31 августа 1965.

***** К. А. Чхеидзе – О. Н. Сетницкой. 1 мая 1972.

Когда б в покорности незнания
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил.
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства
Не должно б вечно было знать.

Эти «неисполнимые желанья», это взывание совершенства никогда не угасали в душе Константина Чхеидзе, вели его вперед, питали очаг вдохновения. Свою жизнь прожил он с верой в священность писательского труда, в то, что «каждый автор, каждое произведение» вносят свою лепту в дело преображения мира, что «нигде человек не бывает так близок Богу, как в акте творчества»^{*}.

Анастасия Гачева

^{*} К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 13 февраля 1958.

*Крылья
над бездной*

Роман-сказ

Две башни

Во имя Бога, Всемогущего, Милосердного, Милостивого. Во имя Бога, который прощает, награждает и карает. Во имя Бога, который держит в деснице своей прошлое, настоящее, будущее – в равновесии и справедливости.

Я, Эльдар из Орсундаха, горного гнезда, что лежит выше полета орлиного, выше облаков грозовых, среди гранитных скал, ледников и лесов, края их никто не увидит. Я, Эльдар, из рода людей солнечной крови, ибо предки мои из века в век поклонялись божественному светилу, присягали при сиянии света его, неумирающего, приносили жертвы, обращая священную алую струю жертвенной крови к лику, взирающему с небес.

Я стар, очи мои притуплены, и мой слух не распознает теперь бляения козы от плача ребенка. Я не знаю, сколько лет минуло с того дня, как моя нога твердо ступила на землю. Но люди, которым судьба помогла перешагнуть через грань столетья, твердят, будто я, Эльдар из Орсундаха, старше их на возраст юноши, впервые бреющего ланиты свои. Я стар, я знаю это. Однажды я проходил лесом и увидел поляну, сожженную пожаром. Себя самого я там увидел. Ибо посреди обгорелых, уничтоженных огнем пней стоял одинокий вековой чинар, задымленный, с увядшей листвой, стоял он, крепкий, горя молча о прошлом, но не ропща, не стоная. А вокруг него, повыше обугленных пней, буйно разрастались кустарники и деревца, и были там ольха, береза, терновник, барбарис, кизил и Аллах ведает сколько еще молодых побегов. Я приблизился к древнему стволу, с белой корой, кое-где изуродованной старостью, почерневшей. Я обнял дерево. Я шепнул ему: «Брат мой». Потом я обернулся к вассалам, с молодой зеленью зарослям, сказав им: «Внуки и правнуки мои». И душе моей было горько и сладостно.

Ко мне пришли люди, наши горцы, молвили:

– Эльдар, там, на нижнем краю аула, стоит полуразвалившаяся сакля, без крыши, с отбитой ветром дверью. Неподалеку от сакли лежит груда камней, не знаем зачем.

– Эльдар, – сказали они, горцы, – мы не знаем, кому принадлежит эта земля, и отцы наши не знают. Эльдар, – продолжали говорить, – мы нуждаемся в каждой ладони пахоты. Ты знаешь, трудно горцу найти землю для посева. Теперь в нашем селении людей больше, чем было, когда был ты в летах мужа.

– Эльдар, – сказали еще, прося меня, – позволь нам снести дом и убрать камни. Мы выровняем землю – будет хорошая пашня для кукурузы или проса.

Я знал этот обветшалый дом. Я не забыл еще, почему подле дома сложена куча камней. Поэтому душа моя содрогнулась. Я молчал.

Тогда сказали одноульцы:

– Есть какой-нибудь запрет на доме этом? Ни мы, ни отцы наши не знаем ничего.

Я воззвал внутренне к голосу совести моей. Совесть, о люди, потому называется совестью, что в ней, рядом с нашим, живет иной, высший голос, и это он подает весть о том – что право и чему не надлежит быть. Совесть внушила мне такие слова ответа:

– Идите и делайте как справедливо и разумно.

Они ушли, чтобы возвратиться снова через два дня. Брови горцев сжимались у переносицы, глаза горели испугом и недоумением:

– Мы нашли под грудой камней два скелета, – сказали голосами, прерывистыми от волнения. – Мы нашли два скелета, мужчины и женщины, скованных железной цепью. Зачем, Эльдар, ты не остановил нас? Мы совершили святотатство. Весь аул в тревоге.

Опять услышал я биение своего сердца, разбуженного, тронутого ветром, который возник в крови. Сколько уже лет, десятилетий я не ощущал в груди движения сердца моего, тихо отдаляющегося от мира. Но я сказал себе в душе: «Так должно быть, нет ничего, что не случилось бы без позволения Божьего, ибо один Он владеет мерой справедливости и воздаяния».

– Как вы знаете, – спросил я, – что это мужчина и женщина скованы цепью? Как могли узнать это?

– У одного, – ответили, – сохранилось оружие – кинжал и шашка; череп другой обвит полустлевшими косами. Скажи, как мы искупим свой грех?

Может быть, люди подметили краску щек моих, всегда желтых и сухих, как кожа, выделанная для шитья, а ныне вспыхнувших поздним заревом. Так вспыхивает иногда закатное небо прежде, нежели погрузиться в

мрак ночи. Не знаю, открылось ли волнение мое людям; я чувствовал лишь, как согрелось мое лицо жаром, дохнувшим из далекого, далекого прошлого.

– Греха вы не совершили, – принудил я себя к ответу, – погребите кости, не разъединяя их, на обычном месте, внутри кладбищенской ограды... Да будет воля Твоя, – проговорил я, тронутый и изнеможенный. – Теперь уйдите, люди...

Горцы ушли. Я оглянулся. Там, где в старом селении Орсундах стояли три-четыре десятка саклей, ныне, подобно резвой отаре овец, разбежались по всем направлениям много и много строений. Где к самой околице аула примыкала лесная трущоба, откуда медведи и волки, и поганые кабаны подчас забегали к человеческому теплу зимой, теперь распростерлись возделанные нивы, а по дну каналов струилась живительная вода. Вниз по ущелью вилась колесная дорога, по ней шли медлительные волы в ярме, таща за собою арбу, нагруженную сеном. Этой дороги не было. Ее стал прокладывать мой первенец Абдурахман, когда борода его обогатилась серебром и когда он был уже дедом, а я прадедом. Рядом с узкой балкой, с перилами на одной стороне для пешеходов, через нашу бурную речку перекинут новый широкий мост, его построили мои внуки, когда вошли в возраст и заседали в совете аульских старейшин.

Боже, Творец, Промыслитель и Судья! Все есть в мощи Твоей, не мне, покорному рабу, противиться воле Твоей. Но дух мой не поспекает за новизной, новизна утомляет меня. Я перевожу взгляд свой на две высокие башни, на две башни, уходящие вершинами в небо. Они стоят, не поколебленные временем, гордые крепостью своею вековою. Они живы для меня так же, как в тот памятный день, когда я сошел с перевала из-за хребта в эту долину, приютившую меня. Мой дух отдыхает при лицезрении башен. Я гляжу потом на скалы из гранита, вечного, несокрушимого, непобедимого, я люблюсь льдами и снеговым покровом высоких гор, святых, ибо неоскверненных людскою злобой, никогда не обгаренных кровью – и да сохраняются они на веки веков в святой чистоте своей. Я льну своим старым сердцем, своею отходящей от мира душою к этим вершинам, молюсь и падаю ниц перед их великолепной белизной, озаренной лучами.

Все ушло, все проходит, бытие и страсти людей кажутся мне всплеском волны в реке, на которую взглянуло солнце, взмахом крыла быстроле-

тящей птицы в голубом просторе. Но тот восторг прозрения правды Твоей, о Боже, которым Ты наградил меня в некоторые мгновения моей жизни, – это пребудет вовеки, ибо рождено прикосновением Твоим – Твоим, Кто есть вневременным и неизменным в сиянии благодати. Ты единый ведаешь обо всем сразу, о том, что было и чему надлежит быть. В Тебе одном сосредоточие и развязка путей и судеб людских...

Ансар, твое благородное сердце, как думал каждый, предназначалось к ликованию и счастью, но ты был грустен всю жизнь, ты расстался с земною юдолью в пору, когда пошел в зрелые лета, полновесные, полновзвучные: ты умолк, как свирель пастуха, внезапно отринутая от уст. Но ты успел положить камень, краеугольный камень, в здание счастья людей, благословлявших тебя, избранника небес.

Темир, грозный и гневный, своевольный, упрямый Темир, ты был из рода почитателей молнии. Разве предчувствовала бесстрашная твоя душа, что молния-то и предназначена быть судьбою твоею? О, Темир. Горько и страшно мне еще и теперь произносить железное твое имя пересохшими устами, бессильными в бледности своей. Темир, счеты наши окончены. Ты предан земле, нашей матери, которая рождает нас и кормит, чтобы потом призвать обратно в беззвучные и мягкие объятия свои, затем чтобы вернуть наши бранные останки свету в ином, неизвестном виде; которая, однако, не касается нашей души, если она достигла ведания правды и блаженства, ради чего и была ниспослана в мир с небес. Темир повелительный, суровый, огненно-страстный, ты был подобен раскаленному железу, но ведь и железо охладевает, и железо пожирается ржавчиной смертного тления... Темир, познал ли ты в свою судьбоносную минуту единую неложную истину, что лишь дух, пробившийся сквозь страдания к свету, приобщается к нему – к немеркнущему Свету, источнику всякого Бытия?

А ты, Дзеннетта, чьи глаза сверкали в порывах любви и в порывах болезненно переживаемой тобою обиды или бесправия? Дзеннетта, благоухающая солнцем и весной, Дзеннетта, дивный горный цветок, аромат которого принадлежал тебе одной. Вседержитель вложил в тебя пылкость птицы, когда она распевает весенние песни любви; Он наградил тебя нежным и мужественным сердцем природной горянки, а твой голос и поныне звучит мне сквозь тишину бессонных ночей – звучит, как сладчайшая нота райской скрипки, как звон серебряного колокольчика в тихой мелодии райских цветов. Но я не в силах больше вспоминать о тебе, Дзеннетта...

Я только то говорю, о люди, будь вы мои братья или враги: великое и малое в этом мире – все неизбежно повинуется всеобъемлющей воле Единого, который есть Бог. Не переименовывайте моих слов, не лукавьте. Я не учу безделию, не призываю к лености сонной, безответственной и тупой, которая лжет сама себе, говоря: «Бог – все, а я – ничто, потому-то и не буду ничего делать». Я говорю: Бог – во всем, в песчинке и в облаке, Бог и в нас, посланниках Его на земле. Если вы чисты и стремились к одному добру – вы праведники. Если вы колеблетесь, подобно гибкому камышу между дуновениями доброго и злого начала, живущего в вас, – вы люди, просто люди в несовершенстве своем. Если же вы, умолчав насильно глас Всевышнего, звучащий в совести вашей, отдаетесь изуверству и злу – тогда не ропщите за себя и за единокровных своих, ибо мера исполнится и возмездие придет неотвратимо.

Итак, вот слова мои, слова старого Эльдара из Орсундах:

– Живи, верь, надейся, трудись, больше всего люби, сострадай с несчастным, отрицай зло, вечно слушай правду голоса совести своей. Если почудится тебе, будто Бог отступил от тебя, или, пав духом, ты внутренне скажешь себе: «Добро бессильно в этом мире, а зло побеждает», – вспомни в эту минуту печали, что вселенная, не тобою начатая, тобою не заканчивается. Ты не знаешь и не должно тебе знать тайны Суда Божия, но этот Суд творится непрерывно. Не ломать копье своеволия своего о нерушимую стену Божьего предопределения должен человек, но со смирением и покорностью исповедовать: «Господин и Повелитель мой, мой Создатель. В меру сил и разумения я исполнил свое предназначение, а в прочем да будет Твоя воля святая».

И вот сойдут в душу твою ни с чем не сравнимые мир, и удовлетворение, и тишина – и это будет наградой твоей, неотъемлемой и невыразимой, ибо нет слов языка человеческого, чтобы пояснить ее.

Так говорю я, старец Эльдар из горного аула, именуемого Орсундах.

В древние времена жил великий праведник, и Господь однажды дал ему взглянуть на управление миром. Увидел сей праведник жаркий день, пыльную дорогу среди обожженных солнцем степей, и также тенистую рощу увидел праведник, а под зеленой сенью деревьев – прохладный родник. Некий странник на потном коне остановился у источника, сошел вниз, чтобы утолить жажду. Когда он пил, из-за пазухи не приметно выпала кошница, наполненная золотыми. Странник уехал.

К роднику приблизился другой человек, хозяин огорода, расположенного по соседству. Он поднял оброненную мошну, взял ее и ушел. Еще через время подошел сюда же старый изможденный бродяга, покрытый пылью. Он зачерпнул пригоршню воды, потом лег в тень отдохнуть. Вдруг послышался топот, разгневанный всадник поднял свой меч над головой старика.

– Отдай мое золото! – крикнул.

Изумленный старик призывал в свидетели Бога, что он не видел мошны с золотом, но всадник не поверил ему и, ударив мечом, умертвил его.

– Как, – воскликнул праведник на небесах, при виде убийства содрогаясь от негодования, – за что он убил его?! Боже, Ты допустил нечестие. Да провалится земля со всем, на ней живущим...

И заколыхалась земля, и провалилась бы, если бы Господь вовремя не удержал ее.

Тогда Бог сказал праведнику:

– Маловерный, знай, что предок убитого старика убил предка всадника и убийство это не было отомщено. И еще то знай, – сказал Бог, – что другой предок всадника взял в долг у предка огородника мешок золота и не возвратил его...

Тогда упал великий праведник на колени перед Владыкой и Судией и только молчал, проливая слезы.

Две высокие башни, две башни, уходящие вершинами в небо, царствуют над моим аулом Орсундах, где доживаю свой век я, Эльдар. Увидит ли их человек доброго сердца – скажет: «Два родных брата взирают тут друг на друга, два брата стоят в каменном молчании, облеченные в несокрушимый гранит, всегда приготовленные помочь друг другу в беде», – и будет прав. Увидит ли их человек злого сердца – скажет: «Два смертельных врага, два супротивника ополчились здесь один против другого; вечно спорят они между собою, а победа, как легкомысленная женщина, улыбается попеременно то одному, то другому», – и также будет прав.

В старинные времена, о которых помнят разве что вот эти нависшие титаны-скалы с хмурыми лбами, из дальней страны выехали два друга с дружинами, выехали в поисках удачи и славы. Старший из двоих, Леуан, был отважен в схватке, мягок и ласков в обращении с каждым; младший, Кадай, был подобен огню, ниспадающему с неба, ибо отличался

он быстрым, свирепым нравом, сродни волчьему. Кадай не уступал в удали Леуану, однако соратники недолюбливали его, потому что чрезмерная горячность и гордость – неподходящая почва для произрастания цветов верной дружбы. Много земель объездили дружинники, много побед одержали, довольно славы приобрели. Тогда, отягченные добычей, стали поговаривать дружинники об отдыхе, о возвращении домой. Леуан не возражал им, однако Кадай, нетерпеливый и страстный, возвысил свой голос, говоря:

– Взгляните на горы, на гордые горы, взгляните на вершины снеговых гор, достигающие небес. Днем солнце напрягает силы, чтобы перешагнуть через них, ночью яркие звезды цепляются золочеными углами своими об их ледяные края. Да, это истинно Звездные горы, это о них поют богатырские песни наших краев. Тот, кто завладеет ими, будет прославлен на века.

Пышно говорил Кадай, извергал из очей пламя и пыл огневой души своей. Но отступились дружинники от него, все они смотрели на Леуана, ожидая от него мудрого слова. Леуан, связанный боевым братством с Кадаем, не желал огорчить его, однако и крепкая дружба с соратниками была мила душе его. Он сказал:

– Дивное чудо Божье, эти горы. Как алмазы, как звезды сверкают они. Лежат на них снежно-ледяные покровы, но то не снега и не льды – то серебротканая парча, расшитая узорами. Вижу перед собою камни неприступные, леса непроходимые. Вижу и реки. Какие реки! Человека проглотят, как песчинку, коню ноги переломают. Великолепный край лежит перед нами, но пустынный. Не может здесь существовать человек. Где же нет людей, там и нам, братья, нечего делать...

– Постой, – крикнул Кадай, – не убоюсь ли сердце твое, о Леуан?! Что скажешь, если я докажу, что в горах этих обитают люди?

Леуан усмехнулся:

– Не о себе забочусь, приятель. Что до меня, я пойду, куда ты пойдешь, и далее пойду, поверь мне. Не хочу я, не хочу дружину вести на путь тернистый, неведомый.

Леуаново слово разбушевало сердце Кадая, но он смолчал. Взял его за руку, подвел к реке.

– Что плывет на волнах? – спросил.

– Щепки.

– Кто нарубил их – пустыня?

Леуан освободил свою руку из горячих пальцев Кадая. Порою немощно ему было переносить трудный нрав соратника. Но Леуан был верным другом.

– Спросим удальцов, – сказал, – захотят – последуют за нами в горы, вверх по реке, не захотят – я принуждать не стану.

Так случилось, что два рыцаря степей, Леуан и Кадай, на добрых конях, с одним мулом, нагруженным их долей добычи, пустились в путь навстречу неизвестным далям. Долго они ехали, не с людьми, с бездорожьем воевали. Бесчисленные перевалы, потоки, теснины, лесные трупобы преодолевали они, по-братски деля невзгоды. На пятый день Кадаев конь оступился, упал в пропасть – не услышали путники удара тяжкого тела о дно: может быть, у пропасти и дна не было. При падении коня Кадай разбил бок и ногу. Леуан уступил младшему раненому брату своего коня, с мягкой поступью, сам же сел на мула твердохребетного. Так выехали они из леса на прогалину и увидели тропу. Тропа привела их к поселку – несколько хижин на берегу, несколько загонов для скота. Все сработано из цельных стволов да неотесанных обломков скал.

Выбежали обитатели хижин, окружили путников, первому Кадаю поклонились, он сидел на статном коне, второго, Леуана, приветствовали. Роковая случайность. О, если бы в Кадаевом сердце в эту судьбоносную минуту засветилось чувство права, порядка, добра. О, если бы знал и ведал Кадай, как неосмотрительно приоткрыл он в эту минуту врата сердца своего; если бы понимал он, какого джина зла впустил он в эту минуту в тайники существа своего... Впрочем, каждая минута перед Аллахом решающая и роковая.

Надменно приосанился Кадай, приняв поклон. Хватило у него стыда не смотреть в эту минуту на старшего друга, Леуана, но если бы посмотрел на него – ничего, кроме спокойствия, не увидел бы на лице его. Невозмутимый взгляд больших овальных ясно-серых очей Леуана как бы говорил: «Каждый избирает по желанию сердца своего; я, Леуан, не нуждаюсь в почете, оказанном по ошибке...»

Остались друзья жить в горном селении, уже тогда имя ему было Орсундах. Кадай вел себя, как старший, Леуан, не оспаривая, жил своею жизнью. Взяли жен себе пришельцы, Кадай взял дочь самого знатного горца, владельца больших стад. Леуан женился по влечению сердца на девушке из семьи, известной благоразумием и порядком. Редкий день не встречались друзья, а когда встречались, Кадай, робея в душе, чва-

нился и напускал на себя вид неприступной гордости. Леуан спокойно беседовал о делах, какие посылал Бог на день тот. Когда у них стали подрастать дети, юноши и девицы, Кадай сказал:

– Необходимо позаботиться о вечной славе наших семейств, Леуан. Поставим две башни – две башни высокие, крепкостенные, достойные славы имен наших. Хорошо ли мне, дурно ли, не хочу решать, но, ты сам знаешь, так вышло, что местные люди меня признают старшим из нас двоих. Поэтому я поставлю свою башню в середине аула: орел всегда сверху взирает на подчиненных ему пернатых. Ты же, Леуан, поставь башню для своего рода где тебе заблагорассудится. Выбери место.

– Выбор нетруден, – отвечал Леуан. – Еще когда мы въезжали в селение, я подумал, как доверчивы эти горцы, зачем не укрепили гнездо свое со стороны тропы, откуда пришли мы. Там, на холме у въезда, будет стоять моя башня, моя башня сторожевая.

Вздрыгнул Кадай, оглянулся быстро: не подслушал ли кто мудрое слово Леуана? Не заметил ли кто посторонний бескровную победу ума над превыспренней гордостью, вечно боязливой, страшющейся унижения?

Вышел Кадай на площадь собраний, обратился к народу:

– Кто желает приобрести мою приязнь навеки? Кто поможет мне, вашему старшему, соорудить башню, охрану и славу рода моего? Кто желает есть вкусную баранину, пить крепкое пиво, черное пиво на меду? Старцев я не зову и малосильных не приглашаю. Слово мое идет к ушам зрелых мужей.

Много горцев собралось вокруг Кадая, ибо знали, что у него богатая родня в ауле. В это же время Леуан пешком навестил старого мастера-каменщика, поведал ему о замысле своем. Рассказал ему в тихой беседе о башне-защитнице, о неприступном ключе к родным очагам горцев. Долго бродили они, прикидывали, отмеряли, не только о месте для подножия башни и о камнях для ее постройки совещались.

Вскоре закипела работа. Арба за арбой тянулись к кадаевской стройке, десятки сильных мужей выгружали и складывали каменный лом. Когда башня была выведена в уровень крыш аульских, вспомнил Кадай о воде – вспомнил, не смутился: велел вырыть колодезь, обвел его высокой стеной и проход к нему укрепил. Много, много месяцев кормили кадаевские родственники толпу работников, вдоволь кормили и поили, два урожая злаков, половину стада отдали за башню. Была она высокая, с четырьмя углами несокрушимыми, с бойницами узкими, как щербина. С верхнего

яруса башни можно было кинуть камень – самую дальнюю кровлю аульскую разбить. Довольны, горды были Кадай со сродниками своими.

Леуан с мастером-стариком тоже не ленились. Перво-наперво отвели они воду из скрытого родника под склоном горы, канаву сверху каменными плитами и дерном прикрыли – ни свой, ни чужой не догадается, что тут, под землей, протекает ключевая вода. От склона горы к месту стройки деревянный настил из гладких досок положили, выбрали из стада двух сильных быков, научили их от каменоломни к башне камни таскать – такие, что два человека с трудом поднимали. Чем выше росла башня, тем выше поднимали настил для быков – только самую верхушку без быков достроили. Но была Леуанова башня не выше, не вместительнее Кадаевой – избегал он, мудрый, напрасным соперничеством Кадаево сердце дразнить. Но Леуанова башня была ладнее сложена, и стены толще, и приступ к ней был хитрее сооружен. Не более пяти человек знали тайны входов и выходов – не более пяти, и все верные, преданные.

Когда соорудили башни, на празднестве отвел Кадай Леуана в сторону, сказал, замаявшись:

– Великое наитие осенило меня, брат Леуан.– Давно братом его не называл, с трудом проскользнуло это слово святое сквозь уста его. – Дабы теперь, и впредь, и никогда не было вражды между владельцами башен в нашем ущелье – в нашем ущелье благословенном, надлежит нам скрепить узы дружбы неразрывною связью крови и семени. Породнимся, брат Леуан, пусть наши наследники, сыновья и дочери, сольются в одну семью владельцев, навеки неоспоримых.

– Да, – ответил Леуан, – я всегда уважал быстроту твоего рассуждения, братец мой Кадай, всегда, не ревнуя о старшинстве, выслушивал, что ты говоришь, что ты намереваешься сделать, а уже потом высказывал слово свое. Правда твоя, нужно породниться нам. Узы крови – самые тесные узы.

Ангелы добра распростерли воздушные, благовонные свои опахала над душою Кадая. Духи зла на мгновение отошли от него.

Хотел он сказать:

– Итак, будучи младшим, испрашиваю у тебя, дорогой, дозволение засватать твою старшую дочь за своего старшего сына.

Скажи он эти слова, эти слова справедливые, скажи он их сейчас, пока ангелы-хранители оведали душу его, скажи он их тут, наедине с

братом и другом, века умилились бы при воспоминании об их открытой дружбе. Сказал же он иное:

– Радуюсь согласию твоему, Леуан, – проговорил едва слышно, ибо предчувствовал, что придет дальше, и страшился предчувствия своего, – радуюсь и ожидаю сватовства.

– Сватовства? – Леуан отступил на шаг, не веря тому, что услышал. – Сватает, как известно, тот, кто ищет. Я? Я ничего не ищу у тебя, Кадай.

Коли бы на этой грани – на этой грани опасной остановился Кадай, то и не произошло бы ничего непоправимого. Зачем не отошел он, зачем допустил гордости своей взять верх над тем, что есть честь и святой обряд у горцев?

– Меня признают здесь все за старшего из нас двоих, Леуан. Как могу идти против всех?

Глаза его глядели мимо глаз Леуана.

– Против своей совести идешь, любезнейший, – холодно произнес Леуан. – Я против своей совести не пойду. Ведь ты-то знаешь, кто из нас старший.

Еще подождал немного: меньше, нежели нужно времени для произнесения полуденной молитвы «Нет Бога, кроме Бога...», больше, нежели нужно времени сказать: «Прости меня, брат».

Кадай молчал, глаза его пылали, щеки залила бледность. Безмолвно расстался с ним Леуан.

Две башни, две крепостенные, высокие, властвовали над аулом Орсундах, две башни, как два брата, готовых помочь друг другу, как два непримиримых соперника, спорящих из-за добычи. Навсегда положил заклятие своему роду Кадай не родниться с леуановцами, не искать с ними близости ни на охоте, ни в забавах, только обороняя общую Отчизну горцев – ущелье Орсундаха, – идти вместе против врагов. Навсегда и Леуан завещал своим потомкам не признавать старшинства кадаевцев, не оборачивать к ним ни лица, ни спины, лишь когда защита аула потребует, сражаться с ними бок о бок. Бык был родовым священным знаком леуановцев, ибо быки построили их башню с четырьмя углами, с двенадцатью бойницами. Леуан вырезал на плоском круглом куске свинца изображение рогатой бычьей головы – печать рода своего. Молния считалась священным патроном Кадаева рода, потому что в день смерти Кадаев разразилась гроза, молния ударила вдоль верхнего яруса

башни, вреда не причинив. Только навеки осталась морщина, в виде изломанной стрелы, из почерневшего спекшегося камня.

Так жили поколения братьев-врагов, без мира и без вражды, близкие и далекие друг другу. Пока была свежа память об основателях родов, завет их дружбы – ибо внешне они не рассорились до конца дней своих – соблюдался леуановцами и кадаевцами. Когда же впоследствии потускнели башни от дождей, пыли и ветров, когда омрачилась от времени память стариков, неприязнь между родами-соперниками силилась, дружелюбие же истощалось. Кадаевцы кичились своим неправильным старшинством, леуановцы пренебрегали им; обитатели Орсундаха впали в смятение. Кого слушать? Кому благоволить? Чье слово наставляет? Чья десница ведет?

Было время покоса. Долго ожидали горцы конца затяжных дождей. Дождь шел. День больше, день меньше – шел не переставая. Тогда сказали кадаевцы:

– Люди, трава выросла по грудь. Берите косы, айда на луга.

– Благодарим. Кто хочет, пусть идет, – возразили леуановцы, – мы переждем. Наша скотина не жрет гнилье.

Одни слушали тех, другие – этих. Но потому, что аул разбился на части, не было общих предпокосных празднеств, горские скрипки-кобузы молчали, девушки не показывали своих нарядов, молодые люди не состязались в пляске и пении. Неудовольствие владело аулом.

Леуановцы предложили на сходе построить на пастбище убежище для пастухов и молодых ягнят. Кадаевцы осмеяли их:

– Виданое ли дело для горца таскать на спине жерди для шалаша? Предки наши не имели шалашей для пастухов и ягнят и нам не нужно.

Леуановцы собрали своих сторонников: каждый, кроме стариков, понес в гору на хребте, на согнутом хребте – соблазн для гордого сына гор – связку жердей и веток. В один день поставили прочный шалаш, не внимали глумлению зубоскалов. А когда весной вернулись на время заморозки и их люди с овечьим приплодом были в тепле, они не пустили к себе кадаевских пастухов. Про это огорчение долго помнили обе стороны.

Но беда приключилась позже. Три брата-леуановца: Шамиль, Инал и Адиль – владели тогда башней предка-рыцаря; пятеро кадаевцев составляли семью их надменных противников. Из них только средний, Барзон; имел сына-подростка, Темира. Грозная туча надвинулась на Орсундах с востока, с равнин, где властвовали полукочевые князья-адыгейцы. По-

желали князья наложить дань на от века свободных горцев. Тут уже не о покосе, не о шалашах пошла речь: решалась ущелья судьба.

На народном совещании старший Кадаев сказал:

– Мы соберем войско, мы выйдем навстречу противнику, мы устроим засаду в узком месте ущелья, мы подрубим вековые деревья, мы свалим их на головы наступающих – мы победим их.

Шамиль Леуанов воспротивился, говоря:

– Правда, главный путь в Орсундах ведет по реке через ущелье. Но кто открыл тебе, о потомок рыцаря Кадая, кто сообщил тебе об умысле врага? Адыгейцы хитры и отважны. Они могут пробраться по сторонам ущелья; кто защитит наши очаги, если войско будет в засаде, а наши кровы без охраны? Нет, мы дадим врагу утомиться переходом через наши славные перевалы, мы утомим его топкими лесами наших горных склонов. Нет, мы подождем их, изможденных походом, здесь, в нашей передовой башне. Мы поставим войско наше на скалах по обеим сторонам входа в ущелье. Мы станем стеной против середины ущелья, опираясь на башню мудрого праотца нашего Леуана, да будет вечная память высокому образу его...

Много бурных споров выдержали обе стороны, не придя к согласию. Разделился аул Орсундах. Плач, стенания, горькие вопли – в роковую минуту раскололся аул Орсундах: не было единомыслия в умах властелинов той и другой башни. Кадаевцы со своим отрядом вышли поджидать врагов в засаде. Леуановцы, подобно орлам, обороняющим гнездо свое от вторжения, остались в ауле. Шамиль укрепился в башне; Инал с лучшими стрелками занял правую высоту у устья долины; Адиль, приказав снести запас камней и обломков, ждал гостей-адыгейцев с левого бока. Бой не был ни продолжительным, ни кровавым. Не адыгейские князья, а адыгейские разведчики вели отряд против горцев. Едва они втянулись в устье долины, Адиль забросал всадников скалами: каменный град обрушился на пришельцев. Метнулись они к противоположному склону – заговорили ружья Иналовых стрелков. Тогда, увидя смятение врагов, сам Шамиль во главе дружины бросился вперед: отогнали, разбили, обратили в бегство дерзких.

Не со стороны равнин, а со стороны аула, с тыла напали адыгейцы на кадаевскую засаду: убегали они прямой дорогой, вниз по реке. Один из Кадаевых и немало горцев полегли в этой битве, битве суровой. Торжество победителей омрачилось. Тогда возросла слава защитников

Орсундаха, леуановцев, тогда же затвердели сердца братьев Кадаевых. Они погребли убитого, они не позвали на тризну никого из рода Леуана. Они уединились в башне своей – башне высокой, с четырьмя углами, со знаком стрелы, изломанной, выжженной молнией.

– Единокровные мои, – начал беседу старший из четырех, – мы знаем и уверены, кому довлеет верховодство в ауле. Наш предок Кадай был признан старшим от начала, мы прямые потомки его. Где лежит зло, где корень бедствия Орсундаха?

– Право, обычай, старшинство – все на нашей стороне, – подтвердил второй брат. – Если наши отцы соглашались терпеть этих людей, должно ли и нам терпеть их? Нас оскорбили. Не думаете ли вы, о братья, не думаете ли вы, что эти вероломные люди были в заговоре с адыгейской шайкой?

– Старшинство наше в опасности, – так продолжал средний из Кадаевых, Барзон, – я заметил, горцы склоняются на сторону вековечных соперников наших. Если не мы их – они нас. Неужели Кадаевы уступят? Вы бездетные, дорогие братья; призываю вас в свидетели: надежда нашего рода в моем сыне, Темире, да живет он и да передаст блеск имени нашего потомству.

Последний из братьев, он был ранен в схватке с адыгейцами, долго молчал, потом промолвил:

– Когда я был в возрасте Темира, леуановцы осмелились спорить с нами. Ныне, когда я, как муж, хожу в битвы, леуановцы поднимают свои головы выше наших. Если я доживу до седых волос, они будут покрыты позором, ибо леуановцы изгонят нас из аула и завладеют нашей башней – башней высокой о четырех углах. – Опять помолчал. Резко выхватил из ножен кинжал, потряс над головой:

– Смерть им! – вскричал.

Бледный, с горящими глазами, слегка сутулый, он походил на Кадая-предка, когда тот был в гневе; он напоминал волка, приготовившегося к скачку на добычу.

Зачем, зачем крылатый золотой диск вознесся в тот день над долиной твоею, о Орсундах? Зачем голубизна и пурпур восточного края неба порозовели, а потом расплылись, подобно невещественной мгле; зачем раскинулось яркое в эмалевой синеве своей небо над злосчастной долиной Орсундаха? Горе, горе надвигалось на тебя, о белокаменный

Орсундах с деревьями зелеными. Текли кристально-чистые, как молодой лед, холодные ручьи в долине твоей, Орсундах, текли столетиями, не предчувствуя мига, когда замулятся волны их, покраснеют от горячей крови рыцарской, благородной крови, крови потомков богатыря.

Но нет, люди рассказывают – уже с вечера дивные знамения предвещали беду. На дворе леуановского вольноотпущенника Кармакая черная курица заголосила петушиным криком. Красавица Сата, жена Кармакая, та самая Сата, за которую Кармакай отдал три пары волов и двух кобылиц со стригунками, ибо знаменита была Сата сия умом и красою своею ослепительной. Эта Сата ловила и не могла поймать курицу-петуха с черными крыльями, черными, как смола. Тогда Кармакай, позабыв о мужском своем достоинстве, с кинжалом бросился за птицей – пророчицей злой. Одним взмахом отсек курице голову, вырвалась обезглавленная наседка, взмахнула крыльями, черными крыльями своими, широко брызнула кровь – залила личико девочки Наныки, дочки Кармакая и Саты.

Люди помнят, что накануне злодеяния, посетившего аул Орсундах, со стороны леса на склоне без видимой причины скатился валун, громадный, величиной с быка, с громом упал посреди козьего стада. Ни детей-подпасков, ни малых козлят – никого не задел валун этот, но задавил он старого козла-вожака, Бода было имя ему. Лежал Бода расплющенный на брюхе, выставив рогатую голову с бороδοю вперед, и голова его, с оскаленными зубами, смеялась сатанинским смехом. Ужаснулись люди, отошли от задавленного, а он, Бода, будто бы глазами мертвыми своими ворочал за ними, ворочал глазами, смеясь.

Перед закатом солнца вдруг все небо пожелтело дивным мертвенным цветом. Облака, похожие на черепа людей, долго тлевшие в земле, остановились незыблемо над кровлями саклей. Усатый Гизо, стремянный Инала из рода Леуанова, первый указал людям на облака-черепа. Он вел серебристогривого жеребца своего владыки к водопою. Инал приказал вычистить, выкупать, накормить своего любимца, ибо еще спозаранку намеревался выехать на медведя, которого выследил его зоркий охотничий глаз. Усатый Гизо, знаменитый наездник, прославленный борец с грудью широкой, как щит, с костями мощными, как кости быка, Гизо первый показал людям на дивные облака.

– К чему это? – спросил старца Хабая, сидевшего с трубкой в зубах на придорожном камне.

– Да, к чему это? – ответно спросил Хабай.

– К великому стону, к беде неотвратимой, – пробурчала за их спиной переломанная надвое старая тетка Кармакаевой жены, Саты, она жила у Кармака. Люди замечали за ней нехорошие, колдовские дела.

Наутро встало чистое солнце, ясное, подобное перьям крыльев перво-родного ангела Божьего. Утро было росистое – над сочными заливными лугами, близ реки, едва заметно дымился, истаивая, бело-голубой туман. Вот первый из мириад огненно-ярких лучей солнца всплыл над левым, восточным склоном долины. Вот засияли, заиграли золотыми звездами росинки на диких цветах полевых, а когда испарились росинки, аромат диких цветов полевых понесся с ветром вдоль ущелья, колеблясь, даруя истому, блаженную и сладкую, как утренний сон. Убийцы Кадаевы с вооруженной толпой окружили змеиным кольцом башню рыцаря Леуана. Солнце видело – не содрогнулось, небо взирало – не возмутилось. Как змеи, как скорпионы, с хрюканьем, похожим на хрюканье презренного кабана, с ревом, каким режут взбесившиеся верблюды, когда они извергают из недр своих ядовитую слюну, – так пошли вероломные кадаевцы на башню рыцаря Леуана.

Народ орсундахский, в изумленном отчаянии видел, страдал, молчал, как солнце – золотистое сердце небес, как земля – безгласная невеста небес с сосцами, неистоцимыми, благоухающими чабером и повиликой.

Далеко отъехал Инал, далеко; копыта коня его среброгривого неслышно ступали по мшистому дну ущелья, называемого ущельем Семикратного Эха. Позади него ехал Гизо. Вдруг вздрогнул воздух. Из незримой дали принесла струя ветра едва слышный гром среди ясного утра. Как легчайший вздох, но внятно, семикратно повторило ущелье пронесшийся звук. Удержал коня Инал, Гизо привстал на стременах.

– Стреляют? Кто?

– В ауле, – хмуро ответил Гизо. Видение мертвенно-желтых черепов вернулось к очам его.

Поворотили коней. Инал ударил коня плеткой – конь полетел, как барс окрыленный, как сказочный Альп из волшебных сказаний. Не по тропе – через провалы мчался Инал, мчался через стволы поверженные, поверх скал упавших, остросребрых. За ним мчался Гизо. С высоты, откуда Инал со стрелками отразил адыгейцев, увидели оба черное дело сего празднично-ясного дня, благословленного природой, проклятого

людьми. Увидели бой двух мужей, Шамиля и Адила, против озверевших убийц, неравный, нечестный бой увидели они оба.

– Гизо, – сказал Инал глубоким голосом прирожденного владыки, – ты не был слугой, ты был побратимом моим, верно ли это? Гизо, – сказал твердым голосом мужа-воителя, – там, где погибают единокровные, там ищущую долю свою – свою долю богатырскую, славную. Ты же, о Гизо верный, Гизо преданный, ты поедешь кружным путем к дому близких моих Унараевых, ты поедешь на моем коне, вот этом, с железными копытами, с буревой грудью. Ты возьмешь мою молодую супругу Джан; вместе с нею будет еще одно существо, в ней живущее, ты разумеешь меня, верный Гизо. Ты увезешь их в дальнюю сторону, ты спасешь их во имя мое.

Инал снял с себя цепь из продолговатых, искусно выкованных колец; кусок плоского свинца, старинная печать леуановцев, висел на той цепи – цепи стальной, не имевшей ни начала ни конца, подобно роду отважного рыцаря Леуана. Отдал цепь Гизо, сказав:

– А дальше поступай по голосу совести своей, по внушению Божьему поступай, побратим мой.

Три дня пировали кадаевские победители, носители вероломных сердец, предатели, обрызганные кровью героев. Первый день пировали на лужайке у кладбищенских стен в память четвертого из своих братьев: его сразила рука Инала – Инала, потомка Леуана. Второй день пировали в башне завоеванной, пробовали вкус мяса леуановских быков, упивались запасами подвалов, леуановских подвалов, темных, глубоких, холодных и среди жаркого лета. Третий день пировали в своей наследственной башне, с черной язвой на стене – следом огненного поцелуя молнии быстрой. Этот мир третьего дня был пышнее устроен предыдущих. Счастливые события торжествовали Кадаевы: весь Орсундах с обеими башнями-близнецами, башнями, что были братьями и соперниками, в их державную волю перешел. Не ждали, не гадали Кадаевы, какая грозная тень поднимается на них с востока, со стороны предгорий и равнинных пастбищ, где обитали адыгейские князья с дружинами своими могучими.

Когда узнали князья адыгейские о гибели защитников Орсундаха, тотчас выступили в поход. Не засад кадаевских, а грозной башни леуановской опасались они, опасались они мудрого боевого опыта властелинов башни этой. Ныне открытый путь лежал перед ними. Не знали, не ведали наследники Кадая, для чьей победы трудились, кому помогали,

убивая. Однако не смутились они при первой вести о вторжении адыгейцев. Ту весть горцы-дровосеки принесли. Стремглав, с горных лесов к Орсундаху спустились. Скот на дальние пастбища угнали, жен, и детей, и скarb домашний, легкий, с собой в лес унесли.

– Трусy, сбросьте папахи, мы вам подарим бабьи платки с алыми цветочками на белом поле, – кричали уходящим кадаевские люди.

– Мы леуановские, – отвечали те, – без Леуановых нет нашей доли ни в сражении, ни в победе.

«Но победе, – говорили про себя, – не бывать, где нет сыновей Леуана, строителя башни, защитника очагов орсундахских».

Два старших брата Кадаевы укрепились в сторожевой башне, в высокой, со стенами толстыми, в той, что быки помогали возводить. Барзон с малолетним Темиром защищали свою родовую башню. Адыгейцы, высокорослые, чернобровые молодцы, со статными телами, на горячих конях, все как один в золотом и серебряном убранстве, все с орлиными носами, с чернью в ярких очах, адыгейцы веселой гурьбой въехали в Орсундахскую долину. Невиданное доселе зрелище открылось перед ними. Не знали они, что здесь, за перевалами и лесами, лежит широкая, как добрая степь, равнина с пологими краями, чуть-чуть приподнятыми. Не думали адыгейцы увидеть вблизи ледников многоверстных такую благодать. Башни, сакли белостенные из дикого прочного камня. Божий дом с высоким минаретом, наверху витиевато украшенным, с круглым балконом для муэдзина. Равномерная сеть каналов для увлажнения нив, огородов, бахчей. На обзоре – многоголосые стада, кони, волы, коровы, овцы с длинной шелковистой шерстью, козы – всего в изобилии, пересчитать нельзя. А над благословенной этой долиной, как невозмутимые падишахи в белых тюрбанах, стоят горы, стоят и сияют ослепительной белизной и дышат чистым благовонием, приятным для груди человека. А вокруг долины этой прекрасной, исполненной плодов земных, куда достигаet око, шумят и зеленеют необозримые леса, нетронутые, полные сказочных богатств.

– Хорошо здесь, – сказал младший князь, оглядевшись.

– Тесно, – ответил старший.

– Всего вдоволь, – непрямо возразил младший.

– Глаз адыгейца, – наставительно произнес старший, – не выносит замкнутого круга. Наш глаз ищет бескрайнего простора, как наша душа – блаженства.

– Все же тут есть чем поживиться, – стоял на своем младший, он был хищник с еще неудовлетворенной жаждой добывать.

– Да, мы возьмем изрядную дань с этих пешеходов-пастухов.

Пешеходами называли адыгейцы горцев, ибо адыгейцы редко покидают седло.

Объехали оба князя сторожевую башню со всех сторон, подивились немало. Непокколебимая твердыня предстала их взору. Высокая стояла она, вросши в землю, верхушкой оперевшись в небеса, как в первый день, когда ее построил Леуан. Не было трещин в ней, не было подступа к ней – богатырская кладка.

– Тяжкий приступ будет, – мимоходом заметил младший из князей. – Куда лестницы приставим? С какой стороны первую брешь проломаем?

Ничего не ответил старший, только настойчиво взором шарил вокруг и около башни. Наконец, бросил через плечо одно слово:

– Вода.

Понял младший.

В это время привели адыгейские воины пленного, не был то пленный, взятый в битве, был то леуановский вольноотпущенник Кармакай, опоздавший уйти в леса. Шел он вольной, спокойной походкой, вперевалку, словно нехотя, как ходят широкоплечие горцы. Подвели его к старшему князю:

– Откуда воду берут эти? – показал концом плети на башню.

– Не знаю.

Князь мигнул. Чернолицый великан с усами, длинными, как туры рога, медлительно и странно надвинулся на Кармакай, приложил острие ножа к гортани.

– Где вода? – повторил князь, улыбаясь.

– На Коране клянусь – не знаю.

Острие ножа пронзило кожу, вязкое, теплое, остропахучее потекло по раскрытой волосатой кармакаевской груди. Он задрожал. Не для защиты кадаевцев-убийц молчал он: Кармакай, как и никто в ауле, не знал тайны подземного водопровода. Нож резал, душа его изнемогала. Внезапная мысль блеснула в разгоряченном мозгу горца. Сколько раз он, пастух от рождения, видел животных, находящих под снегом траву, под слоем земли воду.

– Не знаю, – крикнул, захлебываясь своею кровью, – не знаю, но все же найду! Оставьте мне жизнь...

Пригнал он ослицу, старую, с седоватой шерстью под брюхом, мудрую матку с печальными глазами. Принес Кармакай соль, две пригорш-

ни соли принес, крупной соли, в кристаллах, великую драгоценность, бóльшую, нежели мука в этих краях, меньшую жизни, однако. Всю соль, до крупинки, скормил ослице, стал ждать, и князя, и воины адыгейские стали ждать – старая ослица принудила гордецов к ожиданию. Через час, через два, через три – день был в пышном расцвете своем, солнце палило – потянулась ослица к реке, на обычное место водопоя. Не пустили ее, назад к башне загнали. Стонала старая matka, сухим языком едва в пасти ворочала, люди удерживали ее. Вот, опустив длинноухую голову, побрела она, обнюхивая каждую тычинку, ни один голыш не пропустила. Кармакай шел за ней, придерживая руку на ране, понукая ее:

– Су, су, – говорил, – вода, вода.

Как вкопанная остановилась ослица, заржала. Передними копытами землю гребла. Обнажился плоский камень. Рука Леуановых мастеров положила этот камень здесь – рука мастеров Леуановых, два века назад. Радостно загоготал Кармакай: красавица Сата и дочь Наныка, и даже старая женина тетка представились ему. Он видел себя в родной сакле, как женщины заботятся о нем, раненом. Адыгейцы приподняли камень, пахнуло сыростью, чистая родниковая вода булькала под ним. Отвели воду адыгейцы, оставили башню без воды, с помощью старой ослицы одержали первую победу. Тогда, видя неминуемую гибель, выбежали защитники башни – выбежали кадаевцы из Леуанова каменного гнезда, желая пробиться сквозь вражью цепь ко второй башне. Ни один не добежал. Рядом с пометом скотины, обагрив кровью луговую траву, легли их головы, рассеченные мечами адыгейскими, меткими мечами, острыми. Не стал Барзон Кадаев дожидаться очереди своей, не пожелал разделить братскую пирушку кровавую, последнюю пирушку; вышел из башни, держа за руку сына Темира, другой рукой протягивая свой меч победителю, старому адыгейскому князю. И князь помиловал его, назначил ставленником своим в горах, своим данником назвал Барзона.

– Еще последнее дело на сегодня, – сказал князь, – не в наших нравах оставлять в живых изменников родному племени. Где человек, открывший воду? – Чернолицый, как гора – высокий, привел Кармакаю. – Сделай свое дело, – приказал князь, отворачиваясь.

Одним взмахом отделил чернолицый голову от плеч горца Кармакаю.

– Не много же боли ты выдержал, пешеход, – пробурчал. Наклонился, вытер меч о полу кармакаевской черкески, серой черкески из мягкой шерсти овец.

Туго

...Счастье! Что есть счастье, о люди? Я, Эльдар, старый пень, обугленный пронесшимися над головой бурями, я был тысячекратно счастлив и несчастлив в долгой своей жизни. Я знал многоликое счастье: любви и славы, торжества победы, тихой радости семейного очага. Все прошло, все исчезло, растаяло, как весенний снег на лепестках фиалок, когда прихотью ветра залетят шалуньи-снежинки с ледников на отепленные солнцем луга. Я – был, я – был... есть ли еще я теперь?

Но и теперь, на закате, я бываю счастлив, когда, преодолевая ночь, разверзается огненный глаз света, когда золотые его ресницы теплом и лаской щекочут похолодевшие мои ланиты, будят меня, шепча в ухо: «Эльдар, благодари Создателя своего; Эльдар, молись, молись, ибо день, начатый молитвой, отмечен благословением...» И когда встанет солнце над теменем гор, а муэдзин, простирая руки, вознесет пронзительно-нежный вопль восхищенного своего сердца, когда на мгновение затихает весь мир, чтобы звонче неслась к небесному престолу молитва муэдзинова, – и тогда счастлив я счастьем полуденным. И когда перед вечером расступаются на западе облака, как белошерстые ягнята собираются они в два умолкших стада, а Златогривый Баран ложится на плаху; когда брызнет из Его рассеченного горла снятая жертвенная кровь багрового цвета, брызнет и зальет снегу подобные стада ягнят-облаков, и ледяные горы, и весь мир зальет багровой этой кровью – и в эти неизреченные мгновения испытывает блаженство и счастье душа моя, и молится вечернею молитвой умирания, говоря: «Боже, благодарю Тебя за все: за жизнь, дарованную мне, за скорбь и радость, за силу и слабость мою и за то также, что ныне я тихую стопою иду на зов Твой».

...Сидеть на согретой скале, думать, дремать, утопая в блаженной красоте сумерек, слушать звуки разлитого вокруг щедрого бытия – и знать, что этот синий вечерний полумрак никогда не будет таким же, что он лишь однажды светил и пел свою беззвучную песню и что это однажды

принадлежало мне, что это я, Эльдар, столетний чинар людского леса, что растет в Орсундахе, именно я видел, и слышал, и переживал мир Господний, – разве это не счастье, о люди?

Но Джан, Иналова жена, хрупкая былинка Джан, с бледным овальным лицом, на котором, как черные звезды, сияли миндалевидные глаза, Джан не была счастлива на чужбине, куда ее завез Гизо.

Покуда была Джан с мужем, она не знала ни что такое счастье, ни что несчастье. Не знала счастья своего, подобно лилии, не ведающей о благоухании своем, подобно соловью, которому не дано знания о мелодичных трелях, излетающих из горла его. Джан не могла бы сказать, что она живет, ибо жизнь ее была подобна прозябанию. Но и желать смерти своей не смела молодая вдова-горянка, ибо то, что сокрыто было в ее утробе, росло и жаждало жизни, устремляясь к свету и звуку, еще не ведая о свете и звуке.

Ревнивым оком взирал длинноусый Гизо на свою госпожу-повелительницу, не видел в ней Джан, горянку, человека, видел в ней вдову Инала, роженицу из рода рыцаря Леуана. В день, когда беглецы прибыли в убежище на южной стороне Станового хребта Кавказа, куда не дотянется жестокая кадаевская рука, Гизо совершил поминки по своему погибшему господину. Часть левого уха отрезал Гизо и похоронил под камнем в потаенном месте, и дал крови из раны стечь на этот камень. И покуда – капля за каплей – струилась горячая кровь, он шептал:

– Во имя твое, Инал, во имя твое, сын Инала, приди и отомсти. Приди и отомсти, будущий сын господина моего Инала, ты должен прийти. Твое имя будет Агелик, так звали героя-мстителя древних горских сказаний, только приди; тебе, приходящий, посвящаю всю кровь свою, как этому камню отдаю кровь надрезанного уха. Приди.

Приставил Гизо к Джан старуху-служительницу, не простую женщину – из рода знаменитых знахарей выбрал, Горзали было имя ее. Пообещал ей столько золота, сколько поместится в обеих ее дланях, если наговором и иным чародейством вызовет из роженицы дитя мужского племени. Старая Горзали старалась, подсунула в белье молодой вдовы исподнюю рубашку некоей женщины, родившей семь сыновей одного за другим, ни единой дочки не произвела на свет женщина та, прославленная. А когда Джан удивилась, заметила рубашку из грубой холстины, сказала ей Горзали:

– Девушка, в этой рубашке чудо заключено. Кто ее носит, тому родить – все равно как с горы сойти.

Послушала ее Джан.

В другой раз принесла Горзали ребенка семимесячного, мальчика, принудила Джан поиграть с ним. При игре, словно нечаянно, быстро обнажила грудь обомлевшей Джан, всунула грудь в кричащий ротик дитяти.

– Не бойся, душа моя, – говорила-ворковала хитрая бабка, – не бойся душенька-красавица. Если хочешь уметь своего младенца кормить сосцами своими, сперва на чужом поучись...

Привела колдунья на их двор семь женщин кормящих. Одной за другой приказала посидеть на камне, на камне, согретом полуденными лучами, внимательно смотрела, чтобы точь-в-точь на то же самое место садились. А все семеро были матерями младенцев мужского пола. Потом невзначай подвела к этому камню Джан и на то же место усадила, долго, долго сидеть заставила. А увидев, что утомилась, заскучала бедняжка-вдова, такую речь повела:

– Вон куда посмотри, Джан, вон туда, дитя мое грустное. Там, под золотой короной солнца, светится двуглавый царь всех наших гор, Эльбрус. В том месте, где нависла отвесная скала, живет там древний старик-великан; не спрашивай меня об имени его, нехорошо произносить имя его. Когти у старика подобны орлиным когтям, глаза сверкают, как уголья на горне кузнеца. Когда-то этот старик был близок к Богу, получил от Него силу неимоверную, какой не было на свете. Видит Бог, не знает великан, что поделаться с силой своей. Говорит ему Бог: «Я тебе дам жену, горянку, красавицу тонкобровую, живи с ней, чтобы не озвереть в одиночестве». Великан не хочет. Задумал он собрать богатырей, Бога с престола свергнуть, самому на Его место сесть, миром править. Бог проведаль об умысле, приковал великана к скале на вечные времена. Все свои дни и ночи дремлет великан, потому что скучно ему – вот как тебе сейчас скучно. А когда просыпается на мгновение, спрашивает джиннов-духов воздуха: «Растет ли еще камыш по берегам вод? Рождаются ли еще ягнята в стадах?» Он потому так спрашивает, что все живое ненавидит, истребить хочет. Когда же джинны отвечают ему: «Да, колышется камыш над водами, да, блеют ягняточки, своих маток подзывают, молочка просят», – вот тогда бесится великан, разорвать оковы хочет. Ведь он знает, голубка моя Джан, знает старый, что покуда все это будет на земле, не освободиться ему. Гневные слезы струятся из очей его, струятся, в потоки сливаются, а потоки в реки... Наша река из его же слез изливается, знаешь ли об этом?

Спрашивает, но не слышит ответа. Видит – утомила, усыпила ее болтовня ослабевшую Джан. Это-то как раз и нужно бабке Горзали. Ибо из рода в

род передается сказание, будто роженица, уснувшая на камне, где сидели семь женщин, родившие сыновей, богатырем-удальцом разрешится.

В пищу давала Джан мясо молодых баранов, а мясо овец не давала. В питье подливала тайное снадобье, с примесью семени от козла, – один Аллах ведает чего еще не делала плутовка, чтобы полюбоваться золотыми на сморщенных дланях своих. А золотые она получила: Джан родила сына, Агеликом назвала его.

Не дождалась бедная Джан первого торжества своего утешения, единородного своего сына, не присутствовала на празднике Летагануч, что значит «Пиршество по поводу первого шага». Год исполнился маленькому Агелику. Гизо пригласил старика-муллу, убеленного почтенными сединами, с молодой розовой кожей на лице, с искрами веселья в ясных очах под ширококраспластанными черными бровями. Мулла Амирхан, войдя в по-праздничному убранный покой, совершил молитву, глядя в сторону Мекки.

Два слова над младенцем прошептал:

– *Адль*, помни об *адль*, – сказал, – о божественной справедливости на земле, вечной, не изменяемой ни людьми, ни природой. Помни об *адль*, Агелик, ибо она сердцевина бытия.

– *Миад*, – произнес, – познай, человек, вступающий в мир, познай о *миад*, о жизни за гробом, о справедливом, о Страшном Суде Божьем за гробом.

Гизо выставил на середину покоя круглый столик о трех ногах: круг означает бесконечность рождений; три ноги, на которых держится бытие, – суть: справедливость перед знаком Божьим; воздаяние по заслугам как на земле, так и на небесах; покорность во всем, всегда.

Скромные яства предложил Гизо мулле – не от своего имени, от имени Агелика, правящего первый свой пир: ломоть кукурузного хлеба, соль, вареное пшено, баранину с приправой из сметаны, чеснока и перца, орехи с медом, графин араки – то, чем питаются горцы, что услаждает их плоть и кровь. Потом оба они, мулла Амирхан и пестун Гизо, приняли мальчика из рук кормилицы, поставили на циновку, постланную на полу. Рядом лежали:

кинжал и шашка – взявший оружие воином будет;

конская сбруя, отделанная серебром, – взявший ее наездником будет;

кисет с золотыми монетами – взявший его богачом будет;

книга, раскрытая посередине, – взявший ее мудрецом будет.

– Сделай первый свой шаг, Агелик, во имя Бога, сделай его, – торжественно сказал Амирхан.

– Выбери свою судьбу, Агелик, сын Инала, выбери ее, во имя Бога, – просил Гизо младенца, испытывая дрожь в суставах.

Агелик, черноволосый, смуглый, с мечтательно-грустным взглядом больших ясно-серых глаз, сначала покачнулся, когда мулла и пестун оставили его, потом сделал шаг, протянул руку, заколебался в сомнениях. Дыхание перехватило у Гизо – Агелик взял оружие. Гизо, как упругий клинок, разогнулся, ринулся вперед. Мулла осторожным движением руки остановил его:

– Смотри, – прошептал.

Мальчик подержал в руках кинжал, положил его, сделал второй шаг – к книге. Чуть-чуть приподнял ее, не удержался на ногах, упал бы, но Гизо, восхищенный сверх меры, подхватил его на руки.

– Рыцарем-воином будет! Слава Аллаху.

– И мудростью Аллах не обездолит его, – улыбаясь, прибавил мулла.

Вот все трое сели за стол. Вот поднял бокал мулла – гостю и старшим почет за горским столом:

– Рости, радуй своей жизнью Бога, Агелик, – сказал Амирхан, – вечная память всем твоим предкам, вечная память родителям твоим, – прибавил, вылив часть бокала на пол.

– Агелик, – бурно, мощно, как вал на горной реке, начал свое слово Гизо, слово второго бокала, – будь мужественным. Я возьму твою мужественность, как кузнец берет железо, я раскалю, я выкую ее во имя славных твоих предков. Я научу тебя бороться и побеждать, ты будешь искусным в обращении с оружием, не будет наездника, равного тебе. Ты будешь воином и горцем до корней волос, мой господин Агелик.

Остановился. Не подобает мужу слышать дрожь голоса своего. Остановился Гизо, чтобы не выдать волнения, мощно колыхавшего его грудь, широкую, как щит.

– Учись, дитя, – нараспев говорил мулла, покачивая головой, – ученье согреет твою молодую душу, устроит ее, ученье откроет тебе свет в свете этом. Приди ко мне, если Аллах дарует мне новые годы жизни. Приди к старому Амирхану, он передаст тебе всё знание, каким обладает, и еще другое, которое выпестует в твоей юной душе.

Мальчик сидел неподвижно, с глазами, устремленными вдаль, за открытое окно. Сквозь зелень шелковичного дерева, благословенного дерева южных склонов хребта, на горизонте бескрайнего синего неба, сверкали чистые белые горы, и они были, как крылья невиданной снегоподобной птицы, распростертые над синей бездонностью; они как бы приподнимались чудесной силой выше и выше, навстречу высокому

золотистому цветку, солнцу. Яркие лучи золотили края снегоподобных крыльев, овеявая их белизну роем блестящих искр. Агелик прильнул взором к этой картине, прильнул не отрываясь, мечтательный и тихий.

Две души, две любящие, охраняли, крепили, утешали детство его, детство сироты без отчего дома – еще до рождения изверженного из родной земли. Душа Гизо, твердая, в железные латы закованная, непроницаемая для того, что не было клятвой всей жизни его: мечь Кадаевым – слава роду Леуанову. И душа Амирхана, заботливая, нежно-певучая, душа, искавшая Бога в красоте и добре и находившая Его там, душа поэта. Агелик уважал Гизо, почитал Амирхана: юноша любил пестуна, духовного же своего водителя обожал, с болезненным (хотя и глубоко затаенным) пылом страсти, искавшей родительской ласки и лишенной ее. Оба воспитателя соглашались в том, что без сурового опыта самообладания нет человека, без полного управления своими страстями нет горца. Во многом ином они расходились, не споря, каждый в молчаливой борьбе отстаивал свою правду.

Перед восходом солнца Гизо тихонько гладил Агеликовы ноги: нельзя грубым толчком или окриком призывать человека к бодрствованию, отрывая от видений ночных, нельзя. Ни на один удар чаще не должно забиться сердце пробуждаемого, дабы низменный червь боязни не прикоснулся к нему могильным холодом своим.

– Утро ожидает тебя, утро росистое, здоровое. Иди.

Нога в ногу взбирались они на крутизны, бегали по пастбищу за упрямым конем, который отбил от табуна; ловили с седла арканом жестоконравных жеребцов. Плечом к плечу охотились в лесах тенистых, не тронутых рукой человека, вековых. И среди бесплодных скал, со скудными травками в прогалинках, с разбросанными там и сям лишаями и мхом, тоже охотились.

– Различай деревья, – говорил Гизо, – каждое имеет свой лист, свою кору, свое имя. Вот дуб, царь между деревьями, вот чинар и бук, с белыми стволами, ибо Аллах возлюбил их, как возлюбил горцев среди людей. Вот ель, сосна, пихта – близкие между собою родственники, а все ж разные обычаи имеющие. Ель живет в большом семействе, сосна любит одиночество. А вот клен, и вяз, и липа, и ясень, и ольха мягкотелая, вот береза – всегда ожидает жениха, всегда прихорашивается, а осенью плачет, желтеет от тоски. Уважай каштан среди деревьев, Агелик, он развесист, плодовит, какая гордая осанка у каштана. Но больше всего

подражай дереву, карагачем называемому, ибо сердцевина у него твердая, как железо, – топор ломает...

Для охоты нужен глаз, соколиный глаз, – рассказывал еще, – поступи охотничья должна быть легче поступи барсовой. Рука должна быть верная у охотника, вернее, чем прыжок тура, когда он скачет со скалы на скалу. В оленя и серну стреляй с какого хочешь боку, барса, медведя и волка старайся встретить челом к челу. С зубром будь осторожен – раненый он опаснее всего. Лисица, выдра, бобер – это мелкая сошка, только так, между другим делом, приглядывайся к этим зверькам. Но храни тебя Бог иди по следу вонючего кабана, тьфу, чтоб они все попали гяурам на зуб. Кабан нечистый, Агелик, его сам Бог проклял за нечистоту; так ты, если уж придется, поскорей положи его и уходи, уходи быстрым шагом.

Порою уводил Гизо Агелика на гладкую поляну среди леса, никем не посещаемую.

– Смотри, как надо кидаться на врага в рукопашную, – говорил, схватив юношу за подбородок и поясицу. – Правой рукой ломай пояс, левой отворачивай шею. Если же противник опередит тебя – бей его коленом под живот, кулаками бей в лицо, чтобы он от своей крови ослеп. Будь суровым в бою, будь беспощадным, лукавым, а главное, будь стойким, сильным. Когда победишь, но не убьешь, можешь подарить пощаду. Но лучше убей, Агелик, лучше убей – так будет лучше для побежденного, спокойнее для тебя.

Когда резали козу или барана в округе, Гизо спешил, торопил Агелика:

– Лишь на живом мясе научишься ты, дорогой, наносить верный удар, удар умерщвляющий. Так это делается.

Левой рукой подбрасывая животное за рога, правой делал взмах клинком, казалось, без малейшего усилия, – наземь падали голова и туша, разделенные, источая кровь. Своих, домашних, баранов Гизо приказывал Агелику рубить на десятки кусков – в воздухе – с одного маха... Шкура погибала – урон хозяйству. Но Агелик сравнился в искусстве рубить с несравненным Гизо.

– Не обращай внимания на ротозеев, Агелик, пусть хохочут. Мы лучше их посмеемся. Аллах с теми, кто за правое дело.

Мулла Амирхан приходил по вечерам, когда успокоение и мир овладевали природой и людьми. Аромат древесного дыма стелился в неподвижном воздухе, с дороги тянуло пылью, прибитой копытами скотины. Из раскрытых ворот хлева слышалось прысканье молочных струек о

стены подойника; запах овечьей шерсти, молока, дегтя, древесного дыма и пыли, насыщенный за день солнечными лучами, проникал в ноздри, расширенные, жадно обоняющие эти запахи мира и тишины.

Амирхан садился на низенькую скамеечку под шелковицей, Агелик прислонялся к дереву, держа руки сзади, затылком касаясь твердой нагретой коры. Он не смотрел на муллу, его глаза без цели блуждали, мимолетно поглощая какой-нибудь особенно густой клуб дыма над черной кривой трубой, похожей на папаху, суженную кверху, или резкий ответ солнечного луча, преломленного кусочком слюды в окне, или быстрое мелькание хвоста дворовой собаки, которая заранее разлеглась на животе у порога в ожидании остатков ужина. Все вокруг дышало удовлетворенным трудом, все покорялось очарованию вечернего зноя, уже не душного, насквозь пропитанного ароматами аульского хозяйства. И в согласии с тишиной вечера луна Агелика погружена была в сладкую дремоту, не сон, но дремоту, чуткую, как слух птицы, мягкую, как расплавленный воск, готовый принять любые очертания, какие угодно было бы придать воску фантазии и рукам художника.

– Мы рождены для благодарения, – не спеша, даже будто лениво журчал Амирханов голос, – помни, дитя, два слова из Саади, поэта божественной любви:

Ведь капелькой семени был ты сперва,
Зачем же гордыней полна голова...

Зачем нам гордиться, Агелик, и чем гордиться? Из ничего мы созданы Всемогущим и уйдем в ничто. Мир прекрасен, если прекрасна душа человека. Мир, мой милый, таков, каким ты сам видишь, создаешь его. Нет ничего в мире, кроме человека, благодарного или неблагодарного Богу-Создателю. Слушаешь ли ты меня, дитя?

...Дервиш встретил девушку. Сказал ей: «Прекрасны очи твои, девушка». Она вырвала очи и отдала их дервишу.

Она отдала ему, нищему и святому, самое драгоценное, что имела: была благодарна ему за доброе слово.

Тогда дервиш вправил ей очи под брови, вернул ей красоту ее, говоря: «Отдавай, девушка, другим все, чем обладаешь, отдавай самое дорогое, что имеешь: что ты удержишь, то потускнеет и развеется, как дым; что отдашь – вернется к тебе в лучшем, совершенном виде. Любовь и благодарение, которые двигали сердцем твоим, воскресят тебя за гробом...»

Пойми меня правильно, мальчик: моя притча о душе повествует, о движениях души.

Агелик думал, опершись о дерево, мулла курил длинный черешневый чубук, не мешая ему.

– Послушай еще слово бессмертного Саади, запомни это слово своим сердцем, чтобы оно навсегда оставалось юным, как у поэта:

Будь ласков с людьми, милосерд будь всегда,
И Бог не забудет тебя никогда.
И если несчастье случится с тобой,
Поможет тебе Вседержитель благой.

Веришь ли, что поможет, ответить?

– Верю.

– И я верю, что веришь. Агелик, не видел я отца твоего, видел мать, была она из рода избранниц. Знай, Бог один, но Бог имеет три лица, и одно из них женское. Об этом догадываются пытливые сердца. Когда в молодости был я среди черкесов в прикубанских лесах, жил там старец, мудрейший из мудрых. Он посвятил меня в тайну трех лиц Божьих. Первое лицо: Бог-Тха – Великий, Творец всего мира. Второе лицо: Марием йи тха пши – Мария бог-князь. Третье лицо: Шер-гупс – слово «гупс» двойное, ибо *гу* есть сердце, *псе* – дух. Это – Сердце Вселенной, Дух Святой. Дух обладает свободой, и, будучи свободным, он раскололся – образовались два свободных духа: Святой, божественный, и отщепенец, отец зла и гордыни. Страшна, грозна свобода, дарованная Богом человеку. Не обращай ее во зло. Люби, сострадай, слушай поэта:

Ты чистым был создан, будь чистым в пути,
Постыдно тебе в прах нечистым сойти.

.. Чем темнее сгущались сумерки, тем ярче сияли звезды – сияли, отражаясь в пруду и в глубоких очах Амирхановых, и Агелику казалось, будто сияние звезд переплетает тихую речь наставника. Он не понимал, как это могло быть, он и не доискивался понимания. Ему было хорошо, приятно думать, будто звездный свет озаряет слова муллы.

По ночам они выходили в поле, овеванное свежестью гор, полное ночной жизни. Кузнечики и цикады стрекотали в некошенной буйной траве. Блеск золотого месяца над черно-синим кружевом леса не соперничал с трепетным, ярким мерцанием звезд. Холодноватый прозрачный воздух был чист, упруг и хрупок, как кристалл, и, как кристалл,

пропускал, увеличивая, звездное мерцание. Мулла Амирхан привлекал к себе плечо юноши, легко опирался на него, бредя лугом.

– Сквозь нашу землю, Землю Гор, Кавказ, – растягивал певучие слова, – вдоль и поперек прошли чужие народы. Подчинялись народы-пришельцы разным богам, хотя один Он в существе, Он открывает себя человеку в меру совершенства человеческого. Египтяне, шумеры, аккады, халдеи и наследники халдеев – ассирийцы, вавилоняне и горячсердые арабы – все древние племена посещали нашу страну, оставляя следы: каменные твердыни на берегах потоков, глубокие шрамы на душе и теле кавказцев. Очи предков наших видели много возвышений и падений чужестранных держав. Мы помним Кира, Искандера – славного воина, мы пережили греков, римлян, монголов, татар, создателей всемирных властителей. Где они все? Где их боги? Их сила исчезла, как вода, вылитая на песок. Но по милости Вседержителя мы сохранили дом свой высокогорный. Пришельцы, избравшие наш дом своим, приобрели наши тела и души. Не они нас, мы их сделали своими. В чем же мощь этого дома, этого храма, благословленного Господом?

Амирхан, остановившись, протянул руки в сторону, где белели массивные пирамиды и пики, и причудливые конусы, и шатры... Грозное, непобедимое воинство ангелов Божьих поставило здесь свою вековечную стоянку, обороняя землю от стихий и злой воли людской. Ангелы Божьи положили крепкий гранит в основание горного кряжа, избранного для пребывания их от века до окончания дней. Белокрылые – они украсили горы убором из чистого серебра, льда и снега. Венценосные – они возложили бриллиантовые венцы на чело каждой горы, подарив ей сверкание чистых ясных камней. Бесстрастные – наградили они горы ничем не нарушаемым, могучим и чистым спокойствием своим. Привычные к горным высотам, к чистоте поднебесной – они устроили стоянку свою благоухающе-чистой, ясной, навеки неосквернимой, потому что ни пыль, ни грязь, ни кровь, ни злоба – спутники событий земных – не имеют силы и достичь ангельской высоты.

– Очи, созерцающие чистое, даруют душе чистоту, – промолвил Амирхан в заключение речи своей. – Не может быть, чтобы людское племя, живущее у подножия блистающего чистотой престола Небесного Отца, не научилось поклоняться чистоте. Но нет выше дара на земле, чем чистое сердце. Бог знает, какой жизненный путь ожидает тебя, Агелик, мой милый сын, сын печали. Что бы ни случилось с тобою, вспоминай слова старого Амирхана: чистота – могучая сила наша, в ней одной спасение всех и каждого из нас. Будь чистым к себе и другим, Агелик. Особенно будь

чистым к женщине, я объяснил тебе тайное знание святых мудрецов: одно из открытых лиц Божьих – женское. Гизо – справедливый горец, однако в непросвещенности своей он видит лишь славу отцовства. Помни: кто принуждает женщину быть рабой, видит ее склоненную в покорности голову, и один Аллах знает, что скрывается под накинутым на голову платком. Кто сам унижается перед женщиной, обуреваемый мимолетной страстью, тот не женщину видит, не ее почитает – поклоняется мечте своей. Повернись к женщине всем лицом, Агелик, и увидишь все лицо ее, лицо сестры, в полной правде. Я сказал тебе: в Боге есть женское, скажу, что в женском есть божественное. Помни отца, Агелик, и матери не забывай, ибо в матери твоей жила частица Божества.

Перед тем как расстаться у низкой калитки в свой сад, Амирхан, взволнованный ночной беседой, приподнятый своими словами, как бы ощущая близ сердца своего колыхание белоснежных крыльев ангелов, показывал Агелику звездное небо. На неподвижно сияющую в самой середине неба звезду показывал он чуть дрожащим пальцем – та дрожь от радостного волнения была.

– Следуй по путям звезд, видишь, каким чистым, ясным огнем пылают они? Звезды никогда не обманут, только умей следовать по путям их. Но эта звезда *Алтын-Кызык*, Золотым Столпом называемая, она не двигается с места; вокруг нее ходят луна и солнце, ибо луна и солнце нуждаются в надежной опоре. Та, на небосклоне, большая, *Чолпан* называется, вечером и утром светит она, покровительствуя пастухам. Здесь Семь Родоначальников рядом стоят, *Джетты-Зайсак* зовут их, от них ведут происхождение все племена людские. Проведи от них черту – Небесного Коня, *Тарази*, увидишь, предка земных коней. Чтобы Родоначальникам не быть одним, Аллах поместил на небе плеяду девушек ясноликих, исполненных светоносного очарования, здесь они, *Ликерлер*; никогда одна с другой не расстаются, так крепко любят друг дружку. Пошли им ночной привет, Агелик. Прости меня, я утомил твой юный ум старческой болтовней...

Обнимал Агелик на прощание колени муллы, медленной поступью, как в полусне, шагал длинными ногами, часто, на замечая того, надолго удержанный около какого-нибудь угла тяжелой думой своею. Ворчание пса из подворотни, стук переступаемых копыт скотины за тонкой плетеной из ивняка перегородкой отрезвляли его, понуждая идти дальше, к жилищу. Гизо уже давно почивал на своей половине. Агелик, не раздеваясь, вытягивался на жестких нарах (Гизо приучил его спать на голых досках, прикрытых буркой) – ладонь на ладонь за головой, ноги согнуты

в коленях. В его ушах звучали два голоса – Гизо и Амирхана, перед его мысленным взором возникали, сменяясь, картины пережитого дня. Одно, главное, загадочное, иногда обидное, чаще обещающее какое-то торжество, всегда притягательное, что было в его жизни, одно это, неизвестное им, составляло предмет ночных дум юноши. Он знал, что с его рождением и пребыванием здесь, среди родственных по вере, чужих по племени аджарцев, связано нечто, о чем не хочет или не смеет сказать Гизо. И то предчувствовал Агелик, что Гизо готовится ему какую-то высшую роль, но какую, где, когда начнется ее исполнение... Гизо молчал, Агелик, воспитанный в безропотном терпении, не отваживался спрашивать.

«Гизо видит лишь славу отцовства, – повторялись сами собою слова Амирхана, – в матери твоей жила частица божества»...

Агелик не знал ничего о своих родителях. Не знал, почти ничего не знал о себе самом. Но чем более зрелым становился его ум, тем чаще мучился он загадками, неразрешимыми, дивными. Когда он спрашивал себя в ночном одиночестве: «Кто я? Откуда я? Для чего живу?» – вопрошения эти меняли, неожиданно для него, свою окраску, он уже не думал о тайне своего рождения – он силился разгадать тайну большую: рождения всего, что есть на свете. Он начинал с вопроса о цели собственной жизни и, не найдя ответа, спрашивал ночное безмолвие о призвании своего духа, о конечных целях коловращения всемирного бытия. Семена Амирханова учения упали на взрыхленную почву, семена пучились, росли, заполняли многими ветвями молодую его душу, заполняли и тянулись в бесконечность, увлекая за собою его мысль и его устремление.

Агелик, с чувством огней в очах, приподнимался на ложе. Бог знает, что чудилось ему. Пред ним открывался необъятный простор, лунная дорога, от его больно сжимавшегося сердца к высоким вершинам, сиявшим на горизонте. Неодолимая сила влекла его в путь – на север и восток, ближе к белоснежным шатрам, ночью лунно-белесой, днем золотистым, утром и вечером пурпуровым и синим, по мере движения небесного светила. Агелик ощущал в себе животную, натянутую до страдания связь с грядой снеговых гор и тем, что лежало за ними.

«Почему? Что скрываете вы, горы, за сверкающими щитами своими? Что понуждает все существо мое содрогаться, беспокойно ворочаться здесь, на бедных нарах; какая невидимая сила толкает меня вступить на лунный путь, идти, бежать по нему, не оборачиваясь?..» – спрашивал, не находя ответа, усилием воли удерживал себя от желания встать и уйти. Нетерпеливыми пальцами сбрасывая с себя одежду, ложился, призывая

сон, забвение сна. Но едва смеживались ресницы, он снова видел ту же неосязаемую дорогу, облитую лунным светом, снова переживал тягу идти по ней к какому-то отдаленному месту, животную связь с которым знала его кровь, знала и вопияла о ней. Не умом, не воображением, недрами своего естества льнул юноша к заманчивой дали, не определимой словами. Долго, долго боролся он с ночными видениями, пока усталость молодого тела не брала верх над беспокойством крови и духа.

Временами Гизо отлучался на день, на два. Он исчезал, озабоченный, молчаливый; возвращался подобно осеннему времени «балдраджус», называемому так потому, что сквозь туман, холод и дождь просвечивают иногда мимолетные промежутки погоды: приоткрывается эмалевая синева неба, солнце греет по-летнему. Никто из обитателей селения не видел, как быстрой поступью направлялся он в сторону, где извивалась змеей большая дорога – дорога, утоптанная тысячелетиями, которая ведет от перевалов через хребет к берегу моря. По этой-то дороге проникли в горы египетские скарабеи, греческие камеи, монеты древнего Рима, серебро франкских королей, золотые дукаты венецианских дождей. Поколения горских нарядниц от бабушки внучке передают драгоценные побрякушки эти, давно утратив память о происхождении их. Днем и ночью не устает движение по дороге. Торговцы – конные, пешие, на возах; богомольцы, идущие в дальние края; и нищие, просто бродяги, стада рогатого скота и коней, и баранта, и большеерогие, неуклюжие буйволы с задумчивой святостью в глубоких глазах, и маленькие ослики, нагруженные непосильной ношей, – все шествует, движется, мычит, пылит, размешивает жидкую грязь, все идет от гор к морю или обратно.

Гизо, с седеющей бородой, развеваемой ветром, с папахой, сдвинутой набок, что обнажало обрезанное ухо, быстроногий, как олень, зоркий, как барс, ночной хищник лесов, переходил от одной придорожной корчмы к другой, прислушиваясь, высматривая. Найдя то, что искал, он незаметно забирался в самый дальний, самый задымленный, темный угол корчмы. Не проронив ни единого слова из собственных уст, он не пропускал звука из разговоров погонщиков стад, пришедших с той, захребетной стороны. Среди тысяч слов, безразличных для его судьбы, вдруг мелькало замечание, фраза, ничтожные для других, полные огня и смысла для него. Так в столбах серо-черного дыма, который вздымается над грудой отсыревших дров, вдруг пробьется, скользнет яркий язычок пламени – и путник, так долго ожидавший вестника тепла этого, следит за ним, напряженный, нетерпеливый. Об Орсундахе, о Кадаевых – лютых

врагах, соперниках, о том, как управляют они народом, как думает народ о них, народ горский, благородного сердца, навеки возлюбивший обряд и свободу... О том также, жива ли в орсундахском народе память о рыцаре Леуане, о славных потомках его – обо всем этом жаждал услышать Гизо. Редко, редко удавалось ему подхватить слово, несущее свет во тьму неведения его. Как-то повздорили два погонщика-орсундахца за чашей араки из риса – только южане знают, как перегонять араку из рисовых зерен.

– Не пей больше, – сказал один, – будешь пьян, как твой господин Барзон, когда встает он от пирушки с гостями-адыгейцами.

Другой вспылил:

– Твой господин Барзон! Есть у тебя, нечистое насекомое, иной господин?

– Есть ли, нет ли – кадаевских убийц своими господами не назову.

– Эй, – крикнул тот, что был пьянее, – эй, горец! Радуйся, ибо нет тут никого из Барзоновых наушников. Они бы укоротили тебе язык на поллоктя. Что-то он вырос у тебя.

– Ну, допивай и иди, перед рассветом погоним скотину, иди спать.

В ту ночь молился Гизо над камнем, где погребена была часть его уха, жертвенная часть, посвященная памяти славы Леуанова рода, повторяя несчетно присягу мести убийцам Кадаевым. Холодные капли предрассветной росы пали на лицо Гизо, на жаркое от молитвы лицо, – испарились бесследно. Лучи раннего солнца пронзили разверстые, широко раздвинутые вежды Гизо, встретили пламень очей – померкли, ибо пламень тот горел ярче первых лучей раннего солнца. Лишь когда заскрипели немазанные колеса аульской арбы, когда цоканье аульского работника на волов рассекло тишину утра – очнулся Гизо от восторженной молитвы своей, молитвы благодарения. Бодрым шагом вернулся в аул, освеженный пьяной размолвкой орсундахских погонщиков, как освежена бывает истомленная зноем пыльная нива веселым дождем весны.

А еще однажды заметил Гизо близ проезжей дороги пышный костер, стоянку одноаульцев своих, орсундахцев, в поле, над потоком, нашел. Гнали коней орсундахцы, чистокровных адыгейских коней, в южные края на продажу. Издалека услышал песню, какую и сам распевал когда-то, песню о подвигах рыцаря Леуана, о том, как построил он башню высокую о четырех углах, о том, как научил он быков могучевыйных тяжелые камни таскать. Приложил свою десницу Гизо на то место груди, где висела печать Леуана, свинцовая, с изображением рогатой бычьей головы.

Подождал окончания песни молча, только сердце его говорило, билось звонко, как будто припев повторяя с певцом.

– Унарай, – раздался в темноте голос, – Унарай, пой, Унарай.

Унарай! Сладчайшее имя друзей Инала, да святится память его навеки. Унарай здесь, у костра; кто-то из рода Иналовых друзей, Унараевых, верных в дружбе, неоскверненных в чести, кто-то из них приведен сюда промыслом Аллаха безошибочным.

Дождался Гизо, пока уgomонится вечерняя возня табунной стоянки. Надвинул папаху ниже бровей, башлыком обернул лицо: одни глаза увидел бы тот, кому не надлежало видеть Гизо. Прокрался он из-за спин сидящих, тронул локоть человека, певшего песню, ныне задремавшего над алым жаром углей. Увлёк его за собою, в тень рощи, в уединение, где нет ни глаз, ни ушей.

– Знаешь меня? – спросил, сбросив башлык, отодвигая папаху.

– Не знаю, – ответил не сразу, сначала рассмотрев вопросителя.

Гизо прищурился – темно было в тени под рощей. Увидел юношу, знакомого и незнакомого: Унараевых в Орсундахе – как пчел в улье. Всех ребят Унараевых кто упомянет? Но бывший ребенок ныне статным юношей стоял перед ним.

– Кто научил тебя песне об Леуане?

– Отец, и отец и брат отца – все поем эту песню.

– В Орсундахе поете?

– И в Орсундахе, когда не слышит тот, кто может сказать Кадаевым.

– Бойтесь Кадаевых?

– Не любим их.

– Слушай, юноша унараевской крови. Слушай. Я горец, как ты, и, как ты, из Орсундаха происхожу. Из Унараевых знаю: Чорттая, старика, с бородой в два цвета: рыжие струи, промешанные седыми...

– Чорттай, мой дед, умер. Он умер с седой бородой.

– погоди, нетерпеливый. Кто же отец твой? Микраэль ли? Тот Микраэль, что владеет камнями на солнечной стороне ущелья? Или Хамзат, средний из братьев, Чорттаевых сыновей, Хамзата каждый узнает по родинке на правой щеке – похожая на мышь его родника? Или младший Айтек породил тебя, юноша, теперь отвечай!

– Ты всех знаешь? Да, я сын Айтека, Тотур.

– Как орсундахцу не знать орлов своего гнезда? Сядь, Тотур, расскажи о жизни аула. О Кадаевых ненавистных расскажи. Стоит ли башня леуанцев? Что говорит о башне народ? Все расскажи.

Сели, касаясь друг друга плечами. Перед ними, во вспышках догорающего костра, маячили стреноженные кони. За ними стеной стояли деревья, шелестя листьями в ночной беседе. Певучий юношеский голос перебивался подчас резким гортанным вопросом старика, метким, острым, разящим вопросом, отточенным, как лезвие, предназначенное для удара мстителя. Отфыркивались кони впереди, шуршала вершинами роща; два голоса – мелодичный и резкий – колебали тишину ночи:

– Барзон одряхлел, о Барзоне говорят: «Гундосый пьянчужка». Между собою говорят горцы. Над всеми стоит Темир, его сын, друг адыгейцев. Горцами пренебрегает, адыгейцев руку держит Темир, адыгейцы его держат над всеми. Темир такой: войдет в дом, где свадьба, незванный, с ватагой таких, как он. «Я пришел, – говорит, – ваш господин, честь для вас, пешеходов». Непочатый котел пива, сваренного, приготовленного, открывает, сам пьет больше всех и угощает своих, над домашними смеется. Напьются допьяна незванные гости, наедятся досыта, потом к котлу с пивом подходят. Темир кинжалом внутри котла черту проводит, уровень пива отмечает. «Эй, вы, – кричит, – я снова приду гулять на свадьбе вашей. Ежели опустится уровень пива, беда головам вашим...»

– Что отвечают горцы? Есть ли у них кинжалы, шашки... есть ли у них смелость для ответа справедливого, каким умеют отвечать горцы?

– Кинжалы есть. Смелости нет. Темировцы раздвоили голову старику Эль-Мурзе. Сын Эль-Мурзы, Кушби, помешался – Темир отнял невесту его.

– Кто она?

– Наныка Кармакаева, дочка знахарки Саты.

– Что ж сам Кармакай?

– Видно, давно ты из Орсундаха. Кармакаю голову снесли адыгейцы в первый день, как пришли в аул, меня в тот год первый раз на коня посадили, был мал я в тот год.

– За что убили Эль-Мурзу?

– Эль-Мурза, кушбиев отец, на рассвете вышел просо косить. Видит, чей-то конь в просе пасется. Посреди проса колышек вбит, на привязи Темиров конь урожай топчет, нажрался уже, только топчет. Отвел коня Эль-Мурза, колышек вынул. Прибежал Темир. Эль-Мурза сказал с поклоном: «Ой, Темир, если летом просо потравишь, из чего осенью бузу варить будешь? Ты ведь любишь бузу, Темир, господин мой». За эти слова убил его Темир с людьми своими.

Скорбной печалью пел голос, мелодичный голос юноши Тотура. Бушевало сердце Гизо, старое сердце, радовалось, победоносный клич едва сдерживало.

– Последнее слово скажи. Разве потускнели клинки ваши, клинки мужей орсундахских? Разве иссякло мужество воинов славного аула? Неужели забыли вы, орсундахцы, по какой дороге убегали адыгейцы под ударами потомков рыцаря Леуана, непобедимого в битвах?

Опустил голову юноша:

– Клинки не потускнели, мужество не иссякло, бегство адыгейцев не позабыли. Нет среди нас Леуановых; без головного козла разбредается стадо. Ты стар, человек, ты знаешь: все сказали: «Идемте», – никто не пошел. Один сказал: «Сюда идите», – выступил – и все пошли. Так у нас говорят.

Поднялся Гизо с земли, глубоко вздохнул полной грудью, широкой, выпуклой, как щит. Все вокруг было, как прежде. Звякали треноги, хрустела пережевываемая трава между зубами сонных коней. Тлел костер, темно шумела роща. Испуганная птица взмахнула крылами, замерла, снова все тихо, как всегда бывает в природе ночью порой. Но для Гизо мир преобразился. «Пришел час твой, Агелик», – ликовала его душа, долго терпевшая и дождавшаяся, наконец, вождя мига. «Гизо, напряги дух свой, напряги мышцы, ты славишь канун торжества своего, будь тверд, Гизо», – говорил он себе.

– Юноша, – обнял Гизо Тотура, – среди вас нет Леуановых. Правдивы слова твои: нет. – Засмеялся. Отнял руку, отошел дальше в густую тьму рощи: – Нет, но будет. Прощай.

Изумленный, стоял молодой горец, ища взором ушедшего. Не был то призрак? Зачем не спросил имя старика? Кто он? Аллах, сохрани Тотура, взывающего к тебе, от злых чар ночных...

Из-за рощи донесся к нему голос, распевавший песню:

Твои латы из кожи и дерева, Леуан,
Сердце только твое из железа.
Как коршун, озирают очи твои, Леуан.
Грудь твоя – грудь соколиная...

Эту песню пел он сам, Тотур, младший из Унараевых, пел сегодня, обогреваясь у костра. Полный сомнений вернулся юноша к костру, подбросил охапку веток, долго глядел на искры, на пламя, на дым, столбом уходивший в звездное небо.

Перевал

Да, мир изменился.

Мир стал иным для Гизо. Мгновенно кануло в ничто время, проведенное здесь, на чужбине. Был день вчерашний, кровавый, – день бегства из Орсундаха. Был день грядущий, заря его, сверкающая, слепящая очи вождленным великолепием. Два долгих десятилетия сгустились в тень, тень мельчала, редела, таяла: ее не было уже вовсе. Завтра был Орсундах.

Дорога, протоптанная тысячелетиями, с глубокими колеями, с каменными столбами по сторонам, искрошенными дождем и ветром, дорога была водителем, спутником, давшим клятву привести к Орсундаху, к отчому дому потерянному. Горы, серебристые облака, застывшие между солнцем и сине-зеленой лентой лесов, были порогом, зовущим переступить в край, где приготовлено пиршество мести, победы, славы. Люди из Орсундаха! Вы не знаете, что готовит вам завтра. Кадаевы... но с вами, убийцы, не должно тратить слов.

И Агелик преобразился в очах Гизо. Кем был Агелик? Учеником в езде, рубке, стрельбе, отваге, ловкости, силе. Он был человеком, стоявшим у запертых дверей. Завербованным, которому не открыты тайны учения. На глазах у него лежала повязка, запястья скованы кандалами... Распусти шире крылья, орел. Взлети, взвейся победоносным летом. Порази насмерть врага. Да восстанет из тени мертвых слава Леуановых, поникшая, да воссияет навеки, Аллах!

Пытливым, щупающим взором уставился он на юношу. Так смотрит сваха на жениха, строгий хозяин на нового работника – славное дело будешь делать, Агелик.

Как бы впервые на его лицо смотрел, темно-медное, сожженное солнцем, задумчивое, величаво-спокойное. Как бы притрагивался к его лбу, широкому, ровному, обрамленному волосами чернее угля. Что таится за этим лбом у тебя, Агелик?.. Пусть дума твоя будет грозна для врагов, снисходительна к народу – таков должен быть Леуанов потомок.

На его сомкнутые уста смотрел, угадывая твердость в очертаниях молодых губ, с чуть наметившимися усами, – так должно быть: все Леуановы редковолосы. На скулы, на загнутый нос с большими ноздрями, настоящий горский нос, подобный орлиному клюву. Дольше всего на глаза смотрел, на ясно-серые, угадывая в них печаль и мечту – где витает твоя мысль, Агелик? Веди ее прямой дорогой к славе, ведь слава, как солнце, заслонит печаль твоей юности.

Отошел поодаль, чтобы лучше разглядеть, схватить сразу всего Агелика, от головы до пят. Волнение, как пьяное пиво, черное, горское пиво на меду, поднялось, запенилось в голове смотрящего Гизо. Был Агелик высок, узкобедер, с плечами как бы тяжелыми от полновесной силы рук, прикрепленных к ним. Медленно дышала его грудь, вперед выступающая, подобно броне из меди. На стройной шее легко и мощно покоилась голова. Надежная крепость духа и тела исходила от юноши. Был он похож на коня в расцвете полнокровной юности, когда конь стоит на пастбище, один, прислушиваясь к игре страстных стихий, дремлющих в нем. Похож был он и на птицу, которая на мгновение опустила на темя скалы и стоит там на упругих, на когтистых лапах своих, расправив крылья к неустойчивому взлету к небу, навстречу золотому потоку лучей.

«Правы старики, говорящие: «Что однажды запечатлелось в душе и теле, то переходит к потомству»; ты истинный сын Леуана, юноша», – подумал Гизо.

– Правы мудрые старики, говорящие: «Для отечества лучше, если сын превосходит отца...» Агелик, Леуана я вижу в обличи твоем. Агелик – Аллах, прости мою душу, – ты превосходишь отца своего Инала, да будет он светел, как звезды.

– Что ты сказал, Гизо? Прости, не расслышал.

Гизо подошел вплотную. Напряженная страсть исказила черты лица старика. Жаром дышал он, придвинув близко лицо к лицу Агелика. В глубине Агеликовой груди дрогнула, зазвучала струна; он молчал.

– Слушай загадку, Агелик, – слова Гизо, как пуля за пулей, рваные, меткие, четкие, вылетали из горла. – Были два друга. Два брата были. Старший и младший. Воины. Два брата отправились в путь. За славой. Со скалы сорвался конь младшего. Всадник упал, израненный. Старший – благородное сердце – уступил брату коня. Сел на мула, что нес поклажу. Так въехали оба в селение. Люди вышли. Младшему, на коне, отдали первый поклон. Второй – старшему... Возьми это к сердцу, внимай. Так жили долго они. Каждый башню для себя возвел. До самой смерти

кичился младший захваченным старшинством. Старший молчал – до самой смерти молчал, не признавая его старшинства. Теперь рассуди, Агелик: кто прав в этом споре? Скажи!

Взвесил ответ свой юноша, подумав в молчании:

– Зачем два равносильных орла в одном гнезде поселились? И если осели в гнезде, зачем не разделили его полюбовно?

С треском, с грохотом лопнула громадная льдина – так показалось Гизо. Нетерпеливо дернул себя за бороду, черно-седую, всклокоченную. «Знаю, чей голос в тебе говорит, – подумал, – Амирхана, доброго для виноватых и правых, это его добросердечие мягкое медом каплет с языка твоего. Эй-йо, Амирхан, женолюб; не кровь – простокваша течет в жилах твоих. Заразил ты мне юношу, подпортил дело мое, всей моей жизни дело...»

Грозным взглядом смерил воспитанника: «Так это верно, что в тебе нет святой горской правды: старшему навсегда довлеет почет – младший да служит в ожидании своей очереди?» Нет, не может Гизо примириться с позором таким. Дух его ропщет, взбирается по обломкам лопнувшей с грохотом льдины. Сильно сдавил Агеликову руку над локтем:

– Ну-ка, еще утешь старика разгадкой. Слушай сердцем. По истинной правде отвечай. Признаюсь тебе я, старик, тебе, безбородому: судьбу свою решишь ответом.

Град раскаленных камней не из уст, прямо из груди щитообразной извергся. Никогда не видел вулкана Агелик. Лишь слышал о горах огнедышащих, от муллы Амирхана слышал: мулла полсвета объездил, все видел. Таким представил себе Агелик вулкан в извержении – таким, каков был сейчас Гизо.

– Те два друга, два брата, потомство оставили. В двух башнях жили потомки, в двух высоких, друг против друга. Случилась война. Потомки того, что был истинно старшим, победили врага, по их проклятой спине хлестали плетью. Потомки ж другого, да разразился Аллах гнев, как зайцы трусливые, разбежались. Уступили дорогу жалким обломкам врага, разбитого, обращенного вспять. Тогда... слушай, тогда ядовитой зависти гад вполз в душу презренную, в душу потомков, обманом старшими себя величавших. Составили заговор – скопище скорпионов, жалящих в пятую, изменнически. С толпой озверевших дьявольских слуг... набросились... шакалы загнали львов... умертвили героев.

Передохнул. Частой дрожью гнева и ярости содрогались руки Гизо. Голос падал, снижался. Лицо почернело – черна кровь мстителя, черна, пока не умоется алой кровью отплаты. Шепотом едва прохрипел:

– Теперь скажи: на чьей стороне справедливость, на чьей стыд и проклятье навеки?

Но Агелик, не дослушав вопроса, грудью к груди прильнул к старику, сжал в объятиях мощных, как напор бычьего тела. Струи слез ринулись из очей Агелика.

– Не знаю твоих героев, отец, – впервые назвал так Гизо. – Но если бы Бог, Всемогущий, Справедливый Судья над людскими делами... о, если бы Бог даровал мне силу наказать отщепенцев горского племени! Скажи, кто потомки старшего рыцаря? Где погибли они? Кто обесчестил себя злодейским убийством? Как разыскать их?

Дивный трепет возрос в Агелике. Юноша был в лихорадке. Быть может, повесть, страшная повесть о прошлом, рассказанная стариком, коснулась не только слуха – сердце пронзила, потрясла всем существом Агелика. Почему эта повесть вздула жилы на его просторном челе, жилы, набухшие яростью, палившею кровь? Почему сошлись, как два грозных тура в бою, брови над глазами, затененными гневом?

Из них двоих первым Гизо овладел собою. Уверенная радость, торжество правды, обнаружившей себя так ярко, озаряли его. Нет, не напрасны были эти годы, мучительные, бесконечные, как верчение веретена в руках горянки, – годы, отданные созданию героя и мстителя. Гизо не ошибся: в словах юноши возродился дух самого Леуана; все предки-мужи проявили себя в этих словах. Сердце, воспитанное Гизо, умело биться – на жизнь и смерть. «Отточенный терпеливым усердием клинок возжелал крови» – так думал Гизо. Он впери в очи юноши долгий, упорный взгляд:

– Обо всем скажу тебе, возлюбленный моей души. Придет час, назову тебя своим господином. Ты узнаешь всё, всё о тех рыцарях, братьях-врагах. Ты призван к великой цели, славнее ее нет ничего. Приготовься. Мы выступим завтра. Вот этой рукой я укажу льву, где он найдет добычу, присужденную ему Аллахом. Бог Справедливый благословляет бойцов на правое дело.

Пока он жил там, в предгорьях южного склона, внезапно оторванный от родной земли, занятый денно и ночью одной единой заботой воспитания Агелика, он не позволял себе тосковать, усилием духа преодолевая одряхление тела; а тело старело. Вступив на возвратный путь домой, Гизо как будто стряхнул с себя годы, помолодел, сами ноги несли его, быстро, без задержки, вперед. Но душа его тосковала беспредельно. Он уходил тогда, в день убийства Инала, молодым вдовцом, бездетным, искавшим невесту: нет обычая горского вековать свой век вдовцом, без жены, без

надежды увидеть потомство. Ныне возвращался старик: крепкий, не потерявший здоровье, – старик; честный исполнитель клятвы, данной господину и другу, – старик; воспитатель льва, орла, героя – старик. Чем выше поднимались они по горной реке, идя против течения, – там, у истоков начнется грозящая гибелью страда, там, среди ледников, необозримых суровых скал, там, над пропастями без дна пролегает тропа к перевалу, – тем острее проникал в его сердце жалящий нож скорби. Нет, Гизо не жалел лет, отданных Агелику: он плакал над невозвратимостью лет. Не о себе, теперешнем Гизо, старике с черно-седой бородой, скорбел он – он рыдал, источая незримые слезы, над образом другого Гизо, удалца, которому счастье улыбнулось, не подав руки. Они назойливо возвращались, эти думы, разъедавая, как соль рану, его боль, а он отгонял их крепкой поступью шага, песнью о подвигах минувших столетий, строгим внушением Агелику.

– Ты думаешь, молодой, уже нечему учиться тебе у старого пестуна Гизо... Вот мука из торбы походной, подвязанной под плечо. Вот творог, не высох еще, влажный – влагу листья лопуха сохранили ему. Сделай пирог, Агелик, из муки и творога, сделай, попробуй...

Говоря, выбрал ровное место в траве. Выдолбил ямку. Залил водой из ручья. Застелил чистым платком, насыпал доверху мукой, пошевелил ловкими пальцами – как будто само замесилось тесто. А рядом уже пылал костер. Большие плоские камни положил Гизо в огонь, чтобы раскалились, как кирпичи в печи. Тем временем слепил пироги. Когда камни нагрелись, отодвинул их к краю костра, на каждый отдельно положил по пирогу. Ай-йю.

– Видишь, румянится корка? Жар углей в ладу с жаром камней пекут наш обед, Агелик...

На вечерней стоянке, близ шалаша пастухов южного (чужого, соседнего) склона, снова учил Агелика.

– Немного может взять с собою путник, идущий на перевалы. Вот здесь мое главное сокровище и твое, Агелик, и твое – на груди. Оно нетяжелое, донесу, во славу Аллаха. Но вместо громоздких припасов – муки, масла, сыра, хлеба или сушеного мяса – воду везде найдем, о воде не заботься, будет ее больше, чем хочешь... Вместо многих припасов, говорю я, возьмем только один. Хитрое изделие. Пусть будет светел в раю, как звезда, изобретший его.

В пастуший котел с кипящим маслом накрошил мелко сыр. Сыр разварился, плавал, как каша. Тогда муки присыпал, еще и еще, покуда не образовалось тягучее, вязкое тесто. Дал остыть ему, а потом на ровную

мокрую палку стал навивать, накручивать, как жгут. Толстую веревку сделал Гизо из муки, сыра и масла, гибкую, плотную, удобную в носке.

Хмурились пастухи, не радовало их оживление пришельца. Пламя вражды между соседними племенами не потухает, лишь прячется на время под пеплом, под снеговым пеплом, когда на три четверти года заносит он перевалы. В летние месяцы без конца спорят соседи из-за клочка чахлой травы на пастбищах под ледниками, из-за убогих стоянок скота.

– Гоу, – сказал седобородый пастух-сван ломаным горским наречием, – взаправду хочешь перейти завтра перевал? Как раз твоих костей там не хватает. Ну что ж, полезай. Вместе со своим парнем будете вечно смотреть на нас оттуда, сверху. Ха-ха!

– Пойду и пройду. Не хочешь ли за медяк наняться в мулы? Поклажи немного понесешь, только две бурки. Согласен идти?

Покачал головой пастух. Уже не шутил, на весах опыта взвесил свои слова:

– Не молод ты, горец, я стар. Два шага до могилы. Но если бы на той стороне возрожденная юность меня ожидала, не пошел бы я завтра. Не рисковал бы двумя шагами за возвращение юности.

– Каркай на свою голову, сван, – Гизо рассердился, – приподними с бровей папаху, взгляни. Чистое небо, звезды мерцают так близко, рукою достанешь. Воздух холодный. О чем говоришь ты?

– На эту шапку смотри. – Седобородый встал от костра, протянул суковатый посох, загнутый на верхнем конце, к Эльбрусу. Там, над двумя головами, покрытыми снегом, повисла туманность странного вида. Над пространством громадного блюда висел в воздухе неподвижный столб, сотканный из мглы или дыма. Шире у подножия, суживался столб вверх.

«Не на папаху, на башню походит столб, – подумал Гизо, – доброе предвестие: башня Леуана ожидает нас, зовет, торопит».

Вслух сказал:

– Во всем воля Аллаха. Если рассвет не принесет дурную погоду, пойдем. Агелик, отдохни вволю. Трудный день перед нами.

Агелик, молчаливый, не вмешивался в спор стариков.

Жаркое лето осталось внизу. Едва приметная тропа вилась, поминутно исчезая, среди мокрых лугов с малорослой жесткой травой, по сочным мхам, буйным, как грива коней. Земля дышала влагой и холодом. От близко лежавших снежных равнин временами пронизывали тело ледяные порывы ветра. Чудно и странно было Агелику знать, что всюду на земле властвует полнокровное лето, всюду зной, духота, непре-

странное пение птиц, покачивание ясноцветных головок цветов, всюду обилие движения, жизни. Суровая пустыня взирала на него здесь, подступала, грозя, ближе с каждым шагом, угнетала душу. Повыше трясин и мхов громоздились скалы, ощеренные страшными зубами, как мертвые черепа. Иногда оступалась нога, попадала в ямку, сверху прикрытую пучком тусклых былинки, внутри полную рыхлого снега. Яркое солнце жгло спину; мириады искр мерцали перед глазами, больно задевая, покалывая; ноги обдувала стужа.

Уже не было ни тропы, ни трав, ни скал, обросших ливнями, ни талого снега в углублениях почвы. Нечто невиданное, великое, что одновременно придавливало и влекло ввысь, нечто невероятное, не имевшее краев и границ, открылось пред ним, и этим нечто был сам хребет, первозданный хаос замерзших волн разбушевавшегося океана, горы льда здесь синевато-зеленого, там лилового, а вдали девственно-белого нагромождения снега, и всюду вершины, таинственно закутанные в пелену вечных снегов. Мертвящая тишина царила здесь полновластно, непоколебимо, ужасно. Тяжкое бремя безмолвия не было как оковы, наложенные на шум и трепет жизни, ибо здесь, на всем грандиозном просторе, отсутствовал самонаименьший признак ее, – тяжкое это бремя было величием ледяного небытия. Молчание и пустота, два мертвых ангела со слепыми глазами сторожили эту окраину мира, выше всех иных вознесенную. Как бы в предостережение человеку, дабы не телесным усилием, но подвигом сердца устремлялся он к горным высотам. Вседержитель положил неодолимую грань между престолом своим и людьми: не преступи, смертный...

На шершаво-волнистой поверхности ледника лежали кости, много костей. Конские черепа скалили зубы, черепа круторогих туров, скелеты волов и овец лежали рассеянные. И залетевших в запретный край мотыльков и мух настигла карающая десница: замерзшие, с распростертыми крыльями, лежали они мертвыми роями.

Угрюмо шагал Гизо, медленно, ощупывая перед собою палкой трещины льда, занесенные снегом. Без единого звука шел по следам старика Агелик. Живые, они двигались через поле смерти, зачарованные победительной мощью ее, безоружные перед нею. Внезапно, с быстротой, невозможной для иного края, серо-синяя туча, с черной грудью, надвинулась и заслонила солнце. Свет дня погас, как светильник, накрытый непроницаемой пеленой. Громовой раскат упал, взорвался в страшной близости от путников; с чудовищной яркостью сверкнула молния: багровая рука великана рассекла грудь, черную грудь тучи, рука гневного

великана с зазубренным мечом из огня. Брызнули капли, частые, мелкие: мерзлый песок сквозь сито.

– Го-го! – крикнул Гизо из-под бурки, поднятой над головой. – Старый ворон, сванский пастух, правильно каркал. Пришла непогода. Ты не тоскуй. До вечера еще далеко. Два трудных прохода надо пройти. Потом все вниз, до леса. А дальше – ну, что дальше, о том скажу в свое время.

Не видел лица его Агелик. Не видел: тревожно-скорбное было лицо его. Дождь – препятствие для смельчака, берущего перевал, дождь – задержка в пути, не гибель. Гибель – снег. Об этом не сказал Агелику.

Где застигла гроза, там стояли они, переминая ноги. На месте надо ходить, без усталости на том же месте, чтобы не примерзли ступни, не окаменело тело. Так изрядное время, не продвигаясь, с ноги на ногу переступали они, так разделяли огненно-грохотный праздник грозы в пустыне ледяного небытия.

И снова чистое небо, пышно-золотое убранство солнца. Но солнца закатного, склоненного, как склоняется венчик цветка увядающего. Налево, книзу держало путь солнце. Вперед, вверх и вниз, вверх и вниз стремились Гизо с Агеликом. Небольшие озерца, ручейки покрывали скользкую твердость ледника. Яркие краски, богаче красок цветущих садов, переливались в озерцах, сопровождали, меняя оттенки, бег ручейков по зеленоватым глыбам льда, смытого, с острыми гранями. Радугу круглую, божественно-совершенного образа, из семи разноцветных колец, нанизанных одно на другое, увидели путники впереди себя. Две тени людские возникли внутри пустого пространства, внутри радуги, две тени семицветным сиянием обведены. Лучи заходящего солнца играли на невидимо-мелкой дождевой пыли, шалили в игре никому не подвластных стихий, дивной для человека.

– Доброе знаме...

Гизо не договорил, споткнулся. Дрогнула, надломилась тень в середине семицветной радуги-перстня.

– Когда кто видел подобное, чтобы я спотыкался?

Задержался, нагнувшись, долго смотрел на ледяную кочку, что обманула ногу его. «Недоброе знамение, – сказал про себя, – надо спешить к Азау! – грозным оком окинул ледник, – Азау *, не возьмешь меня, нет. Сто раз топтал твою алчную мертвую грудь, Азау, сто раз еще потопчу! Аллах помогает справедливому делу».

* Наименование ледника.

Наперегонки с солнцем шли они. Но плыло солнце – ладья позлащенная – спокойными водами бирюзового моря; но карабкались на кручи из льда и снега горцы; сев на бурки, как на санях, слетали по каменно-твердой снежной коре склонов. Спряталось солнце за чертой горизонта, прикрылось на ночь взбитыми пуховиками, один на другой, пласт на пласт положило пуховики из белого лебяжьего пуха. Через шаг оглядывался на догорающий запад Гизо, скашивал на меркнувший запад око, покрытое тенью тревоги.

– Еще второй проход, второй и последний, дальше – спуск к лесу, – больше себя успокаивал, говоря Агелику.

Над глубокими трещинами проходили горцы, над бездонными, мимо зияющих ям проходили, слышали грохот и треск разломанных собственной тяжестью льдов, глухое урчание потоков – вот здесь, под слоем ненадежного льда, слышали. Сизая мгла с синими клубами курилась из щелей, путники проникали телами сквозь мглу, вечерняя темь заключила нерасторжимый союз и с горным туманом, беззвучными легионами обступила с боков, спереди, с тыла – горцы все шли, нет, ползли, как улитки; глаза – на остриях палок, уши, по-волчьи, стянуты мышцей затыльной.

В мгlistом безветрии возникла сумятица: ни звук, ни шорох, ни самонаименьшее дуновение ветра не сопровождали ее. Как бы из ничего родилась тихо-тишайшая сумятица, летучие снежинки замелькали сквозь мглу, впитавшую темь ночи. Снежинки плавали, скользили, завивались роями, перемещались по всем направлениям, как бы освобожденные от тяги к земле, как бы не было вовсе земли, а была пустота, разреженная, безвоздушная, чистая пустота с мириадами окрыленных снежинок.

В молчании остановился Гизо. Тяжко дышал, ртом. Агелик, ощущая в груди биение сердца, – в двух шагах от него. Нет, никогда не видел он такой снегопад. Снизу вверх, и с боков, отовсюду вихревым, беззвучным полетом устремлялись снежинки друг к другу, словно обещая встречу в заколдованной середине необозримого, бескрайнего простора. Они рождались везде, эти летучие мушки с прохладными тельцами: около ног, за ушами, целым роем вылетали из уст. Позабыл Агелик о трудном пути, о ночи, застигшей их в опасном проходе, не чувствовал холода, утомление отошло от него. Завороженным взором следил за дивным, неземным полетом снежинок; как малое дитя, пораженное новой игрушкой, так размышлялся. Без смысла, без цели, в полной свободе порхали чистые белые хлопья, свободнее птиц, легче мотыльков, красивее цветов казались они ему. В полной свободе кружили, не возвращаясь на старое

место, не заботясь о новом, только так плясали по мимолетной, по прихоти своей самовольной. Они звали его быть таким, как они: свободным, легким, летучим, без мыслей, без загадок, обещая ввести в свое царство. «Останься с нами, будешь, как мы», – шептали ему.

Отдышался Гизо. Пощупал палкой вокруг. Только снег. Прошел вперед – снега. Подозвал Агелика:

– Вот веревка. Обвяжи вокруг пояса. Призови милость Аллаха. Идем.

В беспроглядной снежной сумятице, ощупью, надеясь на милость Аллаха, – так тронулись в путь, среди трещин и скал, и крутизн. Падая Гизо, Агелик, уперевшись коленями в снег, веревку тянул, помогая встать на ноги. Оступился юноша – старик выручал. Летали снежинки вихревым вольным полетом; грузно, с тяжким усилием горцы брели. Как бы слепые брели, как бы спутаны были цепями, как бы великие камни несли на согбленных хребтах. Вот снова свалился Гизо, без крика, без оханья. Раскорячкой стал Агелик, припал плечом к твердому выступу – скала или лед, не различить в темноте – потянула. Обжигала веревка кровавые волдыри, узлами сдирала кожу с ладоней. Не смог вытянуть. Ползком, не выпуская веревки, смоченной кровью и снегом, приблизился к Гизо, позвал его, громче – молчание. Согнулся через край щели, нащупал петлю вокруг пояса. Как из корыта вынимает мать ребенка, выкупав, так из занесенной снегом рывины вынул тело Гизо. Теперь выплюнул старец снег; не признался: кровь из горла вышла со снегом. Сказал слабым голосом:

– У всех сванов почернели языки от лжи. У того старого ворона самый черный язык. Говорю тебе, Агелик, завтра узришь поселения горцев, братьев твоих и моих.

– Отец, – юноша сел рядом, плечом касаясь плеча, – что ты говоришь – всегда правда святая. Прикажи, я исполню.

Нежно обнял Гизо Агелика:

– Запомни одно навсегда. Мужество смелого – ангел-хранитель судьбы. Если случится тебе, вот как нам в это ненастье, если случится оказаться в беде – не отступай, борись, борись за победу до смерти. Славная смерть почетнее жизни в позоре. Если падешь наземь под ударом врага, и если уже занесет он кинжал над гортанью твоей, воспрянь духом, вырви кинжал... или погибни стоя, предоставь баранам умирать под пятою врага. Но все-таки лучше самому нападать, не ждать нападения. Пусть будет их трое – мужеством смелым утроишь силу свою. Помни, ты юноша высокого рода. Ты призван к великому подвигу.

Я вижу минуту, близкую радость вижу, в тебе воскреснут те, которым на верность я присягал... Что ж могу приказать? До рассвета останемся здесь. Ляжем на бурку, накроемся буркой. Если можешь есть – ешь. А я уже лягу. Старым я стал, Агелик.

В тесной дружбе легли, скорчившись, чтобы прикрыться обоим. Снизу и сверху мертвенно-хладный снежный покров, в норе между бурками живое тепло измученных тел горцев. Пошевелиться не смели, лежали, как приказал Гизо: Агелик впереди, старец за ним, прикрывая господину спину от стужи. Как камень в спокойную воду погрузился в сон молодой. Старый думал. Дума заботы тяжким гранитом придавила грудь. Нет, ни трещин во льду, ни снегопада, ни ответных крутизн не страшилась дума его: лукавые козни проклятых Кадаевых, их союз с адыгейцами, лихими наездниками предгорий, – это смущало Гизо.

Сквозь дремоту, легкую, как взмах опахала, силялся он представить, что будет в ауле. В воображении перебирал знакомые лица, чаще других Унараевых род мерещился старцу. Нет богаче семьи, нет многочисленнее. Есть унараевский выселок – высоко над аулом, войти бы туда. И в думах видит Гизо, как он с Агеликом приводит унараевский выселок к верной присяге: на жизнь и на смерть за род леуановский. Унараевы тайно призывают аульских мужчин, тех, что надежны. Таких многое множество. Ненавистна аулу Кадаевых власть; изгнать адыгейцев-пришельцев – мечта Орсундаха. В первой же стычке рассеяны силы врага – ха, что за силы, дешева победа над теми, от кого отступился Аллах, Судия Справедливый. Славнейшее в жизни мгновение – здесь оно: подводит Гизо Агелика к леуановской башне. Что это? Башенные узкие двери, железом окованные, сами собой распахнулись. Инал стоит на пороге. За Инала спиной его братья убитые, за ними отцы, деды, дальше всех стоит Леуан.

– Милости просим в наш круг, верный Гизо, – приглашает Инал.

– Веду наследника рыцарей славных, – Гизо возражает, – ему надлежит первым войти в башню предков, быками возведенную.

– Иди же, иди, – слышит голос, – иди... и... – Тише и тише доносится зов, вот он не слышен уже. Все умолкло. Только в ушах, как после сильного шума, и в тишине слышится гул. Из того – недействительного – гула излилась чернота. Все, чем был старец Гизо, его виденья и думы, все утонуло внезапно в глухой черноте.

Приток холодного воздуха пробудил Агелика. Поднял край бурки, взглянул. Тусклый рассвет, как слепой с бельмами на обоих глазах, смотрел

на него. Снегопад не унялся. Но белые хлопья уже не крутились в пространстве без цели. Порывистый ветер гнал хвостатые сонмы снежинок, отвердевших и острых, как удары бича из металла. Агелик движением подал знак старику, что уже пробудился. Ничего не ответил Гизо.

– Гизо, рассветает.

Молчание.

Попробовал юноша подняться на ложе. Хрустнули кости, как полозя в снегу, закрипели одежда и обувь. Каждый мускул чувствовался в теле отдельно, еле разгибались окоченевшие пальцы. Но он принудил себя встать. Снял бурку с Гизо. Старик спал. Направо, под голову сбилась папаха. Обрезанное левое ухо, синее, оттопырилось – то не было уже живого Гизо. За руку, за плечо схватил старца, голову взял в ладони. Нет, это не было тело живого Гизо. Мертвец лежал на снегу – бездушный на мертвенном саване.

Ветер крепчал. Бесновались сонмы снежинок. Погребальное полотно медленно обволакивало лежащего горца. Холодная смерть теснила Агелика, бросая вызов на единоборство. Он не знал, откуда пришли они, к какой стороне держать путь. Только то знал Агелик, что повелевает обряд предавать тело земле – не льду и не снегу. Положил мертвеца на бурку, две палки, как дышла, привязал; впрягся, как бык – потащил. Куда? О том ведает воля Аллаха.

Не мысли и не тени мыслей бродили в его возбужденном мозгу. Сквозь густую пелену снегопада на мгновения показывались очертания хребтов, отдельных вершин причудливого вида, узкие просветы между высокими меловыми стенами. Так сквозь миражи и обрывки неправдоподобных видений, владевших его мозгом, вдруг мелькала ясность: мертвое тело должно даровать земле, не льду и не снегу.

Временами негибкое тело Гизо – он все еще лежал скорченный, как ночью, при сне, – настигало Агеликовы пяты, как бы подгоняя его. Не сразу сообразил Агелик, в чем значение этой подгонки. Потом понял: отвердевшее тяжкое тело, как обрубок ствола на покатоности, само угадывает склон, само скользит по нему. Тогда стал приглядываться живой к движениям мертвого. Как и при жизни, пестун руководил питомцем: Гизо вел – Агелик следовал покорно.

Он выбивался из сил. Грудь не хватало дыхания. Казалось, сердце передвинулось к горлу, росло, давило – сердце, измученное усилием, рвалось прочь из тела. Каждое биение его хрипом вылетало из раскрытого рта. В ушах звенело, опущенная на грудь голова раскачивалась, как бы была чужая, полная тумана, испещренного кровавыми жилками. Он

перестал сознавать, что с ним. Не то чтобы он страшился подумать, что идти в неизвестность или стоять на месте равно угрожает гибелью, – не в состоянии был думать. Подчиненный когда-то мелькнувшему просвету в сознании – тело принадлежит земле – но уже утратив воспоминание об этом, он шел, не выпуская палок из окоченевших рук. Тяжелая дремота постепенно одолевала его. Иногда он чувствовал позыв тошноты, не имея сил противиться ей. Так, как песок без остатка поглощает воду, так суровость ледяной пустыни – каплю за каплей – поглотила, выпила его силы. Агелик уже не знал: стоит ли он, двигается ли; здесь ли бурка с примерзшим к ней телом Гизо. Внезапный толчок, грохот, похожий на тот, когда разгружают арбу с камнями, потряс им. Он почувствовал движение под ногами. Упал, покатился, снова вскочил: часть снежной равнины, на которой он стоял, тронулась и поползла, поплыла подобно льдине на реке. И как разламывается льдина, столкнувшись на пути со столбом или камнем, так трещал, дробился оползень, задевая невидимые под снегом скалы.

Бывают в жизни мгновения – ангел Господень, тот, что блюдет судьбу человека, воздвигает весы рукою нетрепетной. Спасение и гибель кладет на зыбкие чаши, уравновешивая их. Приближается ангел Господень к престолу:

– Рассуди, Боже, – взывает.

И если почиет Божье око на той или другой чаше, один этот взгляд решает судьбу человека.

Подобно кораблю, прибитому к скалистому берегу, остановился обломок снежного поля, втиснутый между отрогами ледяной горы. С оцепеневшей душой, не сознавая спасения, весь сосредоточенный с расширенным ужасом в очах видел отсюда Агелик, как быстрее и быстрее мчался обвал – глыбы снега, валуны зеленого льда, – мчался к обрыву, шипя, рыдая, как бы разумея грозящую гибель и не смея противиться ей. Среди хаоса стремнины черное нечто видел: исполнилось пророчество ворона-свана: полонил перевал останки Гизо.

Но оползень, унесший Гизо, пробудил Агелика. Веяние жизни ощутил он в движении снежной массы. Над мертвым царством пронеслась судорога – отблеск бытия. Жаркие слезы выступили, оросили щеки – живые потоки, согретые теплотой жизни. То были слезы горести над погибшим, вестники, обещавшие жизнь спасенному. Плача, он увидел себя, в обледневших лохмотьях с кровавыми ссадинами на руках, но он был жив, и руки согрелись, прижатые к груди. С внезапным приливом радости заметил он ясное небо и солнце, ласкавшее его, одинокого. Бог знает

когда перестал снегопад. Могучее чувство восстало из затаенных недр его существа. Тут же, где он сидел, на снегу между отрогами ледяной горы, его тело само собою приняло позу молитвы. Как умывает молящийся руки, и уши, и нос, и уста водой из источника, так снегом умылся. Открытые ладони развел вправо и влево, на высоте плеч. Кушам поднял ладони, после очи прикрыл ими, после очей сердце прикрыл:

– Всего себя, безоружного пред волей Твоей; всего себя – зрение, слух, все чувства; всего себя и покорное сердце отдаю на милость Твою. Отними от меня все, только оставь покорность, драгоценный дар в сокровищнице души моей, которая благословляет Тебя, Боже! Ты даровал прозрение рабу своему. Ты вел меня, направляя стопы между жизнью и смертью, Ты вывел к жизни меня. Как осязаю концами пальцев биение сердца, так осязаю присутствие воли Твоей, благой. На веки веков не разлучусь с явлением Твоим, аминь.

Вспомнилось ему раннее детство, когда без друзей, без сверстников, только с Гизо и Амирханом-муллою коротал он детские дни. Оставаясь один, шел он на край Амирханова сада, туда, где глубоким обрывом заканчивался сад. Часами сидел Агелик над обрывом, слушал пение птиц, внимая без устали говору ручейка, протекавшего среди плодовых деревьев к обрыву. Однажды резким движением вспугнул Агелик птицу; на ветке, над обрывом простертой, сидела та птичка. Как камень, взмахнув крылами, упала она. «Убилась насмерть», – подумал, жалея. Подполз к краю обрыва, заглянул, зная, что не увидать ему дна – глубокий обрыв был, по крутому откосу росли кусты, обвитые плющом. Вдруг на выступе, повисшем над невиденным дном, заметил гнездо. Птенцы шевелились в гнезде, и птица, им потревоженная, маша крыльями, облетала гнездо. Навсегда запечатлелся в душе Агелика образ крыльев, простертых над бездной.

Теперь, поднявшись на гребень горы, откуда в глубокой долине виднелись темно-зеленые волны хвойного леса, мерцал и носился перед Агеликом запомнившийся образ детства: простертые крылья птицы над бездонным обрывом.

На кошу

Человек, идущий в гору, оглядывается вспять, видит все уменьшенным. С высокой вершины ничтожными кажутся дворцы падишаха; самый огромный караван-сарай видим с вершины не больше расплюснутой скорлупы от ореха. Я, Эльдар, старейший чинар людского леса, что возрос в Орсундахе, я стою на крайней вершине лет. Далее нет подъема; положен срок житию человека – вечная слава Творцу. Глаза мои тусклы. Что было вчера или сегодня, того не различаю в туманной близости. Лишь дали открыты мне, лишь взирая в даль отошедшее, обретаю отдых усталым очам. Но в минувшее нам, старикам, легче глядеть смежив ресницы.

...О, пережитые годы – что горы. Год на год – возрастает гора бытия, все заостряясь, чтобы, достигнув предела, оторваться от тяги земной, перенестись в мир, где все тишина, благовоние, где истинная обитель бессмертного духа.

Неправдоподобными, обманчивыми чудятся мне события, вчера или сегодня поднявшие суетный крик. Что они? Мусор и пена на быстротекучих водах: пришли и исчезли. Чтоб разуместь смысл коловращения щепок на волнах потока, щепкой быть нужно. Краешком уха улавливаю я всплески потока, сквозь мгlistые клубы вижу призраки движений. Вот сегодня мое. Но прошлое кипит и искрится, доносит сильный звук голосов, веселит душу яркостью красок. Как путник, сходящий с перевала в долину, внимает радостным оком смену безжизненных льдов и снегов травой и лесами шумливыми; как переживает он ликование возврата от студеной пустыни к теплой плоти земли – так переживает Эльдар уход от сегодня к минувшему. Все, до мельчайшей черты, кажется полного веса, чистого звука. Все кажется ясным, как бы мулла Амирхан приложил к глазу стекляшку, заморскую выдумку, творящую из шерстинки канат, из крыла маленькой мушки букочный лист с сетью сосудов для крови древесной. Аллах. Я был молод. Крутящейся щепкой в потоке был, о внуки и прав-

нуки, был пред столетием старейший чинар Эльдар... Бог, подаривший нам жизнь, постепенно развивает свиток судьбоносного пути человека. В начале пути – страсти и бой; в конце – премудрая тишь.

Вот он, молодой Агелик, вот идет незнакомой тропой в чуждом краю. Вижу черно-синюю тень под глазами, как бы изрезанными лезвием боли. Вижу лохмотья одежды на статном теле. Как сокол после жестокой схватки со стаей ворон – так выглядит мой Агелик. Разметал воронье, победителем вышел из схватки, но кровоточат глубокие раны, надломлены гордые крылья. Ноги путника обернуты войлоком, кажутся тонкими для могучего тела. Папаха с мокрым курпеем жалко сидит на голове с темным волосом, с думой еще темнее. На краю леса тропа сливалась с колесной дорогой. Что бы ни было впереди – там поселение, люди, да будет благословен Аллах, направляющий стопы потерпевшего.

Остановился на отдых путник. Полдненное солнце укоротило тени, сочные травы лугов дышали ароматным зноем. Пестрые мотыльки гоняли подружек – хоровод окрыленных цветков над бархатной зеленью луга. Проворная рыжая белка с пушистым хвостом, не боясь, грызла сосновую шишку; только зоркие очи ее поминутно постреливали по сторонам. Мир и страда жили на опушке леса; мир, страда, тепло и одинокое сердце, налитое болью.

Поблизости зазвенел бубенчик, другой повторил тихий звон; овца заблеяла, невидимое еще стадо паслось, подходя к опушке. Высокий жалостный голос поднял песню, поднял выше хороводов мотыльков, выше густо-зеленых корон лесных великанов.

По небу гуляют голубые облака –
Вот одеяло пастуха...

Не гнев на бедную долю свою, только жалобу услышал Агелик в протяжном напеве. И в душе его не гнев, но жалость к себе слезилась, подобно источнику в расщелине скалы, откуда капля за каплей ниспадают слезы земли.

Низкие и плоские холмы –
Вот ложе пастуха...

«Зачем я здесь? Чего искал здесь Гизо? Где я? И кто я? – рой шмелей, рой назойливый, кружился в нем, не находя исхода. – Я расстался с муллой Амирханом по воле Гизо. Я по воле Всевышнего расстался с Гизо.

О каком славном подвиге говорил пестун? К какой высокой славе призван я, нищий путник, с одеялом из облаков, с ложем из плоских камней?..»

Дубина, сжатая в руках –
Вот щит пастуха...

.....
Серый пес при нем –
Вот кто друг пастуха...

Звонче, увереннее распевал пастух. Безотраднее, унылее тосковала душа Агелика, мучаясь в неразрешимых загадках.

«Встать и вернуться к Амирхану. Жить с ним всю жизнь, позабыв о внушениях пестуна. Невыносима, невозможна жизнь, как у тех снежинок на перевале, без смысла и цели. Мотыльки пестрокрылые, мулла говорил, будто краткосрочно ваше летучее бытие. Но не без смысла кружитесь вы над венцами цветов. Вы справедливее меня перед Богом, вы счастливее меня на земле».

Но так молвил ум его, встревоженный мыслями, только ум. Глазам Агелика было приятно любоваться солнечным светом сквозь зеленое кружево веток; уши жадно ловили побренькивание бубенцов, впивали в себя, донося до тайников души, слоги пастушьей песни. Эта песня на горском наречии была дороже ему всех благ южного склона; песня звала и манила, обещая новую жизнь, неисчерпаемую, щедрую – как щедро рассыпаны цветы по лугу, как щедро раздают цветы аромат и мед мотылькам.

Заворчал пес, увидев чужого. Оборвалась песня. Босой мальчик, с загорелым лицом под белой широкополой шляпой из войлока, с дубинкой в руках, вышел на луг.

– Милости просим, – сказал. – Пес, отойди.

– Да будет добр час нашей встречи, *гитче* *.

С достойным вниманием смотрел мальчуган. Будто взаправду был он гостителем, принимающим гостя. Любо было пришельцу наблюдать подпaska. Строен был малый. Твердо стоял босыми ногами на влажной траве. Веселье и разум глядели из черных очей, узких, сверху прикрытых косыми бровями, снизу – скулами с желтовато-коричневой кожей. Будущий горец, отважный, сильный и ловкий, уже теперь проступал сквозь черты мальчугана. Сейчас его лицом любопытство владело:

* Малый.

– Трудны дороги в горах, – молвил пастух.
«Кто ты, откуда явился?» – догадался Агелик о скрытом смысле слов.
– Третий день я блуждаю. Иду с перевала. Из какого селения пригнал ты овец, *гитче?*

– Эти овцы принадлежат Эльдар-беку, моему дяде. Наш кош лежит там, наверху. – Подбородком и палкой показал, где лежит кош. – Прими приглашение, пойдём к нам, доставь удовольствие дяде.

Кош, куда пастух привел Агелика, был большой, богатый. На солнечном склоне, примыкая одной стеной к сосновому лесу, стоял сруб из цельных бревен. По одну сторону домика – навес с множеством деревянных кадок для молочных изделий. С другой, поодаль, – загородки из камней, сверху прикрытых колючим хворостом, – загон для скотины. При виде чужого две женщины, прикрыв лица концами темных платков, поднялись, глаза опутив. Хозяин, высокий, худощавый старик с горбатым носом, вышел навстречу. Руки, с засученными по локоть рукавами, были покрыты крупцами сыра. Пристально взглянул он на посетителя.

– *Сау бол* (Будь здоров), – сказал сдержанно. «Слишком широки плечи у тебя, чужестранец, – подумал – Зачем в ключья разорван тулуп?»

– *Бай бол* (Будь богат), – в пяти шагах от старого горца стал Агелик: открытый, мужественный, безбоязненный, правдивый; тот, кто несет мир другим, а себе ожидает почтение, – так должен стоять, как стоял Агелик. Сверкнула улыбка под усами Эльдара:

– *Сен таулу?* (Ты горец?) – спросил приветливо. – Милости просим брата отдохнуть у нас.

– *Машалла, мен адам* (По милости Божьей, я человек).

Троекратно обнял старик Агелика за мудрый ответ.

Кивнул головой, седые виски засветились на солнце. В лучеобразных морщинах висков, и в глазах, узких, как у племянника, раскрылось для гостя радушие. Круглый столик, треногий, будто сам очутился в тени. Две ковровые подушки по сторонам стола. Сыр, айран, каймак, кукурузные круглые хлебцы, пшено с соусом из сметаны и тертого чеснока – все сразу заполнило гладкие доски стола. Проворный пастух бегал от дяди и гостя к навесу, где женщины шепотом выпытывали его наперебой: каков он? Нравится ли гостю горская пища? Почему видный пришелец в лохмотьях? Были то звери или были то люди, с кем, по несчастью, встретился гость?

– Каков гость? Лучше Темира Кадаева, сестры! Хотите – мигом за-сватаю? Ест – как священный бык, *хычауан-огуз*, когда кормят его перед

праздником заклания. Ты, плутовка, Нальчжуз, ты так хорошо прикрыла лицо платком, так в землю стыдась смотрела, что разглядела каждый лопнувший шов на одежде гостя? погоди, я скажу молодцу: «Пройди-ка к навесу. Сестрица Нальчжуз приготовила нить с иглой». Хочешь скажу?

По губам шлепнула Нальчжуз шалуна.

Эльдар-беку нравился задумчивый взор Агелика. Старику не нужно слушать длинную повесть о прошлом гостя, как будто с неба упавшего. Необманым внутренним щупальцем отгадал он свойства пришельца. Тонким слухом, привычным к различению правды и лжи, проник в тайное тайных его сердца, что билось в ладу с тем, что есть благородство и честь для горца.

– Пойдем к Белой скале, – позвал после еды, – нет в окрестностях коша удобнее места для обозревания пасущихся стад. Увидишь едва не половину целого нашего края.

Легче серны взбирался старик по рассыпавшемуся в прах известняку. Ни разу рукой не оперся о выступы скал. Агелик, наученный с детства одолевать подъемы, шаг за шагом, не отставая, шел по пятам.

– Вижу, ты, кажется, нашей крови, молодой. Не гневайся, хотел тебя испытать. Себя заморил. Ну, смотри!

Тыльной частью ладони отер пот с лица. Отсюда, с белого темени гребня, открывались дали, будившие гулкий трепет в груди. Глубокая сине-зеленая пропасть лежала пред ними. Вблизи узка, вдали она расширялась, чтобы потом снова сомкнуться где-то в едва различимом конце. Плоское дно казалось не больше горской скрипки-кобуза. Как струна ненатянутая, вился долиной тонкий шнурок цвета металла – река. Подобно двум воткнутым в землю кинжалам, с рукоятками из пожелтевшего слонового бивня, одна против другой высились башни. Ближняя – посреди кубиков для игры в кости; дальняя – одна, как перст, взывающий к небу.

– Орсундах – так зовут наш аул. Не слышал никогда?

– Никогда, – покачал головой Агелик.

– Две башни ты видишь. Высокие, они кажутся величиной с газырь. Не считая столетий, стояли башни, обороняя свободу гор, – не уберегли. Ныне мы платим дань адыгейцам. Платим скотом, кожами, изделиями ткацких станков – тяжелее других оброков плата свободой. Ну что ж говорить. Печальное дело. Когда нарушен мир внутри согласиём живущей общины, не хитро ее покорить. Да, печальное дело. Кто виноват, спросишь, – всегда голова. В той башне, что дальше, жил род Леуана. В бли-

жайшей – Кадаевы. Не ладили между собою семейства владык. Леуановы были славные воины, Кадаевы умели править народом. Сатана внушил Кадаевым зависть к счастью Леуановых в боях. Леуановы – чтоб ты знал, молодой, я в свойстве с Кадаевым родом, говорю без пристрастия к тем и другим – так, Леуановы, видишь ли, не довольствуясь воеводческим званием, желали, чтоб все и вовсе признавали их старшинство. Ну где между братьями зависть и соперничество злое, там не ожидай добра. Все же пред зраком Господним неправы Кадаевы: искоренили семью Леуановых, пролили кровь. Теперь всех наказал Аллах. Погибла свобода аула, умерщвлены гордецы Леуановы, обесчещены горцы. А Кадаевы, сыны злополучья, почитатели молнии (молния – их родовой покровитель), – с Кадаевыми, говорю, тоже беда. Старый Барзон пропадает от пьянства: мучает совесть, редко выходит на люди. Его наследник, Темир, как одичавший олений самец, неистово рыскает, сам не зная что ищет. Печальное дело. Слыхал ли ты, молодой, о бедствиях нашего отчего дома, аул Орсундах имя ему?

Опять отрицал Агелик:

– Нет, ничего такого не слышал.

Вернулись на кош. Уже вечерело. Быстрый сумрак от долин вверх, на горы, все выше вздымал густо-синий прибой. У родника, обложенного плоскими плитами, пылало пламя над толстыми бревнами. Несколько пастухов сидели, лежали подле костра. Все встали, заметив Эльдара и гостя. Внутри круглых загонов тонко вопили овечки, мычали телята: сейчас придут тяжкой поступью матки, сейчас, как только ловкие пальцы отдоят вымя. Без боязни, что в темноте вечера увидит пришелец их лица, сновали девицы-горянки. Полные, пахучие свежестью молока кадки несли на плече, будто пустые были они, так легка была поступь девиц. Мальчик-племянник торопливо вышел из домика-сруба:

– Вестник тут есть, из аула. Желает беседы с тобой, дядя Эльдар.

Отдалился Агелик от Эльдара. Сел к пастухам у костра. Эльдар-бек, чуя недобрую новость – зачем к ночи выслали вестника? – переступил порог.

– А, это ты, здравствуй, Бекир. Садись, будь гостем приятным для сердца. Надеюсь, моя молодежь не забыла о долге приветствовать гостя. Прости, если чем не угодил тебе.

– Будь вечно богат, сохрани здоровье навеки, почтенный старец Эльдар. Прими благодарность тебе и твоим домочадцам, девушкам – да пошлет им Аллах славных джигитов в мужья, и мальчику – твоя благо-

родная кровь видна в нем, когда скажет что-либо, стоит или ходит – великая радость быть дядей такому подростку. Скажи, Эльдар-бек, ты здоров?

– Как видишь. Слава Аллаху.

– Что кони? Коровы? Овцы? Ты доволен приплодом этого года?

– Роптать не имею причин. Все в порядке. Слава Аллаху.

– Хороша ли трава на горных пастбищах? Не иссякли ручьи? Много ли масла и сыра спрятал в запас?

– От всего сердца, дражайший Бекир, благодарю за участие в моих ничтожных делах. Травы и воды довольно, значит, и всего остального. Слава, вечная слава Аллаху. Но ты о себе расскажи. Как твой дом, твоё поле? Хороши ли всходы проса, кукурузные стебли высоко ли подняли хвосты? Сколько арб сена скосил в этой поре? Скольким ягнятам надрезал ушки – я знаю, твоя метка из трех надрезов вдоль кончика левого уха... Все расскажи, окажи такую милость.

Третью чашу айрана выпил Бекир, пятый чубук докурил – так странно были ответы его на вопросы Эльдара, приветливо-лестные. Лишь когда сильный зевок содрогнул челюсть Бекирову, вдруг встрепенувшись, сказал:

– Конечно, я прибыл на кош для того, чтобы увидеть тебя – всегда радость послушать справедливое слово Эльдаровых уст. Но был я также послан Темиром, твоим свойственником с левой, женской, руки, сыном владыки Барзона. Таковы Темира слова: напал мор на скотину, что осталась внизу, в ауле. Нет ли мора у вас, на горных пастбищах. Если есть – всю скотину гоните, не медля, в долину. Всех заболевших исцелить обещает Темир. Знает-де вернейшее средство избавить скотину от мора, нас, скотоводов, от беды и несчастья.

– Вот оно как, – процедил сквозь зубы Эльдар. – Если б случился мор – Боже, охрани нас от зла – в моих стадах, и без Темировых чудес нашел бы я помощь. Так-так. Что же придумал Темир?

– Не знаю наверное. Расходятся слухи. Одни обвиняют колдунью Сату, другие опять адыгейцев внушение. Словом, надоумил кто-то Темира прогнать скот через огонь и воду. Я тут ни при чем, Эльдар-бек. Послали меня – я пошел. С Темиром шутки плохие. От себя лишь скажу: если хочешь увидеть проделки с твоими коровами, поспеши в Орсундах.

– Так-так, – задумавшись повторил Эльдар. – Так. Спасибо, Бекир... Что еще говорит Орсундах?

Локоть к локтю подсел вестник к хозяину коша, тише плеска воды прошелестели слова:

– Если не ты, Эльдар-бек справедливый, так говорят в Орсундахе, если не ты, никто не образумит Темира.

Долгим взглядом прильнул к Эльдар-беку. Ничего не сказал Эльдар-бек. Молчащим застал их вошедший племянник.

– Девушки просят сказать, где угодно гостю Бекиру расстелить ложе на ночь. Здесь, под кровом, будет теплее – так девушки просят сказать.

Усмехнулся Бекир:

– Поблагодари красоток за ласку. Подле костра лучшее ложе для горца. Прости меня, дорогой Эльдар. Я знаю пословицу: «На дне чаши лежит мутный осадок». Не будем испивать чашу трудной беседы до дна. Прощай. Пусть молодость снится тебе, Эльдар-бек.

Среди ночи Агелик пробудился. Алмазное небо над ним. Так чисто мерцанье небесных алмазов, воздух так прозрачен и ясен – кажется оку: видит оно в отдельности каждый алмаз-звезду, этот ближе к земле, этот дальше. Хрустальным звоном звенят в небе алмазы, дивная музыка. Золотой Столб, *Алтын-Кызык*, неподвижный сверкал прямо над головой. Тепло и холод, сменяя волну волною, пробежали по коже лица: тепло углей костра, холод ночи. Неторопливый говор журчал то падая, то поднимаясь: полуночицали пастухи у огня. С изумлением заметил Агелик: лежит он на упругом ложе из веток, застланных войлоком; под головой подушка, тело прикрыто овчиной. «Стыд, – подумал, – уснул, как ребенок... Но чьи любезные руки подарили заботу мне, неизвестному страннику?» Еще заметил: папаха с длинной шерстью – тоже подарок? – нежит его голову; на воткнутой в землю жерди висит его тулуп, зашитый и чистый. Как птенчик в родном гнезде – так почувствовал себя Агелик.

Кто видел выводок маленьких птичек, тот знает дивные дива. Еще слепое созданыице умеет блюсти чистоплотность гнезда. Еще бесперое – прячет головку, учуяв поблизости хищника. Как, почему, откуда эти странные свойства птички-детеныша? Разве видит слепой? Или знает неопытный? Но не птичий зародыш сам по себе, а разум всего птичьего рода – вот кто хранит чистоплотность гнезда, это он внушает о хищнике.

«Я горец, – сказал себе Агелик, – я среди братьев. Брата по крови признал Эльдар-бек во мне, пусть бесконечным станет век его жизни, пусть его предки сияют, как звезды».

Небывалое поднималось в крови Агелика, небывалое, ему незнакомое – вечно жившее, то, что родилось перед ним, что не исчезнет, когда уйдет Агелик к праотцам: «Я горец». Ликованье и скорбь на равные доли раздвоили душу его. Ликовал он, познав главную истину своего существа: «Я горец». Скорбел, потому что, обретя дом ближних своих, был одинок в этом доме.

– Га, – произнес пастух, сидевший близко от юноши, – что не спишь?

– Выспался. Пусть лягут другие, я посторожу огонь.

– Сон – разборчивый жених, молодой. Сон выбирает глаза моложе, чем у нас, стариков. Га! Садись ближе. Хассан угостит кукурузой. Сладкая штука для крепких зубов.

Сел Агелик в кругу пастухов у костра. Тот опекал кочан кукурузы, другой штопал *чабуры* – быстро изнашивается пастушья обувь. Желтобородый Хассан строго смотрел на раскаленные угли, словно сердился – больно кусают они кончики пальцев. Хассанов сосед, со шрамом через всю щеку, задумчиво разгребал золу заостренной палкой. На противоположной стороне костра лежали еще люди: бог знает, так ли лежали или спали.

– Оттого у нас беды, – молвил Хассанов сосед, как будто к золе обращаясь, – оттого нелады в Орсундахе, оттого мор на скотину пришел, оттого это все, что забывают потомки преданья отцов. Раньше ни один горец не смел заливать водою огонь – землей присыпал, не смел отойти от костра, пока не погаснет. Земля святее воды, земля умеет рождать, а вода лишь помогает родам – так думали деды. Нынче замечал я не раз: молодежи не терпится – выльет воду на горячие угли, уходит. Огонь святее воды. Кто не видел? Сначала молния, змеевидный конь огневой, *Шибле* называемый, копытом рассечет тучу, после сыплется влага из дыр в туче, пробитых копытом. *Оуа*, огонь, понятно, святее...

Наворошил горку золы, вздохнул, размял на ладони табачные листья, закурил угольком:

– Вот, Кадаевы. Было время – всем родом шли к старой-престарой груше, сожженной небесным *Шибле*. Резали всех первенцев из приплода этого года – баранов, телят, жеребят... Жеребят резали в жертву в третий день торжества. С тайной молитвой, босые, один за другим, по старшинству в летах, обходили ту грушу, со знаменем *Шибле* на стволе. Еще Барзон, говорят, в юные годы Темира, не забывал обряда предков, поклонников

молнии. Темир об этом и слышать не хочет. Боится – засмеют адыгейцы-приятели: «Пешеход, – скажут, – пешеход, да еще разутый». Больше небесного гнева опасается мнения друзей-адыгейцев. Что ж удивляться? Где нет обычаев, там ссоры. Где поругана святость преданий, оттуда уходит милость Аллаха... Этот мор на скотину я так понимаю: прогневали Бога владыки Кадаевы. Нет благословения небес в той стране, владыки которой отступились от правды и совести. Кто ученей меня, пусть размышляет иначе, свое я сказал.

– Ну, милый Шовгай, – с той стороны костра послышался голос, не знакомый еще Агелику, – если бы Небо судило сурово, как ты, от людей щепотки золы не осталось бы. Сколько светом свет стоит, всегда старики бранят молодежь. Помню, мой дед наставлял своих внуков: «Не оставляй чувяк лежать подошвою вверх – покойник в доме будет»; «Не плюй через правое плечо – ангела оскорбишь, разразит тебя...» Признаюсь чистосердечно: я, Бекир, войдя в лета, перестал верить этим примерам. Если б от каждой повернутой вверх подошвы или от плевков умирали люди... Аминь! Не было бы вовсе людей на земле. Вот чему верю, я, Бекир: убегающий и догоняющий – оба Бога просят: помоги... Совесть тоже бывает товаром, только что дорогим иногда. А главное – козлу коза милее сотни овец. Что это значит? Лишь то: во всем и всегда опыт – половина удачи. Опыт и счастье, конечно. Кто опытней в беге и кто счастливей – тот убежит или догонит. Кто знает людей, кому улыбается счастье – того не обманет продажная совесть. Кто опытен, говорю, тот держится своего круга: владыка ищет дружбы владыки, пастух обнимает плечо пастуха. Не в том беда, говорю, что с адыгейцами дружит Темир или что пренебрегает пляской босыми ногами под грушей разбитой, беда в самодурстве Темира. Владыки владыками будут, пастухи – пастухами на веки веков.

Бровью не пошевелил Шовгай. В молчании губы поджал – черной щелью прогнулся шрам на щеке. Потом, разгребая горку золы осторожным движением палки, так возразил Бекиру, ни на кого не смотря:

– Разное говорят о чувяках... В давнее время вздумал поехать нарт-богатырь Сосруко к милой своей. Пастух увидел его, закричал: «Куда? Не к своей ли возлюбленной? Да она уж неделя как умерла...» Это, горцы, не простой был пастух – мудрейший из смертных. Нарт Сосруко не послушался, понудил коня к бегу. Через время и полвремени возвращается нарт к пастуху. «Чудеса со мной были, – молвит. – Попалась мне

по дороге веревка: то короче, то длиннее растягивается, глаза не верят себе. Еду дальше – вижу: сцепился сапог из сафьяна с чувяком из грубой кожи воловьей, и – в этом странность – чувяк побеждает. После нашел я могилу возлюбленной, поднял камень, спустился к ней в преисподнюю, пробыл там, наедине с мертвой, пока выносила душа тяжкий воздух заgrabный. Там, в могиле, новое чудо заметил: в соседней могиле лают собаки. Что все это значит, пастух?» Мудрый ответил: «Собаки лают затем, что мертвецы, лежащие в той могиле, не подавали хлеб нищему, перед путником дверь запирали, не находили сочувствия в сердце своем к тем, кто в дружбе с несчастьем... А с веревкой чудо такое: начнут братья землю делить меж собою, отцовскую землю станут мерить веревкой, друг друга обмеривать станут – все пойдет прахом у них... Что до чувяка из грубой кожи воловьей – вот объяснение: сафьяновый сапог – уздень, а чувяк – простолюдин. Наступит пора – сравняются оба и в мощи, и в чести. А позже простолюдин одолеет узденя» – так вот ответил мудрейший пастух нарту Сосруко. Полслова не изменил я в сказании...

По-прежнему плыли алмазные узоры небес – там, в недостижимой выси. По-прежнему жаркое пламя краснотой заливало горские лица – играло светом и тенью в густых бородах, чертило узорную вязь, ало-черную, здесь, на земле. Но по тому, как умолкли уста, по трепету длинного шрама на лице Шовгая-рассказчика, по рукам Бекира, уперевшимся в бока, – Бекир встал во весь рост на другой стороне костра – уразумел Агелик: дым гнева повис над беседой у пламени. Тогда неожиданный смех Хассана нарушил молчание, тугая струна не спором – миролюбивым смешком прозвучала:

– Ай-йю, эти сказанья, сказанья старинные. Ну-ка, не хмурься, сосед. Сядь на старое место, почтенный Бекир. Агелик – ведь ты Агелик? – хоп! Лови кукурузу – не спали пальцы: зерна горячее углей... Да, так о сказаньях старинных. Слушайте все, и ты, старый Атла, – погладил лохматого пса, – слушайте...

– Был такой рыцарь, Урызмаг звали его, красивое имя. Жена была у него, Сатанэ, такая красавица – ну как описать? Цвета персика краше, еще лучше гвоздики, ей-богу. Урызмаг на охоту уехал, Сатанэ дома сидит. Слышит – копыта стучат. На двор въезжает гость в чужеземном наряде. Пышной лебедью вышла Сатанэ в комнату; справа – нукер у нее, слева – прислужница. Ладно! Угостила приезжего. Тогда тот – бывалый молодчик, видать по всему, гость то есть этот – вдруг предлагает: «Сядьте-ка все

вы широким кругом, мой черед потчевать вас...» Вот тебе и сказанье старинное: кто где видел, чтобы гость хозяина потчевал? Но погодите – главное все впереди. Вытащил гость из кармана стол небольшой и платок. В ладоши хлопнул – бац! Два удальца и овца упали из воздуха в круг. Что ж вы думаете, горцы, те удальцы вмиг распотрошили бедную овечку; быстрее, чем я скажу «раз», изжарили вкусный шашлык. Чуть были готовы – исчезли, а столик, как и платок, вернулся в карман. Кровь бросилась в разум Сатанэ. «Ай-йо, – думает, – вот бы мне в доме иметь штучки такие. Вот бы радость была Урызмагу, когда возвратится с охоты... Ну ладно». Все золото вынесла гостю, старинную шаль принесла, всю в бирюзе и опалах... Нет, гость не хочет меняться.

«Назови свою цену», – взмолилась она наконец.

«Покажи мне, Сатанэ, где ночью ты спишь. Там скажу свою цену... Ха-ха».

Теперь Хассан схватился за бока, смехом давясь. Бекир улыбнулся. Сосед, со шрамом, перестал разгребать золу. Агелик ел, объедался – только не кукурузой печеной, словами рассказчика.

Утром проснулась Сатанэ, не видит гостя рядом с собою. Только хотела подняться – вошел Урызмаг. Что это? – скорбным взглядом смотрит на мужские чувяки, забытые гостем. Ай-йо! Разодрал свою грудь до крови, так говоря: «Увы мне, Сатанэ, уйду, не останусь с тобою, погублю свою голову на бранном поле, пусть звери лесные загрызут меня насмерть...» Не слушая воплей жены, убежал Урызмаг...

– А что бы ты сделал с женой, Агелик, если б с тобою случилось такое? – Хассан прервал свою повесть.

Смутился, оторопел Агелик.

Не знаю, – сказал, – я не знаю обычая...

– Ага! В точку попал, об обычае я как раз говорю. Слушайте оба, Бекир и ты, угрюмец Шовгай. Не обычай создает человека, а сам человек – горское племя, вот кто хозяин закона. Что было доброго в прошлом, пусть не умирает вовеки: зла перенимать не надо. Опять-таки вот как скажу: если учит легенда умному делу, поцелуйте кончики пальцев своих и скажите: «Слава мудрой легенде». Вот, Агелик не знает, что сделал бы... А девяносто девять из ста разрубили бы женщину, да еще ногой оскорбили убитое тело, крича: «Кахмэ*, будь проклят час нашей встречи!». Но, слушайте,

* Ка х м е – падшая женщина.

слушай и ты, старый Атла, я знаю: ты хочешь пролаять ночную правду, что милосердное сердце людское выше обычая. И так, одеянье мужское взяв на себя, Сатанэ кинулась на поиски мужа. В темном лесу нашла Урызмага, не признал Урызмаг в статном всаднике жену свою согрешившую. До ночи охотились вместе – даже мыши не видели. Голодные сели к огню. Тут как будто без умысла разложила Сатанэ платочек, поставила столик и положила нож на него. Хлопнула в ладоши – ого-го! Просто чудо, как засияли глаза Урызмага. Наелся баранины, потом говорит:

«Не богат я, всего пять тысяч конских голов у меня. Не очень я знатен – три аула держу в своей мощи. Все отдам в твою пользу, подари мне вещички вот эти».

Сатанэ отвечает:

«Не хочу ничего. Но если поддашься одной моей страсти, получишь вещички».

«Как! – Урызмаг оскорбился. – Как! От мужчины... такое...»

«Да или нет, говори. Здесь мой конь, уезжаю».

«Да», – покорно ответил.

Выждал минутку Хассан. Насладился вдоволь минутой своею: потрясенные горцы, казалось, разрывали Хассана глазами своими.

– Вот тогда бросила наземь папаху Сатанэ, черные косы упали на плечи. «Сам рассуди, – говорит, – чей грех ужасней, мой ли, женщины, уступившей незнакомому гостю (а ведь то был дух, не сотворенный из плоти)... уступившей с надеждой навсегда привязать чудесное благо к очагу общего дома... или твой, когда ради себя одного ты, подобно камне, продался первому встречному за эти игрушки...» Что ж, помирились они – сказке конец. А ты, Агелик, слушай, да так, чтоб запомнить старую повесть навеки...

Взаправду ушами сердца внимал Агелик. С кем он, на чьей стороне? Слушая пастуха со шрамом, верил незыблемой правде его. Когда возражал Бекир – и в нем видел отблески верного мнения. Начал говорить Хассан – обворожилась опять по-иному засиявшей правдой. А что же есть правда? Где она, птица с призрачными крыльями, с перьями сизыми, темными, алмазно-искристыми, тусклыми вдруг, вдруг блестящими, как архангела меч?

...Говорят: было когда то братство слепых, семь человек составляли то братство. Привелось им встретить слона. Каждый из братьев

внимательно ощупал чудовище. Потом сели в кружок, стали друг другу хвалиться: я, дескать, узнал досконально каков вид у слона.

Первый твердит: «Слон – это длинное, гибкое». – Хобот ощупал слепец.

Второй заявляет: «Слон – гладкое, твердое острое». – Бивень попался ему.

Третий опять: «Слон – огромное, с шероховатой корой». – По коже ладонью провел.

Так каждый из них свое малое знание с пеной у рта защищал. А когда, по какой-то случайности, слоновожатый подслушал раздоры слепцов, когда в добром намерении стал объяснять о слоне – все семеро кинулись на беднягу того, били, терзали... да, слышно, терзают еще до сего дня.

Агелику казалось, будто вдыхают ноздри его аромат широковетвистой яблони, стоящей в полном весеннем цвету. Вмешательством чуда как-то сразу обратилась в осень весна: сочные, спелые яблоки, издавая тонкий и пряный дух, украсили ветви. Он понял правду виденья. Понял сердцем, что цвет, завязь, плод и даже семя, в плоде заключенное, – все это равно в основе; все это яблочный плод, в разных видах. «Невозможно, – сказал себе Агелик, слушая горцев, – невозможно разорвать свое сердце в клочки, чтобы отдать часть – Шовгаю, другую – Бекиру, третью – Хассану, рассказчику милому. Возможно, и нужно иное. Я хочу, я могу, я должен в свое сердце вобрать отблески единого света, что вспыхивал в их речах. Боже мой! – молился в душе. – Дай мне мудрость: как радостно внести примирение возлюбленным братьям... Дай мне и мужество: смелым и мудрым желал бы вступить я в жизнь братьев-горцев».

Бог знает, какие еще мечтанья носились в воображении его.

Пес Атла поднялся на лапы, зевнул, вытянул в струнку кудлатое тело. Помахав дружелюбно хвостом, мерным шагом двинулся в тень, за черту, освещенную пламенем. Все лица повернулись за отошедшим Атлой. Тут из сумрака ночи выступил горец. Молодой, невысокого роста. Без папахи – не ходят горцы без головного убора. Но по всему, что рассмотрел Агелик, горец то был без сомнения. Темные кудри вокруг головы – сияние мрака. В противоречие с юностью – усы, борода, тоже кудрявые, как шерсть у барана. Бледным и сумрачным был человек, подошедший к костру, пес, ласкаясь, – за ним. Необыкновенно большие глаза глядели – не видели. Из широкоразверзнутых зрачков как будто падали слезы, хоть не было слез – только печаль, бездонная и неживая.

– Кушби, – прошептал Хассан Агелику, – бедняга Кушби, он помешанный. Дни и ночи так вот блуждает, неделями в рот ничего не берет. Ты, конечно, не слышал. Женихом был Кушби. Наныку-прелестницу, дочку ведьмы Саты, ее хотел взять. Судьба иначе хотела. Ей-богу, не знаю, как все это было... Только, видишь ли, часто бывает Кадаев Темир в доме колдуньи... ну, а Кушби – тот никогда. Теперь, если спросишь несчастного: «Слушай, что ты ищешь в лесах по ночам?», Кушби отвечает: «Красавицу, фею лесную; когда-то она была девицей Наныкой, ради меня обернулась в фею, Кала-Биче имя ее...» Аллах справедливый: ведь детскую песенку о фее бабки сложили для внуков. Ай, бедняга Кушби...

Вокруг костра, без единого слова, обошел безумный. Не глядя – будто пустоту нес перед лицом, будто из страшной дали мерцал, потухая, крохотный огонек – так тускл был взор, – очами ощупал лица горцев, спящих и бодрствующих. Болезненной горечью сморщился шрам на щеке Шовгая:

– Возьми, – сказал, протягивая поджаренный хлебец на острие палки.

Кушби не заметил ни Шовгая, ни хлеба на палке, мимо прошел. Стал как вкопанный перед Агеликом:

– Эти тут, – произнес глухо, – слуги Темировы. Не жди от них правды. Ты не здешний, нет?

Агелик мягким движением опустил руку на его плечо:

– Кто бы я ни был, я твой брат. Верь мне, Кушби, верь, дорогой.

– Скажи: проходила ли мимо девушка. Я дам приметы. Высокая. Тополь стройный. Ель молодая. Брови углем очерчены. Волосы – как золото звезд. Поет всегда песню о кречете – знаешь, заклевал голубку. Разодрал голубкину грудь. Кровь. Кровь. Скажи: видел такую?

Прислонил рот к уху, горячим дыханием обдал Агелика:

– Кала-Биче зовут девушку. Раньше звали Наныкой. Была она здесь?

«Нет, – грустно подумал Агелик, – зачем в клочья рвать сердце, зачем обдаривать клочьями сердца Шовгая, Хассана, Бекира... Не лучше ли, не милее посвятить свое сердце, с болью и кровью, вот ему, Кушби, убитому горем? Но как можно вылечить горе такое?» Вслух молвил нежно:

– Не было здесь ее. Если хочешь, если желанье имеешь, я буду искать твою чудную фею. Вместе с тобою.

Поник головой Кушби. Долго думал. Горцы, затихшие, слушали. Незнакомый пришелец беседовал с их сумасшедшим. Дивные речи. Ка-

чались длинноусые головы, ветерок сомнения покачивал их. Наконец, ответил Кушби:

– Нельзя. Будет бояться тебе фея Кала-Биче. Тебя за твою доброту первого позову на свадьбу. Прощай.

Прыжками сбежал в ущелье. От высоких прыжков вскидывались кудри над головой – свет и тени костра, красным и черным, играли в кудрях. Пес Атла проводил отошедшего до черты темноты. Взмахнул на прощанье хвостом, вернулся к теплу и людям.

А в далекой дали, над ледяными громадами Незримый Пастух выгонял на розовеющий луг отару белокурых овец.

Утро вставало.

О Орсундах!

Кадаев Барзон – в просторной горнице, полутьма вечная в ней: узкие окна велел пробить предок Кадай, строитель родовой твердыни, толстые стены велел возвести Кадай. Четвертой стороной к башне примыкает горница эта, из нее, ключевой замковой скважины, идет тайный вход в башню Кадая. Барзон сидит на тяжком табурете, прикрытом медвежьей шкурой. По преданию, Барзонов прадед один на один положил медведя.

«Ах, в наши дни не родятся богатыри», – вздыхает Барзон.

Большой стол перед ним из дубовых досок, толщиной в руку: топором обструганы доски, морщинисто; но века сровняли выемки, разгладили морщины стола – не покачнется чаша.

Левой рукой в задумчивости бороду крутит Барзон, косички завивает; правой за ушко чашу держит. Взор в темный угол уставлен – что видит там, Аллах ведает.

«Не смейте родниться с Леуановыми. Не ищите близости с ними на охоте, забав с ними не разделяйте. Лишь обороняя Отчизну горцев, ущелье Орсундаха, идите вместе против врагов».

Завет праотца Кадая мерещится одинокому Барзону. Так сказано: идите вместе против общих врагов.

Пышная борода у Барзона. Волос тонкий, шелковистый. От висков ниспадает на грудь темными струями. Костяной гребенкой чешет Барзон бороду – и два, и пять, и семь раз на день; в канун пятницы, праздника правоверных, снизу и с боков равняет мужское знамение лица своего. Унесенный мыслями, не замечает орсундахский владыка: пальцы левой руки перетирают, ломают нежные волосы, холеные, шелку подобные.

«Если не мы Леуановых – Леуановы нас...»

– Кто, кто произнес роковые слова?..

«Вы бездетные, братья. В моем сыне Темире надежда рода Кадаева. Пусть передаст он потомству блеск нашего имени...»

– Да, все это я говорил. Смерть на род леуановский я призывал. Я, братоубийца, нарушил завет праотца. «Блеск нашего имени». Га! Кадаев Барзон, блеск кандалов адыгейских затмил блеск имени рода: твою виной.

Прислушался. За низкой дверью – железные полосы крест-накрест на ней – отдаленный гул: как будто копыта стучат. Что ему до чужих копыт? Вот тут, под темными прядями, на груди, ноет след удара копытом: от Барзона Кадаева началось рабство аула... Потомки спросят: «Всегда ли платил дань Орсундах адыгейцам?» – «Нет, – ответят детям родители, – случилось так при Барзоне Кадаеве. Милее свободы и чести ему право кичиться владыкой». Га! Владыка – с адыгейской уздой на шее.

Поднес чашу ко рту, проглотил что было на дне. Безвкусной оказалась ему огневая влага. Прошел в угол – там, в укромной закуте, прятался тонкогорлый кувшин.

В дверь постучали.

– *Кет!* – крикнул. – Прочь, кто бы там ни был!

Прокатился окрик властного голоса. «Йа-Алла, – вдруг подумал, – что если стучит посол адыгейского князя?» – С проклятием снял железный засов.

За дверью стоял Абу, верный соратник удалой; низкий, как кадка для сыра, такой же широкий, крепкокостый; весельчак, забулдыга, смелый охотник, меткий стрелок – тысячи служб сослужил роду Кадаевых, сам себя называл зубастым сторожевым псом владычной семьи. С малых Темировых лет состоял Абу при наследнике – нет человека надежней Абу. За кривой левый глаз прозвали его Абу Косой и просто Косой.

– Гром меня разрази, – неукротимая жизнь клокотала в Косом; он был подобен высокогорной березе: корявой, ниже кустарника; с ветвями кривыми, узловатыми, упругости дивной – топор не сечет, с первым вздохом весеннего ветра зеленеет береза, последняя осенью роняет листву. Ураганы, завалы рыхлого снега, град и молнии истязают березу – не поддается она ничему. Упорная, буйно-зеленая, корнями, как зубьями, разъедает; ветвями, как еж, царапает ветру грудь.

– Пусть окривею на второй глаз, если лгу, – воскликнул Косой, – нет в горах ездока отважней Темира. Полюбуйся, мой господин Барзон, вот он: как сидит, как держит поводья! Посчитай, сколько искр мечет из глаз. Бесится не хуже шайтана Темир – чуть не слушает конь. Правильно! Бешеный всадник на диком коне – есть на свете красивее зрелище?

Хмуро, мельком посмотрел Барзон на конного сына. Темир, желая показаться отцу, вернулся с первой далекой поездки – двенадцать весен минуло – детство окончилось. Темир подбодрил коня молодецким ударом плети, всей силой узду натянул. Вскипел, вздыбился горячекровный скакун, заплясал на месте танец укрощенной страсти. Торжеством вспыхнуло молодое лицо ездока.

Дернул дверь за собою Барзон, проворчав Косому:

– Ты забыл, что покой господина свят для слуги?

Не видел Барзон изумление в разверстом глазу Косого – того изумления хватило б и на три глаза. Не заметил владыка гневную тень, набежавшую на брови Темира: светлый день отступил, мрак победил веселье Кадаева сына.

Годы, как горы, растут: год на год – выше и выше вздымается темя горы. Годы, как обломки утеса, падают в пропасть: осыпаются горы, трещины бороздят гранитное тело, кусок за куском валяются камни, исчезают бесследно во тьмой зияющем зеве обрыва.

Кадаев Барзон одиночество сбросил – непосильное бремя для одряхлевших плеч. Полутьма наследственной горницы прискучила – бог знает, что прячется в изменчивых тенях углов. Два светильника горят, разгоняют тьму из углов, не позволяют тесно пробивать тропу к Барзонову сердцу. За верхним концом – борода на ладони, локоть упирается в стол – за почетным концом владыка Барзон, по бокам – гости: ветхий Джемал, когда-то знаменитый танцор, укротитель коней, воспетый аульским ашугом, ныне, кажется, рассыпается он на глазах, истлевет, подобно отсыревшему меху; серокрылая моль проела тот мех. Только глаза и язык сохранил Джемал, тучное масло среди безресничных век; острое шило за синими деснами – ни единого зуба. Второй гость, Мусса, известен народу умением пить и молчать. Перина, стянутая поперек веревкой, – таков стан у Муссы. Широколицый, с багровой кожей на щеках и шее – вот-вот брызнет кровь. Не говорит – только хрипит да покашливает; вместо «да» – «угу» говорит, вместо «нет» – «mmm».

Поспорили горцы: кто заставит воловью тушу Муссы вернуться к человеческому виду – коня-однолетку получит. Первый охочий застал Муссу в постели: «Послушай, у соседа пожар, спасайся!» Втянул воздух ноздрями лентяй, прислушался – везде тишина. Плюнул с досадой... Другой при обеде ворвался в жилище Муссы, как раз порожний кувшин от бузы убирали в кладовку. «Эй ты, лежебока! С неба падают пирожки

с творогом и мясом, скорей иди, собирай угощенье». Мусса, даже за дверь не взглянув, ткнул пальцем кувшин: наполни, дескать, если случилось чудо такое... Третий из спорящих хитрее других подобрался к тяжеловесному увальню. К вечеру тихонько постучал в окошко. «Мусса, – прошептал, – могу присягнуть: твой отец одолжил Микраэлю из семьи Унараевых пива котел, сейчас Унараевы варят пиво, пойдем, я присягну, заставь должников вернуть долг...» Чуть-чуть приподнял Мусса огромную круглую голову. Еще мгновение – и новость высекала искорку духа из груды мяса, заплывшего жиром. Только в выборе времени ошибся хитрец, третий из споривших: как ложится вечером тень от минарета на речку, так ложится Мусса в кровать – неотвратимо. «Ммм», – ответил Мусса хитрецу и свалился в бездну сна, лишённого грез и видений. Так остался конь-однолетка гулять в табунае на воле.

Тяжкий воздух в кадаевской горнице, много пьют, еще больше курят хозяин и гости. Светит ли солнце на небе, сыплется ли дождь – здесь одинаково сизые клубы плавают в волнах жидкого желтого света. Джемал – костыль с поперечиной, такие носят калеки да слабоногие старцы, придавлен руками к впалой груди – беседу ведет:

– Было мне мало лет, еще на коня не садился. На попечении бабушек, тетушек – совсем воробей был, желторотый. Вышел в полуденный час с коша, от духоты, помню, камни потели, бесы с бесовками крутили хвосты над сожженной почвой. Я спрятался в тень. Гляжу: бредет лохматая, с кривыми ступнями, два клыка торчат из усатого рта, *алмасты* – ведьма. Но ведь вы знаете: уже в колыбели не ведало страха сердце Джемала. Отошел в сторонку. Ведьма за мною. «Мальчик, – кличет, манит к себе черным когтем. Очаровали меня водянистые, без зрачков, ведьмины очи. – Мальчик, возьми ягодку». Я ничего не хотел взять на язык от нее. Затрясла баба седыми космами. «Чем, – спрашивает грозно, – чем поит-кормит тебя твоя мать?» Но ведь знаете и вы: еще до рождения было предсказано о Джемале: мудрецом будет... Я отвечаю: «Моя мать кипятит воду в сите, этим кормит-поит меня...» Э-хе-хе-хе! Клянусь, сам видел – принесла воду, сито, разложила огонь... так спешила, а я – я был уже на кошу, поближе к теткинским шальварам.

Одним ухом слушает Барзон, одним глазом посматривает на Джемала: «Нет, не тебе, болтуну пустозвонному, заглушить мои думы. Кровью политы думы мои, умерщвленными телами вздобрены – у, высокие всходы дает нива, где вместо зерен сердца мужей посеяны. Нива эта – душа моя. Всходы эти – думы мои.

Вот тут, за широкоспинным столом, здесь впятером сидели мы, братья Кадаевы. Четыре сердца, кадаевских, горячих, огневых, четыре, как четыре отборных зерна, брошены в борозду. Не соха землепашца – смерть косой тянет ту борозду. Не дождь-плодоносец – богатырская кровь из вспоротых жил орошает посев».

От утренника к обеду, от обеда к вечерней трапезе – без передышки. Только еда меняется, пустые уходят, полные приходят кувшины. Люди – Барзон, Джемал, Мусса, – они остаются.

– Что ж тут такого – знаясь с нечистой силой? Такой, как ты, Мусса, не вынесет – дух зайдет, в глазах помраченье...

– Ммм, – противоречит Мусса: не страх, только лень мешает ему знаясь со всем, что не пахнет едой и напитками. Джемал не хочет спорить с Муссой: позабавить владыку, утихомирить горе Барзона – вот стремление Джемала.

– Я косил на поляне, возле ущелья Семикратного Эха. Пошел дождь. Забрался под навес из веток, вздремнул. Вдруг ко мне подошел дьявол Эблис. Что ж тут такого, думаю, хотя в груди заяц уши прижал, заячий хвостик защекотал пятки. Тело боится, но – кто же не знает? – бесстрашен Джемалов дух. Схватил я косу, размахнулся – Эблис тоже. Только, вижу, у него коса деревянная. Я кошу – черт косит. Быстро целый стог накопили. Скрутил я из сена веревку – и черт скрутил. Связал себе ноги – ай, и он тоже. Поддел я веревку косой, вжик – разрезал. А дьявол Эблис, как ни старался, не мог перерезать своей деревяшкой. Тут-то я его взял, живого, как барана, домой потащил. Прожил черт у меня довольно времени; не стоило в те времена говорить об этом: женихом был. Никакую работу не хотел делать черт, хилый был, зябкий. Каждую пятницу голову мне брил – вот и вся польза была. Ну перед свадьбой отпустил Эблиса на волю. Думаю: «Черт – черт, а все же мужчина». Э-хе-хе-хе...

– Кха, – один разок кашлянул Мусса: награда рассказчику.

«За этим столом сидели мы, братья Кадаевы. „Смерть Леуановым“ – стол помнишь? А блеск нашего имени Темир передаст потомкам. Блеск...»

Струя свежего воздуха пронеслась от дверей: ветер, обрученный со звездным сиянием, ворвался в затхлую горницу из шири небесной. Не сразу узнали сидящие Абу Косого.

– *Бу чыккан у бай болсын*, – медь звучала в грудном голосе джигит; та Абу, – из этого дома да произойдет богатый – так сказал. – Клянусь

джауруном, лопаткой барана, – сказал, – не думал застигнуть гостей у владыки Барзона.

Еще выше приподнял Барзон на ладони темную бороду, ближе к светильникам, заметно проглянули седины. Редкий день шуршит костяной гребешок в зарослях Барзоновой бороды – расползлись, распластались пряди, плотнее прилегли к глубокой ране копытом на груди: адыгейский конь оставил зловонную памятку – рабство.

Первым Джемал поднялся – не удерживал гостя Барзон. Сонный Мусса с усилием вознес толстый живот над ногами-бревнами. Когда вышли они, Абу задвинул железный засов.

– Большая забота. Темирова кровь ищет ласкания. Решай: женить ли его? Семнадцать лет молодцу. Где сыщем невесту?

«А блеск нашего имени... – сверлит дума Барзонову голову. Не видит, не слышит Косого. – Четыре Кадаевых сердца, три Леуановых брошено в борозду смерти, – витают виденья, грезы полонили Барзона. – Орсунах пал, когда башня восстала на башню: мы – против них. Кто победил? Адыгейцы. Кто побит? Клятвопреступник Барзон».

– Темир такой: дай сейчас! Не дашь – погибай все или сам погибну. Если нет твоей воли на свадьбу, Барзон, на Темирову свадьбу, – иное придумал верный Абу.

«Не блеск – позор Кадаевых перейдет по наследству. Я, Барзон, соумертвитель Леуановых братьев, я, предавший свободу гор, данник и подданный адыгейского князя... А ты, Темир, сын злополучья, ты виновник всему: твоим будущим, как ядовитым вином, упился несчастный отец... Блеск имени».

Не понимает Абу молчания владыки. Ближе ковыляет кривыми ногами, вихляет зад у него, бренчит златочеканная шашка.

– Вдова Кармакая, – сквозь скорченные усмешкой усы круторогие едва слышно цедит слова, – Сата. Пчела летит к медунице, мужчина к пышнобедрой гурии. Рот – спелая вишня, вишню люди едят. Очи – родники синей воды, воду люди пьют. Пустить Темира к Сате?

«Кармакай!.. Что лопочет Абу о виновнике сдачи Леуановой башни? Двое Кадаевых легли на луговую траву – остры мечи адыгейцев».

– Что с Кармакаем? – проснулось внимание владыки.

– Не с Кармакаем, с его вдовушкой Сатой, – смеется Абу, – с перезрелой вишней до свадьбы пусть балуется огненнокровный Темир.

Вынул руку Барзон из-под челюсти, разгладил сбитую набок бороду, заслонил ладонью глаза:

– Делай как знаешь.

Так бывает: нетерпеливый пастух пьет воду, замутненную ногами скотины; терпеливый – оглянется, поищет, к кристально-чистому роднику устами прильнет: достойно утолит жажду свою. Есть конь надежный, объезженный; есть дурноезжий, непостоянного нрава. Первый идет здесь шагом, там рысью, когда всаднику хочется – с ветром поспорит: все в свое время, смотря по нужде. Второй не различает шага от рыси, то бешено бьется на месте, силы теряя впустую, то сломя голову скачет вверх-вниз без разбору; а если случится владельцу дурного коня предпринять далекую выездку, смотрит – сплеховал конь-забияка, не выдержал, прокис, как молоко, в грозу; весь в мыле. Много ли толку в дурноезжем коне?

Каждый колесный мастер отлично осведомлен в пустяковой как будто, но важной сноровке жоатого: тот, кто криво ведет вожжу – на сторону скашивает ход колеса. Потому-то опытный мастер колесный, увидя на промоченной дождем дороге прямую, как благородная мысль, ровно проведенную колею, говорит: «Умница ехал»; а увидя вкривь и вкось положенный след, вздыхает: «Порченный ум».

Все это пока о конях и колесах. Что же о людях сказать? Дурит колесо – неприятность, убыток хозяину, не больше того. Плохая повадка коня – нет тут несчастья. Но когда человек, да еще родовитый, когда сын владыки, долженствующий высший образ порядка и чести собою казать, когда он блуждает без явного смысла, когда кривит судьбы его колесо, а его нрав равнодостоин нраву коня дурноезжего – вот тогда горестно скажем: беда.

...Аллах! Помоги мне в эту минуту. Давно испепеленные страсти жаркой волной плещутся в грудь. Не о друге любимом – о сопернике, о беспорядочном воине, о смельчаке суровой души, о сердце, распаленном дьявольской жаждой, о Темире – о нем повествует Эльдар, старейший из горцев. Молю Бога и истину – да не оскверню белое черным, но где черное было – пусть не будет оно чернее, чем видели очи мои, когда-то сиявшие огнем бытия, ныне угасшие. Не для того, чтобы тревожить твой прах, для поучения потомков – вот для чего вновь ударяю мысли кресалом о памяти кремень: знай об этом, Темир! В кругу своих всегдашних собратников ты сам говорил:

– Зачем так странно устроил Аллах Всемогущий? Зачем у этой красотики черные звезды висят под бровями? Зачем бледная матовость кожи другой будит желанье мое? Почему невозможно слить всех девушек, жен и возлюбленных в тело одно? Клянусь мощью козла-вожака – как сладостно было бы сразу, в одной, обладать всеми красотками мира. Что бы я сделал? Насладился б до смертельной усталости, а потом умертвил бы ее и себя...

– Нам оставь чуточку, эй, Темир, не будь слишком жадным, – пьяно шутили друзья.

Но грозен Темиров ответ:

– Если бы кто-нибудь только в мыслях посягнул на добычу мою – ну, приготовьте очи всех его соплеменников к неистощимым слезам.

Набухали кровью жилки на синеватых белках, между прямыми ресницами; длинные резцы с желтизной у корня обнажались под верхней губой с твердым, в копье закрученным усом.

...Ветер подслушал, ночь подсмотрела. В крайней сакле, на южной стороне Орсундахской долины, когда даже деревья покорены дремотой, в этой сакле слышится говор. Два голоса попеременно звучат за окном, прикрытым подушкой: Кармакаева Сата избегает любопытных взоров.

– Как удержу твою ясную, твою непокорную голову, как приглублю ее на груди своей, – воркует Сата, – я была безводной пустыней, твоя любовь взрастила оазисы в пустыне вдовьей судьбы. Я была серым придорожным булыжником, ты прикоснулся, Темир, вот – алмазом сияю. Что я без твоей любви? Сосуд тления, орех без ядра. Ты моя жизнь и смерть моя ты, Темир.

– Сата, если войлок сто раз повторит: «Я – шелк, я – шелк», – все равно войлоком будет. Знаешь, говорят, где-то за Меккой целое море высохло. Что ж толковать о любви: сегодня – червонные угли, завтра – пепел. Пора мне идти.

Как дуновенье рябит поверхность пруда, так – мимолетно – пробежала досада, вместе с болью, по осенним, некогда пышным и ярким, ныне поблекшим цветам женского лица. Да, Кармакай умел выбрать подругу в любви, утеху для забавы мужской. Еще теперь дочка Наныка вошла в возраст невесты – как опалы при свете костра, переливают сине-золотыми искрами вдовьи глаза. Полные, сочные, зрелые вишни уст влекут мужское желанье. Сохранило упругость тело Саты – ах, память тела не истребят столетья. Как позабыть страстного мальчика – уже тогда коршуна когти в нем намечались – как не упомнить науку любви,

ею, Сатой, переданную вот этому строгому мужу. Ах, было время – ночи, ночи то были – она сама, с шутливой заботой, выгоняла Темира за дверь: утро брезжит... Как волчица отнимает сосок от волчонка, так отнимала тело свое от ненасытных объятий Темира.

Хмурятся брови Саты:

– «Иди!»! Куда? Когда-то переступить порог моей комнаты было тебе тяжелей, чем взобраться на хребет Ак-Кая. «Пора...» – тоже скажешь! Послушай! Если забудешь Сату – проклятье на себя призовешь. Я злой памяти женщина. Я напущу тучу длинноклювых орлов на тебя – пусть выключат лживые очи. Я зачарую ружье изменника – треснет ружье по полам, когда будешь целить во врага. О, ты не знаешь Сату. Ржавчина съест твою саблю – только слово скажу. Захочешь выпить воды – змеиный яд поглотить. Берегись – гордость обиженной женщины творит чудеса: не колосья на поле твоём взойдут, твои обглоданные кости – вот какой урожай снимут жнецы, если оставишь меня.

– Где Наныка, пусть потанцует для гостя. – Скучно Темиру. В прошлом, еще недавно совсем, верил в тайную мощь Сатиной ворожбы. Теперь только скучно.

– Наныка – невеста Кушби, – трудная мысль гнет, ломает тонкие брови отцветшей красавицы, – его отец, Эль-Мурза, обещает выкуп богаче, чем дал Кармакай за меня. Не смотри на Наныку.

В трудной задумчивости позабыла Сата: сказать Темиру «нет» – все равно как бичом подстегнуть скакуна; о чем-то своем, затаенном, женском думает Сата, не замечает, о чем лепечет язык. Ударил Темир: плеть свистнула, рассекла узорчатый шелк наволочки, не кровь – пух извергся из раны в подушке.

– Пусть танцует Наныка, – Темир говорит.

Охнула Сата. Ладонью сердце прикрыла – да, удар плетью по сердцу пришелся, кровоточит свежая рана. Гнев борется в женщине с задуманной новой уловкой.

– Подожди, нетерпеливый, – гладит плечо, ласкает, утихомиривает гостя ночного, – исполню желанье твое. Выйдет Наныка, попляшет, погоди, дай девушке срок одеться. Тем временем выпей вот это.

Решение принято: если убегает любовь, колдовское снадобье против воли удержит ее. От старой тетки, ныне давно забытой – уже кости истлели в могиле – от тетки, знахарки, когда та умирала, услышала тайное средство.

– В день солнцеворота, когда темные крылья ночи не успевают за Златорогим Туром небес, в эту ночь, о Сата, пойдешь в ущелье Семикратного Эха. Найди, Сата, разбитую молнией грушу – Кадаевых святыней слывет она меж людей. От корявых корней к востоку прошагай сто и еще полста шагов, увидишь ложбинку. На коленях ползи, щупай почву пытливыми пальцами. Найдешь стебель тугий, такой крепкий и гибкий, каким желаем мы, грешницы, ощущать утробой мужское присутствие. Найдешь стебель – прошепчи над ним:

Аранным гелдым ялгыз
Голун боиньман сал, кыз,
Камы джут-джут яттатар:
Мен недже яттым ялгыз?

Из степи пришел я одинокий,
Рукой шею мою обвей, девица.
Все парами-парами спят:
Я как же буду спать один?

Архалыгын икки гать:
Бирин сахла, бирин сать,
Егер меним ярымсан,
Геджа гель, гоиньманда ияать.

Архалук твой двойной:
Один оставь, один продай,
Если мой возлюбленный ты,
Ночью приди, в моих объятиях
усни.

Поддень, Сата, корень пятиперстый – *беш-пармак* имя его, – вытяни – не смей по сторонам глазеть: чудовища гор, *эмегены*, испугают тебя. На коленях назад отползи, потом беги что есть духу. А дома смешай мед с аракой, свари в смеси корень: кому дашь напиток, тот обезумеет от страсти...

Оскорбительно думать Сате, что не она, женщина с телом гурии рая, с ликом, подобным распутившийся розе, – не она, по которой тосковал юный Темир, а жалкий корень, отвар пятиперстой травы, да мед, да арака – они воскресят любовь мужа, охладевшего мужа Темира. Оскорбительно, тошно, сердце сжато клещами тоски.

«Ну, возлюбленный, – думает, – расплатишься ты за муку мою».

Пьет горец чашу за чашей – странный вкус, сладость меда и горечь какая-то. Поминутно взирает на двери: Нанька-глясунья отсюда войдет. Вдруг слышит условленный знак: три стука в окошко, два посвиста тихих – Абу Косой. Сердито отбросил подушку, струя белого пуха плеснулась на пол, устланный узорным ковром; перегнул стан за окно:

– Га, – бросил камень – камень резкого слова. – Эй! Что такое?

Абу Косой лучше Темира знает аульских людей. О, кто ж сомневается? Нет супротивников у Кадаева рода: есть лишь Темировы недруги. Темные ночи сейчас – темней человеческой тени. Дуют ветры – дуют слышнее

человечьих шагов. Зачем обольщать неразумных? Орсундаху известно: куда спит Кадаев Темир, бодрствует Косой; если угодно Темиру позабыться в домике, что стоит вдали от селения, Абу не уснет у порога.

– Я раб твой, Темир. Я выдержу больше пса на цепи – позволю сказать о конях...

– Там поле, – ткнул костистой рукой в темноту, – отведи пастись коней. Я еще посижу.

«Поле? – думает-недоумевает Абу. – На Эль-Мурзино просо коней посылает?»

Нет, дорожке Эль-Мурзина проса слово Темира: не ослушается господина слуга.

А внутри вдовьего дома затараторил, зазвякал бубен. Сатины пальцы частый такт выбивают по натянутой коже, звонкоголосые бубенцы трепещут, взлетают, порхают, как меднокрылая пчелка. Чуть слышно, ибо прерывает затаенная мука Сатино пенье, едва различимо вторит Сатино горло верещанию бубна; мелодия плавного танца скрытой женской слезой орошается; горечь оскорбленной любви, жгучая ревность к неизвестной сопернице, жажда отмщения – все вместе слилось, клокотало в том Сатином пении тихом.

Наныка плясала. Обезумевшим оком пожирал ее пляску Темир. Как до сих пор не увидел Наныку? Как мог проглядеть ясно-юное мерцание звезды новорожденной возле догоревшей лампы? Была Наныка, как Сата, да, как Сата – прежде чем Кармакай женился на ней. Тот же рост, та же стройная сила стана, та же опалов игра под черным крылом бровей, та же розовость щек, ярко-вишневая спелость слегка приоткрытых губ. Да, как Сата, – только полукружие арки моста разделяло дочку и мать: Сата сходила с моста, Наныка вступала на первый подъем.

Наныка плясала. Нежные ноги скользили неслышно – это не ноги, это незримые крылья плывут над ковром. Тонкие руки в золоте, парче и атласе, тонкие руки застыли, как бы забылись в восторге от собственной красоты вознесенной. Чуть разгорелось лицо, улыбка блуждает, лукавые ямочки смеются на девичьих ланитах.

«Я не Наныка – я юность победная, – слышится уху Темира в ритме праздничной пляски. – Я не Наныка – я цветок, поцелованный солнцем. Я – желание звезд, еще не сведенных на землю. Я – любовь, мой жених – месяц. Я – ничья, я – ароматный вихрь и я – ковш, никем не отпитый. Я сею отраву желания, я мучаюсь жаждой сама. О феи лесов, как вынести сердцу желание пить и быть выпитой сразу: то и это?..»

На ходу, закончив кружение пляски, вырвала девушка бубен у матери, быстрее лани исчезла за дверью. Во весь рост поднялся Темир: гибкий и крепкий – дамасская сталь, хищный волк в человеческом виде; жестококлювый коршун, облеченный в черкеску. Пьяная ярость бушует во взоре: пьяная пляской, еще пьянее отваром из корня, *беш-пармак* имя ему:

– Кушби? Ты сказала – Кушби получит ее?

Раненый тигр не бывает страшнее. Оскалены зубы, желтоватые, длинные. Сломана плеть. Страсть и ярость не украшают лицо человека. Не зная что сделать, как излить силу, вскипевшую в нем, силу и страсть, – ударом ноги подбросил подушку. Белый дождь пуха и перьев засыпал Сату. Ниже и ниже клонилась косынка, расшитая золотом, глубже и глубже пронизывали очи ковер.

«Корень с пятью перстами, не ко мне, к Наныке повлек ты сердце мужское. Так, хорошо, погоди же, Темир, мой избранник, Темир, мучитель мой ненаглядный».

В ту же ночь, на рассвете, по окропленной кровью тропе отошел к предкам Эль-Мурза, Кушбиев отец. В ту ночь исчезла Наныка, невеста Кушби, Наныка – Темирова милая – появилась в ауле. Многое множество судеб переплела ночная пляска Наныки – не развязать клубков, не распутать...

Побелела борода Барзона. Вокруг рта – янтаря кольцо от табачного дыма. Забыта гребенка из кости, заброшена, не нужна старику. Всклокочены волосы – метут стол дубовый, топором отделанный, выглаженный веками. Разлита буза на столе – мокнут вихры волос, не пугая трудолюбивых мух, сытых, с толстыми брюшками. Мусса и Джемал сидят по сторонам владыки. Круглее хлеба живот у Муссы; совсем одряхлел, раздался на части острозычный Джемал. Выливает бузу, кованный ободок чаши больно щелкает беззубые десны. Но не устает в рассказах Джемал.

– Вот как было, друзья, так это было со мной, на охоте. Кто не поверит – тому не завидую, а я и вранье – непримиримые воины. Перед началом весны пошел я посмотреть на оленей. Ай, радость услышать самочий рев. Ружье-одностволку держу на плече, иду перелеском. Вдруг – вот как близко вижу тебя, дружище Мусса, так вижу свору волков. Стрелять? Одной пулей даже Джемал не уokoшит две дюжины серых. Бежать? Ай-йю. Я кинулся наземь, омертвел – не от страха, бесстрашно сердце Джемала. Но слыхом слышать – не трогают мертвого звери. Впереди, как будто султанша, двигалась самка-волчица, за нею, роем, самцы. остано-

вилась, ткнула носом в тулуп, – я сказал: «Нет иного Бога, кроме Тебя, мой спаситель Аллах...» Тьфу, пакость! Стыдно признаться, но должен, чтоб поняли, дальше что было. Вдруг, говорю, присела «султанша», как приседает на куче навоза паскудная кошка... – и... что ж объяснять: я, Джемал, первейший танцор, наилучший охотник аула, я перенес то, что куча навоза под кошкой присевшей. Тьфу и тьфу – сколько было проклятых самцов в этой своре, каждый, проходя, ногу задрал надо мной. Пошевелиться не смел оскорбленный Джемал – так и лежал, притворившись покойником, под смрадными струями волков...

– О-хо-хо-хо, – изволил рассмеяться Барзон.

– Кха, – отозвалось это в Муссе.

– Но это не все... Вот где мученье я испытал – совсем не в лесу, а в ауле. Вообразите себе: только вхожу на околицу – сотни псов на меня. Я их палкой, прикладом ружья – они меня зубастыми пастями. Пропадаю! Кричу! Слышу хруст своих же костей, кровь хлещет – конец, одним словом. В этот миг Аллах надоумил меня: сбрось тулуп – ведь волчьим смрадом несет от тебя за версту...

Отхлебнул кисло-сладкую крепкую жидкость, подбоченился:

– А то было еще приключение...

Повернулась тяжелая дверь, железом окованная. Сухощавый, высокий, как жердь на стогу, с горбинкой на длинном носу, переступил порог Эльдар-бек. Агелик, юноша скромный, – за спиной своего покровителя. Задержался малое время Эльдар. «Так вот каким стал владыка Барзон, – эта мысль отразилась в очах. – Вот с кем дружит старший Кадаев – странное общество выбрал: враль и подлиза Джемал, ленивый буйвол Мусса. О Орсундах!»

– Приветствую старшего брата, – сказал Эльдар-бек, подходя к Барзону. – Встал Барзон, и гости его поднялись. – Прошу извинения, вижу, нарушил беседу. Важное дело. Смею сказать?

– Садись, Эльдар-бек. Отведай хлеба-соли Барзона, прими чашу бузы.

Покорный обычаю, вылил Эльдар несколько капель из чаши – в память усопших Кадаевых. Отпил малую малость, съел краешек хлеба, посыпанный солью в кристаллах. Покончив с обрядом, выпрямил спину, твердыми пальцами чашу воздвиг – так делают горцы, держащие слово:

– Барзон! Знай, не Эльдар, сын Решид-хана, свойственник рода Кадаевых, – посланник народного гласа с тобой говорит. Знай и то: ропот народа страшнее лязга мечей битвы жестокой. Ты отдалился от дел, всем

управляет Темир. Никогда не бывалое сделалось явью. Как молодому отданы возжи, старый отрекся от власти? Разве забыл ты вечную истину: опыт мудрее рассудка? Опыт мудрее, ибо не есть ли он тот же рассудок, умноженный деланьем? Безмерны мечтания юности, неукротим молодой задор. Мимолетный каприз, воображенья игрушка манят юную душу к баснословным виденьям, манят и ведут, а юные души – так уж бывает – понуждают идти за собой. Куда и зачем? Какою дорогой? Не лежат ли провалы между виденьем ума и родом людским? Не высятся ль горы непроходимее наших? О, как прокаженный забывает заразу, разносимую им, так забывают вздорные юноши о таинственных смыслах, разлитых во всем бытии – нам, смертным, недоступным вовеки. Вот почему было и будет: священный истинный посох правителя – мудрая мера во всем. Мера не значит топтание на месте – мера ведет и указывает путь. Мера учит, исправляет недолжное, мера внушает различие зла и добра. Что же мы видим здесь, у себя, в Орсундахе? Прости – стары мы оба, в могилу глядим. Не побоюсь сказать горькую правду: ты отдал аул на зловолье Темира, Темир не управляет аулом, он ездит на нем, гарцует, как пьяный разбойник на краденой лошади. Иссякает терпенье у горцев. Не забывайтесь, Кадаевы. Перебить трех Леуановых не было трудно. Ляжет прахом Кадаевых башня, если дерзкой пятой раздражите народную гордость.

Белее мела лицо у Барзона. Кулаки, сжатые судорогой боли, лежат на пролитой бузе; три мухи – расплющены брюшки – прилипли к ладоням. Ах годы! Походят на кислоту ядовитую – крепчайшую медь делают мягче воска; от стального клинка – кружево дырок да щепоть ржавчины остается. Ах годы! Когда-то одним взглядом надменного ока поражал насмерть Кадаев Барзон. Ныне, видно, больше мучнистой бузы, нежели крови в жилах владыки. Так бывает: подбросит мельник мешок на плечо, с песней веселой идет к жерновам. Позже, уже без песни, с натугой тянет такой же мешок, отдыхая на каждом шагу. Наконец, приходит мгновение: беззаботный крестьянин свалит мешок на спину дряхлого мельника; дрогнут колени, надломится стан – вот стонет мельник в пыли, под мешком.

– Кому говоришь, – через силу промолвил Эльдару, – нет здесь никого, не считая Джемала, Муссы, да тебя. Нет здесь Барзона. Скажи людям: умер Кадаев Барзон. Тень Барзона прячется под сводами старых камней. Дайте ей, дайте спокойно растаять во мраке ночном – вот она, ночь, я вижу, ночь поглощает Барзонову тень.

Свалилась папаха на стол, на дубовый, из досок, толщиной в руку, обтесанных грубо, веками разглаженных. Голова зажата в ладони, три мухи – грязная внутренность вылезла, капельки крови – между ладонями; между кожей ладоней, вспотевшей, и лбом, омраченным навязчивой думой:

«А блеск нашего имени... Зерна-тела в борозде Смерти... Тень Барзона растает во мраке ночном. Блеск имени».

Темир на коне. Косоглазый Абу в трех шагах позади. Объезжают аул – есть ли еще смельчаки, ослушники, есть ли кто в Орсундахе, не пославший скотину на берег реки? Несколько горцев, старых и юных, между ними Эльдар с Агеликом, бродят аулом. Тихо и сумрачно под навесами каменных саклей. Против воли народа принудил Темир подвергнуть скот очищению. Но, значит, время открытой вражды еще не пришло. Горцы прокопали подземный проход – от крутого берега речки к пастбищу прорыли узкое русло. Согнали скотину, всю, кроме той, что уже передохла: овцы к овцам, коровы к коровам, что давали удои для домашней потребности. На другом берегу разместили стада: сначала водой, после огнем исцелить обещает Темир.

Старцы, опираясь на палки, беседуют, наблюдают картину: два плетня через речку от берега к темному устью подземного хода; мулла с двумя сохтами над серединой этого хода; готовы всегда молиться они, пусть их молитва поможет скоту.

– Там, под тем местом, где стоит духовенство, там вырыл яму Темир, – со значительным видом старец старцам объясняет как будет и что, – в яму посадят черную кошку, лапки кошачьи золотым шнурком оплетут. Поверх ямы, так я слышал, бревна положат, засыпят землей, а над землей разложат костер. Скотину сперва погонят вброд через речку, плетни не позволят избегнуть подземного хода. Понятно, задний баран всегда головой толкает переднего – вот и придется бедняжкам скакать через яму, со связанной кошкой внизу, огнем наверху. Бог мне свидетель, отродясь не слышал про такое лечение. Однако, твердят адыгейцы, друзья Темира Кадаева, вода и огонь изгоняют мор из скотины. Бог мне свидетель – не знаю. Осуждать никого не хочу. Верить? Увидим, что будет. Воля Аллаха проявляется разное.

– Горцы, горцы, – вздыхает еще один старец, – веселое время, до слез веселится душа. – Сняв папаху, пот оттирает с плешивого черепа. – На старости лет подчиняться капризам вчерашнего дитяти... Ведь я в колыбели Темира качал. Теперь качают его ум адыгейцы.

– Да, не поняли мы кого погребаем, когда погребали Леуановых братьев: свободу горцев.

– Так это. Так.

За полдень перекатился солнечный шар. Наклонный луч, пронизав низкое облако цвета расплавленной меди, осветил верхушку Леуановской башни – долго, долго сияла слюда, вкрапленная в камень. Люди заметили чудо, отгадать смысл не могли. Лишь впоследствии, связав в памяти происшествия этого дня, уразумели значение символа – к тому времени много воды прожурчало над валунами речного дна.

Мимо ограды Унараевых дома едет Темир, кончает осмотр; Унараевых дом крайний к лесу стоит. Зорким взглядом – как у ястреба очи его, с желтизною и чернью, – зорким взглядом увидел тура-детеныша возле крыльца Унараевых дома, там заметил ослушание воли своей. Да, конечно, тур – не овца, не корова. Но тур и не конь. Сказано ясно всему Орсундаху: кроме коней и ослов, всю скотину гоните на берег.

– Микраэль! Хамзат! Айтек! Три брата, три Унараева в отчем доме живут – не разделили имущество предков, все трое в отсутствии. Летнее время – на кошу трудится горец летом. Никто из троих не выходит на зычный Темиров зов.

– Эй, кто тут есть?! – Горячится конь под седоком: чует кипение ярости господина сердца. Несколько горцев, старых и юных, между ними Эльдар с Агеликом, бродя по тиши аула, услышали крик. Отсюда, из улочки, видят – мелькнула женская тень на крыльце Унараевых. Видят далее: больной юноша, с похудевшим желтым лицом вышел во двор: Тотур Унараев принес лихорадку с южного склона хребта.

– Зачем не погнали туренка к реке? – буревая мощь в Темировом голосе.

– Всех дойных коров и овец погнали. – Слабость больного – оправдание юноши. Вдруг снова ясноцветная тень на крыльце. Нежный голосок, нежный и звонкий, звонче самой пронзительно-звучной струны от скрипки-кобуза, девичье бесстрашие в нем, насмешливость девичья – нет для мужского гордого сердца горше насмешки:

– Тотур, скажи там, кому знаешь, Тотур, милый братец двоюродный, это скажи тому, кто не знает: мой хроменький тур – не овца, мой Ахсак *, так скажи, не похож на корову.

* Хромой.

Как бывает в природе – среди грохота грома иль обвала отвесного кряжа в пенистую воду вдруг засвистит, защебечет голосистая пташка, вдруг подкинет трель вопреки грому и грохоту, вдруг запоет; и та песня побеждает беззаботною легкостью тяжеловесные шумы грозы иль обвала. Так девичий голос вознесся над спором мужчин.

– Я, Темир, приказал всю скотину погнать, всю, кроме ослов и коней...

Не отбушевал еще грозный приказ, снова льется, снова как будто шалит металлически-ясный девичий голос:

– Оу, Тотур, оу, не знаю, с кем говоришь на дворе, только то знаю, об этом скажи, миленький, это вот знаю наверное: мой Ахсак – тур и сын тура, нет ни капельки ослиной повадки у туренка Ахсака, это, братец, скажи: сын тура – туром бывает всегда, сын же ослиный – ослом.

Из-за прикрытых тканью окон вырвался смех – кто не знает: сквозь кисею смотрят горянки на двор; великая радость женскому роду – острое слово – стрела в сердцевину мужского чванства. Смех, как огонь по соломе, из окна пролетел на желтые щеки Тотура, отсюда – минувя Темира с Косоглазым – пожаром разлился по улочке малой. Старые горцы и юные дружно смеялись. Только один Агелик, очарованный музыкой девичьей речи, один он внимал, не смеясь, серебристому пению птички Унараевых дома.

Черная кровь с пеной багрового цвета помчалась, метая фонтаны из желчи, вокруг сердца Темира. Поднял пистолет, в голову тура направил – Ахсак, детеныш еще, терся головкой о выступ крыльца, ласкаясь на звуки хозяйкиного голоса.

– Тур пойдет в общее стадо, – злоба душила гортань, не пропускала слова, – или останется здесь... здесь, с пулей в башке.

После бури, после обвала тишина бывает в природе. Смех оборвался. Не поет уже птичка, не мелькает пестрая тень на крыльце Унараевых дома: тонкий плач струится оттуда, едва слышен прерывистый лепет:

– Ахсак... не может... идти... задавит скотина хромого... о-ле-ле, о...

– Дзеннетта, – Тотур повернулся к крыльцу, – хочешь, я лягу на тура хромого. Пусть стреляет.

Не очень высока ограда Унараевых дома, не очень низка – по грудь человеку. Не каждый конь перескочит ее, редкий горец сумеет одолеть ограду из обломков скалы. Вот две сильные руки оперлись о нее, вот ноги-пружины подкинули гибкое тело – весь Агелик во дворе Унараевых

дома. Как должно воспитанным горцам, поднял правую руку к груди, опять опустил:

– Пошли Бог добро этому дому, – сказал. – Тотур, не ложись на тура хромого. Я, Агелик, домочадец Эльдара, я обещаю (громче, чтоб слышали все, и те, что за тканью окошка укрылись): как понесу в стадо Ахсака, так принесу во двор, на это же место.

Поднял тура на шею – на хребте носит пастырь овцу заболевшую, – не глядя по сторонам, к реке зашагал.

– Видно, дорого стоишь ты, хромоножка, – беседовал тихо с туренком, – омыли судьбу твою девичьи слезы, рыдания Дзеннетты принадлежали тебе, счастливец Ахсак.

В Унараевых доме опять вспыхнули звуки и шум. В улочке тесной гудело, как в улье. Горцы хвалили сметку пришельца, одобряли поступок его. Просвистела Темирова плеть, копыта коня застучали. А там, за тканью кисейной, кружилось ясноцветное платье, обвивало стройные ловкие ноги, увлеченные тактом новорожденной песни:

Я Дзеннетта-горянка,
Я сказала Темиру-владыке:
«Тур тура рождает –
Ослиный отец осла...»
Ха-ха-ха – так сказала я,
Дзеннетта...

Столетняя бабка, вдова Чорттая, загнутым концом клюки притянула Дзеннетту к себе:

– Девушка, тебя спрашивают: кто тот сокол, взявший тура Ахсака?
Вырвалась повторно из холодных, из цепких старушечьих пальцев:

Ястреба хищные когти,
Смелый полет соколиный –
Спрячт они:
«Заклюю!» – ястреб кричит,
«Охраню!» – сокол кричит...
А я, Дзеннетта,
Я пою: ха-ха-ха...

– Агелик тот сокол, – роняет в бабкино ухо, снова кружится, снова поет.

...Дым валит из отверстия – конец подземного хода, с краю пастбища. Темир на коне, с ним Абу Косой – по сторонам пологого выхода. Три всадника – адыгейцы, друзья Темира, порабитители Орсундаха, разъезжают вблизи. Несколько горцев, молодых и старых, между ними Эльдар. Ждут – вот-вот выйдет скотина из хода. На другом конце хода, где река, столпотворенье великое. Мычат и бьются коровы, чуют горелое: запах паленой шерсти щекочет мокрые ноздри. Овцы, беспорядочной кучей, текут и текут, как поток грязно-серый. Уже проскочила передовая волна над огнем, задние прут, толкают передних. За последним рядом овец, к соблазну, к недоуменью горцев, идет человек. Сгорбился – низок подземный свод. Совсем сломал поясницу – не о себе, о хромьёном туре заботится – тур на плечах. Пыль, чад, зловонье сожженных копыт, кромешная тьма, а во тьме чуть светятся угли разметанного костра. В середине пути показалось – мяукает кошка, нет, обман слуха: гам и блекот овечий, drobный топот скачущих ног закрыли уши, как втулкой; нет-нет, только так показалось. Под ступнями траву Агелик осязает, сверканье вечернего солнца режет глаза. Потом огляделся – Эльдар-бек впереди:

– Вот я, – радостно выкрикнул, – вот и Ахсак, тур исцеленный.

Ведь только к Эльдару речь его относилась. Пыль и сажа осела на брови, ресницы слепила – только Эльдара и видел, почтенного старого горца.

– Му-му-мууу, – протянул знакомый голос. Было явно – Агелику в ответ промычал. Агелик обернулся. Остроносое, хищное, злобное – вот что увидел. Если б мог ястреб смеяться – был бы таким, как Темир. Абу с косым глазом, потом три адыгейца смех поддержали. Молчание сковало горцев уста.

– Будьте свидетелями, – Агелик ставил слово на слово, как каменщик камень на камень, – я с ним сосчитаюсь. Слушай, ты, обещаю: увидишь еще какой скот Агелик.

Сказал, отошел к Эльдар-беку. Пятеро конных: два горца, три адыгейца по левую сторону подземного хода; несколько пеших, старых и юных совсем, по правую сторону.

– Что с ним сделать, – над длинными зубами желтоватого цвета взъерошены яростью копыта-усы, – посоветуйте, други, клинок или пулю выслужил дерзкий? – Пистолетом играл, говоря.

Меряли глазом силы друг друга – эти и те – по сторонам зияющей ямы. А из ямы – подземного хода – вслед за коровами вышел пастух.

Очумевшая черная кошка трепещет в руках, золотой шнурок держит когтистые лапки.

– Знаешь, – ленив шепот адыгейца-приятеля, – брось пешеходов. Есть пословица: «Конный и пеший врозь разошлись».

Угрюмо слушал Темир.

«Брось пешеходов. Конечно, дойдет ли до боя сейчас – не поспеет адыгейская помощь. Это хочешь сказать». Повернулся в седле:

– Эй, пастух! Развяжи кошачье отродье.

Задом попятилась кошка, жмуря глаза.

– Отойди, – крикнул Темир пастуху. Грянул выстрел – на зверьке, замученном страхом, выместил злобу свою. Брызнуло алое, по черному бархату skóry пролилось. Смеялись друзья-адыгейцы меткому выстрелу, лаял Абу. Горцы – горцы молчали.

Праздник быка

Никто еще не сказал, как падает мор на скотину. Мор походит на дождь в середине весны: из неведомой дали вдруг туча примчится; небесные хляби, потемнев, как человек в несчастье, уронят обильные, частые слезы; через малое время, опять без ясной причины, улыбнется мрачное небо, раскинет синий шатер с золотистой маковкой: нет дождя. Так и мор на скотину: был и ушел, и нету его в помине.

Иное – и грустное – зрелище является между людьми. Губительней мора, внезапно, без очевидного повода, как бы молния с неба упала, возникает в общине людской травля многих против немногих; чаще на слабых, на беззащитных направлена травля сия. Неприязнь – родная сестра заразы: ширится, буйно цветет, убивая живое смертельными ядами; не заботясь о праве и правде, белое черным пятнит, муху в слова превращает. Неприязнь и травля хуже скотского мора. Где нет доказательств бесспорных вины – творится легенда. Маленький желудь, проступив общим усилием злобы, разрастается в дуб многолистый: с каждого листка капает яд.

– Какое нам дело до намерений Саты, – аульская кумушка излагает куме, – вот что мы знаем наверное: отец Кушби, Эль-Мурза, зарезан на ниве своей, убийцы вышли из ведьмино дома. Знаем и то: спятил несчастный Кушби, помешался. Горская женщина тысячу раз позволит рассечь себя на куски, дочь своею рукою убьет, но не разделит с ней ложе. Пусть не Темиром, Харун-аль-Рашидом будет возлюбленный – все равно честная смерть выше низменной жизни. Сата предала Темиру Наныку – это мы знаем наверное. А всякие басни про то, будто бы бросил Темир красавицу-ведьму, будто бы месть присягнула она, – эти игрушки детям отдайте: мы, женщины, цветущие в год тринадцатикратно, в согласии с фазами месяца, мы вот что знаем наверное: не откажется козьего стада хозяин-самец ни от той и ни от этой вот самки.

От пересудиц и кумушек заразились горянки неприязню к Сате, от горянок заразились и горцы. Раньше, бывало, подчиняясь обычаю дедов, снисходили к вдове. Не просто затем, что благословляет Аллах сочувствие сердца к сиротам, поле Саты убирали, возили дрова ей из лесу, помогали в хозяйстве вдовы. Теперь ни один не протягивал мощную руку: «Пусть просят Темира; он владыка аула; разве не могут красотки-кахме вымолить плату за любовные игры?» – так судили они. А другие, покачав головой, добавляли: «Если бы только Темир – сам дьявол Эблис, слышно, в дружбе с Сатой и Нанькой...»

Но странное дело: если случалось в горской семье затруднение, если иссякало коровье вымя, если гад ужалил ребенка, если роженицы кровь очищения не имела конца, если сомневался в невесте жених и если девичий сон походил на пророчество – все звали Сату, все искали внимание ведьмы, все – вечерней порой, чтоб соседи не знали, – спешили в одинокий дом на пригорке. Наговором и травами врачевала Сата, тайный совет подавала, объясняла видение сонное. Боязнь и презренье ее окружали. Страшились мощи колдовской, ненавидели женскую слабость. Сата-ведьма парила над людскими умами; Сата, вдова Кармакая, Нанькина мать, – пресмыкалась под ногами в грязи.

Даже Темир, своевольный горец, сатрап орсундахский, и тот против воли испытывал странную мощь отверженной женщины. Даже Темир, под видом забавы ребяческой, но с дивным трепетом в сердце – жар и холод, одно за другим – даже Кадаев Темир просил Сату гадать иногда.

– Есть где-то на свете девица, – сумрачно молвил. – Ясноцветное платье на ней. Не ходит, танцует она постоянно. Не говорит, песню ладит из слов, нужно не нужно – такая повадка ее. Лицо у нее с кожей прозрачной. Легкий отсвет зари на щеках. Голос звучит, как кобуз, когда мастер седой о первом солнце любви на нем заиграет. Черные блески в глазах – не знаю: невинная девичья радость или, может быть, смех беспричинный, так или этак, – глаза чародейную власть излучают. Высока, как тростник; детски-малые руки так и порхают – мотыльковые крылья. Что же еще? Да, спроси своих джиннов волшебных: верно ли, будто есть жених у нее?

Сата послушна. После памятной ночи полслова упрека Темиру не бросила. Сата покорна: говорливая страстная женщина в ней умерла, посмотришь снаружи – немая раба. Сата мягче ковра под ногами, податливей воска. Но не ошибись, надменный Темир: на дне тихого омота жддут беспечную рыбку острые челюсти щуки. Вспомни, не знающий жалости:

прячутся в непроходимой трущобе кровожадные тигра глаза. Изменник Темир, обидчик Саты и Наныки, прислони ухо к колодцу, присмотрись хорошенько – ничего не видишь, не слышишь? Так. Хорошо. В черных кольцах лежит, ожидает змея, там, в глубине; безгранично терпенье ее, беспредельна жажда отместки. Тихим свистом шипящим она не тебе, себе обещает: «Мой час меня не минет...».

С первых слов Сата угадала: Дзеннетта пронзила Темирову думу, Унараевых дочка. Сколько горестных мук пережила б Сата, если б до памятной ночи, до пляски Наныки узнала об этом. Ныне старательно прячет улыбку довольства; личиной покорной услуги ее затеняет.

Пестрый платок развернула на низком столе: тот платок – жизнь человека. Светлое в нем – радости сердца, семицветная радуга счастья; темные полосы промеж светлых узоров – яд, и муки, и гибель, и – что горше всего – ад на земле: смерть души в неумершем теле... «Ты, Темир, ты разметал радугу жизни моей; это ты меня и Наныку, живыми, отдал земле...»

Привычной рукою, послушной и ловкой, горсть зерен фасоли по платку раскидала – те зерна выбраны тщательно, одно из тысяч пригодно к гаданью; тринадцать зерен всего: это – белое с черными точками, то – будто запекшейся кровью измазано, еще какое-то – в крапинках... а есть и угля чернее, есть белее известки.

– Вот, Темир, наблюдай. Путь звезд, и месяца тоже, от востока направлен к закату. Человеческий путь ведет от возрастанья к упадку. Это большое зерно с белой скорлупой – это месяц, двенадцать других – двенадцать созвездий небесных на платке повторяют. Не мне, ничтожной горянке, судьбу предрекать – я могу лишь то объяснить, что судьбою вложено в зерна. Видишь, слева – восток, вправо – запад. Зерно-месяц упало ниже черты, проведенной слева направо. Из двенадцати звездных зверей – три выше черты горизонта, девять упало под нею... Дивное знаменье... клянусь, я не знаю: смею ли все рассказать?

– Говори без утайки. Не то... ну ты знаешь: не следует сердить Темира.

Недоверчиво, хмуро глядит на зерна и пестрый платок. Разум не хочет признать чародейную силу фасоли – вопреки всякому смыслу, невольно объемлется сердце зловещим предчувствием.

Сата продолжает:

– Змей, брат Скорпиона, это было от века Кадаевых знаком – смотри, зерно Скорпиона на самом низу, ниже уж нет ничего... Если б хоть месяц упал над чертой горизонта, не смутилась бы я Скорпионом. Но когда одновременно то и другое, ах, не вижу добра. А рядом, следи куда

палец веду, рядом Весы, за Весаами – знаменье Льва. Иными словами: колеблется чаша победы между тобою и сильным врагом. Если теперь ты согласишься на Рыб, знак Близнецов разгадаешь, если...

– Довольно! – по-темировски, с сердцем воскликнул. – Что ты болтаешь о рыбах? Пусть передохнут все близнецы. Где же гаданье о девушке? Ты про девушку мне расскажи.

Как знает песенник песню, как знает, какое слово с каким идет в черед, так прозревала Сата в Темире каждую смену погоды души. О-ле-ле. Ведь все это – о Скорпионах, Львах и Весах – это только присказка. Сказка же, милый мучитель, сказка еще впереди.

– Вот она, девушка, здесь, наверху. Это зерно с полосой цвета созревшего колоса, это – Дева. Рядом Агнец сияет, Агнец – знак чистоты, плодородия, удача во всем. Теперь понимаешь, Темир, мое колебанье. Признаюсь, мне страшно глядеть. Но зерна не лгут... Нет, той девушки ты не получишь. Сила Львов, милость Агнца ее охраняют. Утлому Змею, хоть он и лукав, и бесстрашен, не овладеть девушкой той – и если б был он крылатый, как руки ее – мотыльки...

Серый пепел заботы на лице ведьмы Саты. Под пеплом огонь торжества. Не сказала – подумала только, содрогаясь в радости тайной: сильные Львы – мужи Унараевых рода, благостный Агнец – нареченный жених Ансар Таулуев. О-ле-ле.

Темир откинул спину к стене. Под усами твердыми копьями блуждает усмешка. Прямые стрелы-ресницы скрывают задумчивый взгляд. «Бабы бредни это гаданье, – так размышляет. – Не испугают звери меня, а люди – те сами боятся Темира. Сата просто не знает о чем говорит. Какие-то львы, овцы». Внезапно видит: странные искры сверкают в Сатином взоре. О, кажется, баба лукавит. Что если она ведьма взаправду? Дьявола козни бывают различны. Весь аул убежден: знает Сата с Эблисом. Снова чувствует гордый владыка противоречие разума с сердцем. Разум смеется, над сердцем холодная тень.

– Отвечай без уловок, – железными пальцами давит ведьме плечо, – отвечай, если действительно знаешь: кто эти львы? Дева кто? И кто агнец? Ответишь по правде – золото дам. Солжешь – пеняй на себя. Мой Косоглазый умело стегает скотину.

Сата дрожит. Не боязнь – торжество вскипает в крови. Ведь и охотник удачный, когда видит в ловушке опасного зверя, трясется. Есть разная дрожь: от нетерпенья и страха, от любви и восторга. В Сатиной дрожи – восторг:

– Унараевых знаешь? Весь род волосатый, львиные гривы на их головах. Поэтому Львы – Унараевы. Теперь и Деву ты отгадаешь: Дева – Дзеннетта, дочь Микраэля...

Запнулась – но и это молчание минутное взвесила Сата: внутренним оком следит за душевной погодой Темира.

– Ну, кто агнец? Знаешь его?

– Так, как и ты.

– Кто он? – Дергает ус, обнажая желтоватые зубы: признак волнения. Сата медлит еще, потом шепчет:

– Тамга * Таулуевых, владык соседней долины, – бараньи рога. Ансар Таулуев – вот кто Агнец, Дзеннеттин жених.

Расхохотался Темир. Кажется – выиграл ставку, так он счастлив на вид. Но знает Сата обычай Кадаева-младшего: чем свирепей скребнут когти заботы, тем бешеней смех. Знает и то: большие препятствия расстравляют, хлещут Темира... Там, где конь благонравный отыщет тропинку и выйдет потом на дорогу прямую, там конь дурноезжий наверное голову сломит...

– Ансар. Безусый мальчишка, карлик ростом... слабогрудый щенок... Ведь это он купается каждое лето в серном ключе под перевалом? Ансар – Дзеннеттин жених?

Так глумится, чтоб слышала Сата, чтоб знала: Темир выше всех, нет соперников, равных Темиру. В мыслях подсчитывает: Микраэль Унараев с двумя братьями, пятью сыновьями; племянников, кажется, семь или восемь; у каждого есть побратим-аталык – нет, не так просто выглядит дело с Дзеннеттой. Ансар Таулуев – сын владыки соседней долины! Если верно, что он жених Унараевых, – перебежчики в стане врага. Брожение умов в ауле начнется – Орсундах не любит Кадаевых. Кто за Темира? Абу Косой, несколько горцев из тех, что когда-то обагрились леуановской кровью, да еще адыгейцы. Но безумие – верить адыгейцев поддержке: дань собирать – это умеют; воевать под Кадаевым стягом? Да, девушка, да, Дзеннетта – насмешница, так это есть: десять волков бегут за волчицей, девять погибнуть должны, один победить. Десятым будет Темир.

Думает, смотрит на зерна, на пестрый платок. Месяц-зерно и девять зерен-созвездий лежат под чертой, три – выше: Дева и Агнец, Дзеннетта с Ансаром...

– Га! – склонился над зернами. – Плутуешь, негодница! Что это здесь? Кто третий лежит над чертой?

* Тавро.

Сата обомлела. В увлеченье опасной игрой сделала промах, как видно. Самый меткий охотник, если охотничья страсть замутил его взор, впадает в ошибку: целя в фазана, ветку ломает. «Кто же третий?» – спрашивает ведьма себя.

– Как хочешь со мной поступи, – говорит, – хочешь, убей; я выдохну дух с облегчением: не знаю – кто третий. По законам гаданья Быком называется это зерно. Но значенье Быка угадать не умею.

– Так, – выпрямил усталую спину Темир. – Так, гадальщица. Теперь сама признаешься в обмане. Грязной метлой вымети зерна свои – ломаный грош им цена.

Вышел из сакли. Наныку будто не видел – в полном убранстве стояла она за дверью. Вышел, крикнул Абу. Оба прыгнули в седла. Оба хлестнули коней. С места сорвавшись, кони стремглав полетели – ястреб и ворон. Отерла слезы Наныка, вошла в комнату матери.

– Мать! Он клялся когда-то, что любит плясунью Наныку, мать, он говорил – на земле и на небе неразлучны Темир и Наныка, мать, он ушел без единого слова, мать, слышишь меня, мать, я... кажется... матерью буду.

Медленно, медленно движется оползень. Величина ледника такова: десять в длину, верста в ширину; высота – две башни, одна над другой. Две башни – две высокие, те, что стоят в Орсундахе: Кадаевых башня в середине аула, Леуановых – с краю... Медленно, медленно движется оползень льда: два-три локтя за год, два скорее, чем три.

Еще медленней поднимает Сата взор на Наныку. Округлились, затуманились думой глаза. Погасли искры опалов: синий холод льда под бровями, под темными. Ничего не отвечает Наныке. Тихо шепчет:

– Бык возле Девы и Агнца... Бык: что он означает?

Праздник весны в Орсундахе, *День Божий* – *Хычауман* называют его. Вместе празднуют все: природа и люди. Нет священнее праздника в целом году. К Божьему дню каждый готовит свой дар: солнце – тепло, ликование весеннее; небо – сплав бирюзы и сапфира; горы – парчу из бриллиантовых блесток; леса, травы, кустарники, деревья в садах, даже мхи и лишай на скалах – все одеты в убор из смарагда, все шлют аромат обновленной жизни навстречу Божьему дню.

Канун праздника. Аульские трубы под черными шапками дыма. В каждой сакле режут барана, в каждой жертвуют курицу с желтыми перьями славе и милости домашнего бога. Тот невидимый бог меняет

присутствие: если не в цепи железной, задымленной, что держит семейный котел над огнем, значит, в щели под порогом таится: там или здесь. Цепь – символ единства и связи всех поколений, порог равен в святости ей – ибо живые и мертвые при входе и выходе в саклю переступают порог. Кровью жертвенной курицы кропят цепь и порог: будь милостив к нам, боже домашний, будь милостив к нам. При этом огне и над этим порогом клянемся: мы все, предки, потомки и ныне живущие, не устанем славить тебя.

Пять труб в домах Унараевых, пять очагов, пять цепей и порогов священные. Дом возле дома стоит – несокрушимая крепость. Двор возле двора – от середины аула прямо к лесу можно пройти по дворам Унараевых. Дом, что стоит на краю, – Микраэля, старшего брата. Домашний бог Микраэля считается старшим в сонме семейных богов. От первого предка – Унарай имя ему – до Чорттая, отца Микраэля, Хамзата, Айтека, все старшие в роде этот дом для житья выбирали. Но дым валит из пяти очагов.

Столетняя бабушка, Чорттая вдова, сидит в середине покоя с камином. Жена Микраэля, Даха, месит тесто. Жены внуков и внучки, между ними Дзеннетта, разноцветными птицами снуют туда и сюда. Чорттая вдова плохо видит, не слышит почти ничего. Не нужно ей видеть и слышать: столетней привычкой, без ошибки, правит ритмом домашней стряпни.

– Для светлого Божьего дня, – говорит, – не жалейте, девушки, масла. Все женщины в нашем роду знали толк в печении пышек. Кажется – дело простое: мука да вода с молоком, яйца, масло, творог или мясо... Кажется – возьми и испеки, дело готово. Ай, велико заблужденье! Божий день, *Хычауман*, желает особенной пышки. Мы говорим: *хычауаг-хычин* – это значит *пышка, достойная Бога*. Подумайте, девушки, только: пышка и Бог – может ли Бог пышкой заняться, за пышку судить человека? Да, может. Может, я говорю. Ибо хлеб ежедневный мы поедаем для силы своей. Священную пышку не едим, но вкушаем, не в пользу брэнного тела – во славу Бога бессмертную.

Старая бабка, Чорттая вдова, плохо видит, не слышит почти ничего. Но, значит, помимо ушей, сверх зрения нити живые связуют живое с живым. Первой бабка почуяла нечто: может быть, топот или шум голосов. Подняла руку сухую, палку с крюком на верхнем конце. Так полководец перед воинов строем знак подает: что-то случилось.

– Взгляни, девочка, – просит Дзеннетту, – кажется, есть чужой во дворе.

Как пламя свечи, когда ветер подует, так быстро метнулась Дзеннетта к крыльцу. Как маленький мальчик, когда нашалит и боится, так тихо и робко вернулась:

– Приехали гости, кто приехал – не ведала. Кони стоят во дворе. Один конь караковый, с белой звездой на челе. Чей это конь, я не знаю.

Застыдилась, стала тоньше, прозрачнее. Нежная тень легла на лицо. Девушка, будто за делом, в угол ушла, села на ларь и застыла. Даха – Дзеннеттина мать, тетки и сестры – все женское племя без удержу вдруг рассмеялось.

– Глупая мышка, – тетка Фуза сказала, – вот надулась, как мышь на крупу. Подумаешь, скромность какая: не угадала коня со звездой. Ансар Таулуев приехал. Бабушка, слышишь, о ком говорим?

– Слышу, – ответила строго старуха, – слышу и смех – он не у места сейчас. Дзеннетта, ясная ласточка, я всегда предрекала: ты будешь разумнее всех. Ты стрекоза, это верно. Много шалишь, еще больше над людьми потешаешься. Слишком острый язык у тебя. Но сердце, чистое горское сердце, скромно-стыдливое, любовью богатое, правильно бьется в груди. Так же и я, увидев Чорттая, бывало, горю от стыда. В этом и есть, девушки, разница между скотом и людьми. Скоту все равно – жених не жених, только бы страсть утолить. Божий дар человеку – стыд и любовь. Подойди ко мне ближе, Дзеннетта, присядь, дай косы твои расчесу.

Три и семь – счастливые числа, кто не знает об этом – пожалейте того. На три равные доли, на три темных потока разделила прическу сперва. На семь кос – в каждой три пряди – каждый поток заплела. Двадцать один – число совершенства, ибо делится на семь и три. Это не все: число совершенства еще одну тройку прячет в себе. Двадцать один – два и один – сложи и увидишь тайны число. Бабушка знает: мужское и женское сами в себе не дают ничего. Бабушка шепчет:

– Мужское и женское, слитые вместе, есть два и одно. Два и одно, при милости Божьей, троицей станут, троица есть святое число.

...Входит Тотур, статный, веселый. Открыл рот – пламя очага заиграло на белых зубах. Сказал – эхо дружной мужской беседы, что вели в кунацкой Унараевы с гостем, отозвалось в словах:

– Ансар грозит: пойду к Барзону, там всегда еда на столе. Что вы, женщины, хотите голодом выгнать Ансара?

Тетка Фуза на это:

– Все вы идите к Барзону. Мужчины одинаковы все: пить, есть, курить, до утра разговаривать – вот ваше дело. Посмотри – гору пышек-хычин надо испечь. Вы в кунацкой будете в забаве тонуть, мы здесь, в дыму очага.

Чорттая вдова:

– Пойди к мужчинам, Тотур, объясни хорошенько: женщины просят прощения. Не каждый день канун Божьего дня. Хлопот много у женщин. Так скажи Ансару и нашим мужчинам: угощение готово давно. Задержка в Дзеннетте. Девушка поднос принесет – питье и еду. Потерпите.

– Ах, старая мать, – смеется Тотур, – я пошутил о Барзоне. Мы дали гостю умыться. Теперь он сидит за столом в беседе с мужчинами нашего дома.

– Пошутил, – бабка сказала, – иди-ка сюда, повернись. – Шлепнула палкой о спину. – Не думаешь, глупый, о сестрах своих. Вы глухи, а я слышу трепет Дзеннеттино сердца под кожаным поясом *. Уходи!

Еще веселее убежал Тотур, гонец приятной вести: Дзеннетта с подносом покажется гостю. Ай-йой! Ведь смешно увидеть Ансара, сына владыки, как он смутится – из-за кого? Из-за вертлявой сестрицы Дзеннетты, как раз из-за той, что на днях – так кажется юноше – обливала слезами котенка ослепшего; из-за той, что вчера прыгала с туром Ахсаком.

В старой кунацкой Унараевых дома царит оживление. Ансар с Микраэлем, старшим среди Унараевых братьев, сидят за столом; Хамзат и Айтек близко стоят от сидящих, юный Тотур – у дверей. Правду сказала Сата о братьях: львиноподобные гривы у них. Все Унараевы, от первого предка, славятся буйным цветеньем волос. Также и ростом, и статностью тела Аллах не обидел. Возле крупных хозяев Ансар выглядит хрупким и малым. Красив он, красиво сложенье, ладно устроено все у него. Ведь красота человека не в том, чтобы телесные члены росли без предела, но в том, чтобы соразмерности, ладу они подчинялись. Черные усики оттеняют матово-бледную кожу лица. Голос тих и душевен. Достойная сдержанность вида. Неторопливы движенья малого тела, признаки древнего рода заметны в каждом движенье. Не посвященный в горские тайны сочтет небогатым Ансаров наряд. Но знающий толк тотчас же оценит и шашку-гурду, и кинжал, и два пистолета с дулом двойным, и тонкую шерсть черкески, и обуви мягкость сафьяна.

На стенах развешаны трофеи охоты: рога туров, оленей, морда медведя; рядом – шлемы, кольчуги, мечи Унараевых предков, вперемежку с оружием самого Микраэля.

Услышав толчок, Тотур широко распахнул дверь. Подобно царевне, отданной в рабство, с головой, склоненной на грудь, с огромным под-

* В старое время, еще и недавно даже, горянки до замужества носили на груди пояса из нежного сафьяна – род корсета.

носом на левом плече, Дзеннетта стояла у входа. Позади нее – голубая горская ночь, мерцание звезд над горской землей. Впереди – свет кунацкой. Белый атлас одеяния скрывает Дзеннетту от шеи до пят. Золотые застежки озаряют плоскую грудь, никогда, от рожденья, не тронутую ни солнца лучом, ни месяца слабой улыбкой. Тяжелый кованный пояс, весь в бирюзе и топазах, обнимает осиную талию. Темные очи опущены долу, уста сомкнуты.

– Войди, – сказал Микраэль.

Вошла – вплыла, как лебедь на озерную гладь; стан – изваяние; жизнь трепещет только в ступнях, скрыты ступни под атласом.

– Гостя приветствуй, – мерно гудит низкий голос отца, Микраэля.

– Аллах благословляет приход желанного гостя.

Скорей отгадать, чем услышать, можно Дзеннетты слова. Говоря, подбородок прижала к холодным застежкам, опустила ресницы – слеза смущенья и робости повисла на них.

– Благословенье Аллаха на этом доме во веки веков, – ответил Ансар.

Легчайший румянец вспыхнул на бледном лице. Единого слова, сверх сказанных, молвить не может. Да и не смел бы, если бы мог: велики и торжественны законы горской любви. Эта любовь, как всякая тайна, бездонно-глубокая, творится без слов.

О люди! Что есть любовь? Я, Эльдар, старейший из старцев, полуживой – вернее сказать, полумертвый; я так говорю о любви: она – кровь искупленья, излитая солнцем; она – тишина и восторг; она – падение в беспросветную бездну; она – над бездной крыло.

Дзеннетта ушла. Чтобы выйти из плена смущенья, Ансар ищет, о чем бы сказать. Вся кровь, в огонь превращенная, слилась в сердце, раздирая сердце на части желаньем говорить о Дзеннетте – о Дзеннетте одной: не смеет, не должно, обычая есть строгий запрет. Беспомощным взором блуждает Ансар по кунацкой, видит шлемы, кольчуги, мечи, видит львиные гривы молчаливых хозяев, вдруг – в этом спасенье – видит усмешку Тотура.

– Так расскажи нам, Тотур, о поездке своей прошлогодней. Что с тобой было? Слышал, больным ты вернулся.

Внимание знаменитого гостя лестно Тотуру. Подробно описывает он, как гнали скот перевалом, сколько мук и потерь пережили, как выгодно продали скот, как в южной пристани он заболел – словом, все, запечатленное памятью.

– А еще было со мною такое, о чем стоит послушать Ансару, знаменитому гостю. На стоянке, звездною ночью, встретил я... Богом клянусь, сказать затруднительно: видом горец то был, поведением... не знаю, может быть, джинн.

– Будь скуп на слова, эй, Тотур, – отозвался Айтек, отец юноши.

– Пусть говорит, как умеет, – Ансар взглянул на Айтека, величаявая просьба во взгляде его. – Что же потом?

– Дивные речи я слышал. Этот горец, кто бы он ни был, как видно знаком с Орсундахом. Знает всех, имена называет, даже о родинке дяди Хамзата на правой щеке – и о той говорил. Сначала бранил всех Кадаевых...

– Поделом, – вставил Хамзат. Он готов одобрить слова неизвестного джинна: джинн или горец, знакомый Хамзата, пусть будет честь и слава ему.

– Потом стал прорицать. Я содрогнулся, услышав странную смесь смеха и горя в голосе старца. Он так говорил: «Без Леуановых погиб аул Орсундах. С Леуановых родом вновь оживет». Он так говорил: «Среди вас нет Леуановых, нет, но будет, прощай...» Я остался у рощи, старец – был он без левого уха – исчез. Я начал молитву против духов ночных. Вдруг, слышу, песня несется. Эту песню и мы здесь поем – про Леуана, про латы его, про то, как с быком он башню возвел.

– Джинн и песня? – Микраэль покачал головой. – Юноша, не был то сон?

– Клянусь гробом пророка – все правда, что я рассказал.

– Да, жалко род Леуановых, – протяжно молвил Ансар, – мы были в родстве, их род и наш. Гордые люди. Просьбу о помощи бесчестьем считали. Мы, Таулуевы, всегда говорили: два рода владычных – много для долины одной. Правда и то: род Леуановых ближе нам рода Кадаевых. Жалко, жалко... но мертвых покой не надо тревожить.

Помолчал. Скорбные тени реяли в дыме табачном. Далекое прошлое внезапно воскресло в умах. Дом Микраэля то был – старец Чорттай, отец Унараевых, не был старцем в те времена: дом Микраэля то был, где гостила Джан, Инала жена. На рассвете кровавого дня примчался Гизо. Под ним Серебряногривый Инала: оба безумные в спехе: конь и всадник. Поклялся именем Божьим. Показал – в доказательство верности речи – печать Леуана: бык круторогий в овале свинца, железная цепь на свинце. Вскинул Джан на седло, Джан рыдала. Серебряногривый – был то барс окрыленный – с двумя седоками – перепрыгнул ограду из об-

ломков скалы. О Боже великий! Где вы оба, Джан и Гизо?.. Но мертвых покой не надо тревожить.

– Слушай, Тотур, – мягкий голос Ансара всколыхнул тишину, – мне стало известно о туренке Ахсаке. Если позволит глубокочтимый хозяин, тура сюда приведет. Может быть, будет воля твоя, Микраэль, позвать и того молодца... Как его имя? Ну, тот, что тура носил на спине.

Желание гостя священно. Тотур в два скачка ушел и вернулся. На привязи тура привел. Ахсак уже не детеныш – самец молодой. Встретивший светом среди ночи – рога наставляет. Ансар вынул ошейник складной, из металла и кожи, с колокольчиком из серебра:

– Пусть забавляет девушек вашего дома, – сказал, подавая ошейник Тотуру.

– Прими благодарность, – Тотур поклонился. – Позволь сообщить: Агелик уже здесь, во дворе ожидает.

Встал быстро Ансар. Высокая честь – вышел навстречу к порогу. Встали хозяева – из уважения к гостю; но тот, кто увидел бы это вставанье, мог бы сказать: вот сын владыки Ансар и старшие Унараевых рода встали в честь Агелика.

Признание дружбы: Ансар опускает бледную тонкую руку на плечо Агелика: пятилепестковый цветок на бычьем хребте. Желая усилить проявление приязни, ведет Агелика к столу:

– Сядь рядом со мной, – говорит.

Агелик возражает:

– Как смеет младший сесть в присутствии старших? Нет, мое место у двери, возле Тотура.

– Слушайся гостя, – голос Микраэля суров, улыбка приветлива.

– Не смею ослушаться.

Так это было: волей Ансара вошел Агелик в Унараевых дом. Так это было – Ансар велел наполнить ковши, Ансар произнес:

– Великодушию честь, тебе честь, Агелик; самоотверженным слава, слава тебе, Агелик. – Ансар выпил и выпили все. Так это было тогда... Потом с пояса снял пистолет с дулом двойным – редкой работы, заморской.

– Не в награду, – сказал, – ибо деяние доброе ничем нельзя оплатить, только в залог нашей приязни возьми, Агелик.

И снова наполнил ковши.

Утро Божьего дня – *Хычауман* называют его – утро священное. Из каждого дома выходят отдельно: мужчины с подростками, женщины с детьми и девицами. Только те, кто не в силах дальше ворот отойти, только эти остались в домах: больные, да старые, да, может быть, дети грудные. Чем многочисленней род, тем выше значение его в жизни аула. День Божий от века тем славен, что как бы смотр семьям аульским бывает. Когда людские потоки достигнут священной площади – там, на пригорке, где будет принесена жертва, – правитель Божьего дня, он же и жрец, определяет места, где станут роды: эти и те. Чем ближе к строению из камня, тем место почетнее. В том строении с прошлой весны живет бык, посвященный Богу, дарителю жизни. Имя быка таково: *Хычауаг-огуз: бык, Бога достойный*.

Сколько сохранилась аульская память, всегда ближе других Унараевы стоят к бычьему стойлу: больше других дарят жизни жизнь Унараевы, почетнее всех Унараевых место на священной площадке. *Йа-Алла!* То не наседка куриная скликала выводок. То не птичья стая летит. Львиным стадом идут мужи Унараевых рода; за ними – шествие жен, детей и девиц. Как будто великий чинар – бесчисленны ветви и корни; как будто лес из чинаров – таков Унараевых род. Впереди *Микраэль, Хамзат и Айтек*, за ними полчище старых и юных. Ведь кроме тех, что живут в *Орсундахе*, есть еще выселок этой семьи – на хребте. Все пришли. Женщины их – *загляденья: Ликерлер, Плеяды небесные*. Но как *Чолпан*, звезда пастухов и любви, прекраснее всех небесных светил, так *Дзеннетта* в сияющем белом атласе – прекраснее всех на земле.

Правитель Божьего дня, он же и жрец – *Эльдар-бек*. Подал знак. Вышли отборные юноши, составили круг. В середине – *Кушби, безумный, поклонник феи лесной*. Как, почему так завещано дедами – знают *Аллах* и сами они. Но только известно поколениям горцев: в Божий день должно петь юношам в круге, в середине должно стоять лишенному разума.

О бык священный, с черной шерстью,
О *Хычауаг-огуз*.
Круглый год тебя питали люди,
Чтобы в Божий день ты наплатил их... *Чоппай* –

так пели юноши в круге.

О бык священный, с крутыми рогами,
О *Хычауаг-огуз*.
Нашей песнью, кровью твоей
Прославляется Божий день... *Чоппай*.

К лику солнца, весенне-прекрасному, вечно живому, повернул Эльдар-бек быка. Воздел руки. От немых уст к глаголам небес вознеслась Эльдар-бека мольба: за Орсундах, за людей орсундахских, за благополучие саклей, за умножение скота и пастбищ... Сверху вниз огромным кинжалом, блестящим, как солнечный луч, прободал бычье сердце. Бык зашатался, рухнул: совершилась великая жертва.

Горцы, горские женщины, в священный миг все взирали на кинжал Эльдар-бека. Нет, не все. Безумный Кушби блуждал невидящим взором, блуждал в темных лесах, там, под снегами и льдами. Нет, не все. Владыка Темир не смотрел на быка и Эльдара. Как страшный обур, чудовище сказки, так с испепеляющей страстью пожирал он Дзеннетты лицо. Да, конечно, безумный Кушби мог позабыть о старинной примете. Что же Темир? Или и он позабыл?

Так говорят старики: «Тот, кто посмеет отвернуться от таинства, Божий гнев на себя навлечет. Тот, кто посмеет быка оскорбить невниманием к жертвенной крови, тот должен погибнуть: *Хычауаг-огуз* не отменяет месть никогда».

В весеннюю пору нет места на свете лучше Орсундахской долины. Подобно юной девице, лежит она, узкая телом, между огромными кряжами, сильными, мощными, как богатыри древних легенд. Превосходно, с расточительной роскошью устроено убранство девицы. Одевание зеленого бархата цветами усыпано. Серебряный пояс реки обнимает, лаская, девицу. Она спит, и ей грезятся сны. Над ложем нависли ясноцветные гирлянды алмазов. Балдахином над ложем служат высокие горы, покрытые снегом и льдом. Как опахала, нигде не виданной прелести, качаются ветви лесов темных, зеленых, со стволами красными – сосен, белыми – берез и чинаров. Она спит, и ей грезятся сны: сонм рыцарей смелых на статных конях едут открытым простором. Остановились они над девицей, заспорили: кому быть мужем ее. Рыцарь идет против рыцаря, смертельная битва растет, свирепеет. Бьются кинжалами, шашки свистят, разлетаются крепкие шлемы... А она, девица-долина, спит, все спит, и ей грезятся новые сны – иные виденья мелькают над чудною девой...

Как только окончена жертва, все орсундахцы спускаются вниз, к капризно-текущей реке. Между рекой и горами лежит поляна Удачи, там, на этой поляне, широкой и плоской, начнется игра удальцов. Отдельно стоят старики, отдельно девицы. Нет веселее поры в Орсундахе, нет больше волнений, как после полудня Божьего дня. В этот день, как

и сто, и двести, и триста лет перед тем, состязаются лучшие на звание первых без спора. Перед взорами девушек скачут, стреляют джигиты, внимание юношей и молодых-неженатых отдано стае девиц.

В этот день соревнуются в удаче горцы с горцами – между собою, в этот день разгорается страсть старой распри между горцами – здешними и джигитами чуждого – адыгейского – племени.

Много пестрых ковров лежит на траве. На коврах, цветистей ковровых узоров, девицы стоят. Длиннополые платья из шелка, атласа и бархата. На головах кружевные платки, дорогие персидские шали; пояса, застежки, браслеты – из драгоценных металлов: все сияет на солнце, как бы солнце само, разбившись на миллионы осколков, осело дождем огоньков на платья девиц орсундахских. Послушаешь: не люди – птички щебечут. Посмотришь: не люди стоят, но цветы весенне-прекрасные.

Старый Джемал, без зубов, старый Джемал на быстроногом коне: старый Джемал – правитель ристалища. Шамкает он, все-таки голос пронзительный слышен далеко. Затихли девицы, щебетанье умолкло. Джемал восклицает:

– Старики! Молодые! В ком сердце горит?! Кто желает биться за честь?! На коней! В ряд становитесь!

Первым Темир на жеребце сером, в яблоках. Полстада волов отдал за него. Резвый конь. Могучие плечи. Ноги сухие. Раздутые ноздри скрывают огонь. Конь и всадник слиты в стихию, та стихия – азарт, яростный бой, победа любой ценой.

Вторым выезжает Абу Косой, верный слуга. Масть коня – чернее черного ворона. Длинная грива, хвост длинный, землю метет. Конь не стоит – рвется, удила грызет. Всадник горит нетерпением.

Третий, четвертый и пятый – три адыгейца. Струны – не ноги у скакунов адыгейских. Все три, как один, из яркого золота вылиты. Всадники гордо сидят в седле. Аллах! Кто же не знает? Адыгейский скакун опережает орла. Аллах, кому неизвестно? Адыгейский джигит первым слывет в горах и долинах.

Отуманены взоры девиц. Головою старцы поникли. Барзон – он стоит, как простой, между пастырем с язвой, Шовгаем, и толстопузым Муссой, палкой сердито колет траву. На старости лет отучился Барзон быть владыкой. Живет у друга, Муссы, Темир ему ненавистен; молит смерть у Аллаха себе и князьям адыгейским, умертвившим Барзону гордость. Барзон, вместе с горцами, не желает победы Темиру.

Вдруг ветер промчался. Брызнули радости искры:

– Ансар! – в один голос воскликнули горцы.

– Ансар, вот он, смотрите, Ансар! – ликуют девицы и пляшут, не замечая того, на ковре.

Караковый конь. Белеет звезда на челе. Всадник – кажется малым на рослом животном – склонился вперед: караковый конь тянет узду. Лебединая шея. Под шейей – двудольная грудь, мышцы играют. Нервная дрожь пробегает по коже атласной. Каждая жилка видна: конь и всадник высокой породы.

Тотур выехал вслед за Ансаром. За Тотуром – Хассан, пастырь, с бородой, как беличий хвост. За Хассаном – еще и еще.

Джемал выровнял ряд. Джемал – гордость предела не знает – поднял пистолет над папахой. Джемал выстрелил – обезумевшие кони ринулись в бег, понеслись, полетели. Первым мчится Темир. Серый конь сокрушает копытами почву. Со спертым дыханием взирают горянки, открылись уста стариков. А там, чуть в стороне от ковров пестроцветных, на войлоке белом стоят Сата с Наныкой. Наныка рыдает, следя за Темиром: «Аллах, – говорит, – помоги!» Сата – бледные щеки, очи-опалы – разрывает зубами косынку: «Боже, – шепчет, – Ты единый судья, сирот покровитель: Боже, да будет воля Твоя...»

За Темиром три адыгейских коня – золото шерсти сверкает на солнце. Рядом с ними Абу и Ансар. Сзади всех горские кони. Ах, пешеходы не разводят кровных коней. Дикие вопли несутся над полем, дикие кони летят. Надо достигнуть Леуановой башни, коня повернуть и назад. Как на ладони видно отсюда: первым Темир доскакал. Вот он натужился, злобно тянет удила – не слушает конь разъяренный. Драгоценное время на споры уходит: всадник и конь – один, как другой. Оба упрямы, оба безумны, оба хотят победить. Три адыгейца дугу описали, веселые лица у них. Эх, горцы, горцы. Куда вам, пешеходам, тягаться с летучими стрелами.

Абу отстает. Ансар догоняет. Скорее, скорее, Ансар. Вот караковый конь подбежал к адыгейцам: девицы, как камни, стоят; стариков трясет лихорадка. Вот искаженное мукой лицо белым платком промелькнуло: Ансар, мы знаем – в твоём теле недуг – Ансар, не сдавайся – гони...

Темная молния – караковый конь. Три адыгейских коня – три златогрудые тучи. Пронзила молния тучи – караковый конь победил.

Старый Джемал подъезжает к Ансару. Стремя у стремени – едет к коврам. Как поле зрелой пшеницы при ветре, как алоглавых маков гряды – так, волна за волной, набегают движение, так склоняются девичьи лица.

– Дочери, – Джемал встал на стремяна, – цветы Орсундаха, красавицы гор! Наградите героя... Ансар победил – слава Ансару... Алла!

Дождь возгласов, дождь без капель, лишь из любви сотворенный. Потоки восторга – не из звучной воды, из крови ликующей. Девушки пели. О ком? О достойном славы Ансаре. Горцы кричали: «Алла!» и «Ансар!»...

За первенство в скачке всегда награждали дочери рода владык. Нет дочерей у Барзона; дочь Эльдар-бека, Нальчжуз, выходит из ряда. Вместе с кисетом парчовым улыбку Ансару дарит.

В середине поляны Удачи поставили шест, высокий и гибкий, монета висит наверху. Один за другим подходят джигиты, целятся долго, пуля за пулей летит. Легкий ветер колеблет монету. Лучи солнца дают блеск серебру. Щелкают выстрелы, горцы смеются: промах всегда веселит.

Стрелки послабее уже отошли. Бог долины – долины Удачи – не был утешен их стрельбой. Стрелки посильнее подходят. Важность в лицах. Движенья отмерены. Для горцев-охотников меткость ружейного выстрела – великое дело. Адыгейцы стоят в стороне, рядом с Темиром.

Ансар, победитель ристалища, делает промах. Тихий шелест бежит между горцами. Адыгейцы злорадно смеются, вместе с Темиром хохочут они. Агелик подходит к Ансару. Что-то шепчет. Кивает Ансар... Старик Эльдар-бек ружье плечом подпирает:

– Не ради награды, для поддержания духа в стрелках, – так говорит, – приму стыд этого выстрела.

Правду предрек: пуля, черкнув по шесту, в просторе исчезла. Тогда оставил Темир адыгейцев. Медленным шагом, уверенным, твердым сменяет Эльдара. Дулом дугу описал – в каждом движении знаток. Ахнуло эхо, дымное облачко – ореол сатаны – взвилось над папайхой. Все видели ясно: монета, задетая пулей, в воздух метнулась. Горделиво принял Темир охотничий рог позлащенный, полный черного пороха: награда за меткость. Адыгейцы кричали: «Алла, слава Темиру!». Горцы – горцы молчали.

Тут, будто случайно, Ансар зовет Агелика:

– Эй, приятель! Ты молод, ты строен. Отважное сердце светит в глазах. Эй, Агелик, зачем избегаешь ружья? Слушай, все мы равны пред богом удачи. Выстрели, сделай попытку. Я верю: Темир, как и я, охотно посмотрит.

Агелик отвечает:

– Горцы! Владетели гор! И вы, адыгейцы, пришельцы с равнины, все простите меня. Не я говорил: «Дайте ружье, я покажу, как умею стрелять». Ансар, сын владыки соседней долины, гость знаменитый, он приказал: «Агелик, покажи, как умеешь стрелять». Если же дело до дела доходит, прошу вас снова начать. Пусть этот шест веревкой качают, пусть мне позволено будет стрелять.

Грозной щетиной поднялись Темира усы. Во взгляде свирепость: ненавистен ему Агелик. Видит Темир: как вечером стадо идет к своему пастуху, так сгрудились горцы с целой долины; взоры всех отданы одному, этот один – Агелик. Видит Темир: шест, обвитый веревкой, качается взад и вперед; видит Темир: быстро прицелясь, опускает курок Агелик. Тысячи змей промчались над ухом – тысячи криков тишину рассекли. Тысячи раз повторилось имя одно – это имя одно: Агелик.

– Выстрел отличный! – Темир, подобный волку перед схваткой смертельной, выходит вперед. – Выстрел, бесспорно, блестящий, но бывают выстрелы лучше. Вот что. Слушайте все. Я хвастунов не терплю. Эй, ты, слушай, ты, безымянный – черт знает бродяг имена... Итак, вот мое слово. Я, владыка Темир, вызываю незваного гостя. Стань здесь. Еловую шишку положи на папаху. Я буду стрелять. Я, владыка, желаю проверить смелость твою. Устоишь, не поклонись пуле, будешь принят у нас навсегда. Если опустит трусливую голову – жизнь и честь оставят тебя.

Агелик побледнел. Роковое мгновенье. Нет, не за жизнь опасается он. В тревожной груди он чувствует присутствие нового чувства – бог знает откуда оно принеслось. Как будто бы нож раскаленный вонзили, как будто бы птица трепещет в груди. Как будто бы птица, что там поселилась, возносит над бездной крыло.

Смятенье царит над долиной Удачи. Лица горцев блее муки. Столетние старцы, выдавшие битвы, и те к поединку сошлись. Небывалое сделалось явью: дочери, цветы Орсундаха, красавицы гор расстались с коврами. Все как одна, сбившись в пеструю стаю, забыли обычай стоять на коврах. Так это было: свирепый Темир, отмерив десять шагов Агелику, поднял пистолет. Так это было тогда: пистолет прогремел, шишка упала. Агелик в неизъяснимом восторге воскликнул:

– Горы, сердцем приветствую вас!..

Горцы вздохнули. К девичьим лицам улыбки вернулись. Старики, размяв застывшие ноги, к аулу пошли. На полушаге звучный голос их задержал:

– Призываю в свидетели горы. Совесть горцев на помощь зову. Слушайте: если есть справедливость, справедливости я ищу. Видели все выстрел Темира, видели все смелость мою. Если есть в горах справедливость, справедливости я ищу. Я призываю Темира к отплате, долг его верным заплатить я хочу. Я, Агелик, неизвестного рода, предлагаю такую игру. Пусть Темир и Абу с адыгейцами – пусть сядут сейчас на коней. Пусть будут в папах у них шишки, большие шишки сосновых ветвей. Пусть победитель Ансар доверит коня Агелику, пусть доверит ему пистолет.

Горы и горцы, будьте свидетели: пять выстрелов я пущу. Горы и горцы, будьте свидетели за промах жизнью плачу.

Один за другим поехали пятеро, рысью сначала, потом во всю прыть. Взял Агелик пистолет в правую руку, другие за пояс воткнул. Быстрее и быстрее разгоняются кони, быстрее летит Агелик: пятеро их, он одинок. Ансара караковый огибает долину, видят все: чуть влево берет. Так, чтобы встретить врагов по правую руку, так ведет коня Агелик. Скачут кони, вереницей несутся: Абу за Темиром, позади адыгейцы. Скачут кони, вереницей несутся: навстречу Агелика руке. Вот первым Темир попадает под дуло. Громкий выстрел – шишка летит. Вот Абу, вот остальные поклонились Агелика руке.

...Боже сил, Боже великий! Сотня лет промелькнула, как день. Я был молод – я дряхл ныне; я – развалившийся сруб. Призраки прошлого воскресли с мощью волшебной. Вижу зеленое поле, ковры. Вижу Темира. Черная ночь на лице. Сокрушенный Абу проезжает мимо меня. Три адыгейца смотрят на холку коней, сторонясь от народа, едут без цели; стыд связал адыгейцев уста. Далее вижу народ орсундахский. Ликует народ. Народная длань ласкает грудь Агелика. Ансар, Эльдар-бек Справедливый обнимают его.

...Боже сил, Податель горя и радости, я вижу Дзеннетту... Подруги избрали ее отдать герою награду. Простая награда: шелковый шнур к пистолету. Дзеннетта облита сиянием белоснежного платья. Кружева закрывают темные косы. Сквозь прозрачную кожу лица проступает легкий румянец: заря, и солнечный луч, и свежесть горных вершин, и трепет мотыльковых крыльев над росистым цветком – все прелести жизни в тебе, о Дзеннетта...

Ты лепетала тогда:

– Орсундахские девушки гордятся тобой, Агелик...

Ты потупила очи. Зачем? Неужели невеста Ансара, сына владыки соседней долины, знаменитого гостя... неужели дочь Унараевых, львиноподобных... неужели, Дзеннетта, тогда, на зеленой траве поляны Удачи, ты в Агелике, безродном бродяге, по слову Темира... неужели увидела ты...

Нет. Я уж не тот. Не могу вынести сердцем блаженную тяжесть мгновенья. Боже сил, не Ты – я умираю. Ты – вечен. В вечность я ухожу, я, Эльдар, старейший чинар, пень, забытый обломок чинара, обугленный, испепеленный огнем жизни столетней.

Темир, Темир...

Шумно в кадаевской горнице, в той, что одним боком примыкает к башне Кадая, отмеченной знаком небесного гнева: черный шрам, подобный стреле изломанной, змее ползущей. Шум – не веселье. За высоким новым столом, с чистой скатертью, на стульях сидят Темир с адыгейцами. Старый дедовский стол давно унесли. На куски сперва разрубили – ломались острия топоров: окаменели дубовые доски, перенесся иго многих столетий. Стол, собранный предком Кадаем в горнице, в ней сотворенный, не пролезал через дверь.

Светло в переделанной горнице: старые узкие горского вида оконбойницы расширены. Груда камней – все цельный гранит, для тысячелетий подобранный, – лежит на заднем дворе. Свет, если он же сливается с ясностью духа людского, беспомощен и безразличен. Но в горнице очень светло.

Ради того, чтоб угодить адыгейскому князю-начальнику, этот князь, сын покорителя Орсундахской долины, был когда-то проездом в ауле, ради того, чтоб доказать умение жить адыгейским обычаем, Темир не пожалел дедовской горницы. Злоязычные люди, они всюду найдутся, тогда толковали: молодой князь-начальник – моложе Темира – сказал: «Темир! Живешь хорошо, лучше Барзона; любой всадник из дружины моей не возразит против такого житья».

Три адыгейца с Темиром сидят за столом, три простых дворянина чуждого племени, рядом с горским владыкой, как будто бы равны они перед Богом горских отцов. Абу Косой стоит у дверей. Адыгейцы ленивы в словах, в движениях медлительны. Их обычай – таить жаркий огонь адыгейской природы глубоко под напускным равнодушием. Пшемахо, Койсын, Герандуко – их имена. Старший, Пшемахо, цедит слова, другие внимательно слушают.

– Эти скачки... ах, эти горские скачки. Пешеход – на коне! Ах, если бы видели жены и девушки наших селений... Говорю без прикрас: если б

была среди них женщина с бременем, она тут же скинула бремя. Только, это надо сказать, родила бы она не адыгейца-наездника – горца. Горца, да, пешехода...

Подождал. Никто ни полслова. Койсын с Герандуко, переглянувшись, вытирают усы тылом ладони. Темир ест. Ест молча, взволнованно, жадно; ест, подобно голодному волку, ест, молчит и моргает: сильный свет из окна режет утомленные очи, свет этот скользит и мерцает на желтых длинных зубах, разгрызающих кости барашка. Уязвленная гордость бунтует в Темира груди по ночам. Его оскорбили, унизили перед целым народом. Кто оскорбил и унизил? Ансар, сын владыки соседней долины, и еще Агелик, безродный бродяга.

Продолжает Пшемахо:

– Я следил за жеребцом, серым, в яблоках, за тобой следил, Темир. В этом ошибка. Койсын с Герандуко ехали рядом со мной. Я им сказал перед скачкой: «Покажем всем пешеходам езду на конях. Не один, три скакуна одновременно к цели придут». Я хотел посмеяться немного: три кисета, в награду за первенство трех адыгейцев, взять у девушек горских. Шутка не вышла. А виноват твой серый, Темир. Или, может быть, серый меньше виновен, чем его всадник? Ва-Алла! Что ты делал, Темир, под Леуановой башней? Ва-Алла! Я следил за тобой, Койсын с Герандуко – за мною, их старшим. Так проглядели Ансара. Темир, не сердись, эти кисеты надо бы взять у тебя. Верно, мы проиграли сражение. Верно и то – Темира виной.

Темир, отодвинув деревянную миску с костями барашка, произнес:

– Проигравший всегда ищет виновного. Не о себе говорю. Что до меня – я еще поиграю. Есть разные игры, друзья.

Пшемахо – миндалевидные очи, черные, с искрой лукавства – небрежно роняет:

– Кто же из нас, бывших на поляне Удачи, допускает сомнение? Конечно, ты страстный игрок. Речь идет не об этом. Речь, друзья, об успехе в игре.

Герандуко морщит чело: хочет сказать. Пшемахо кивает ему: говори.

– Караковый конь не здешней породы. Где горец Ансар, э, гм, нашел такое богатство? Э, гм, нашел, повторяю, нашел – не значит угнал.

Темир не любит Ансара. Ансара Темир ненавидит. Все же Темирова кровь ближе к Ансаровой, чем к той, что бежит в Герандуковых жилах. Встать, размахнуться, сбить папаху, размозжить бритую голову – это

хочет сделать Темир. Не делает – только закручивает, будто точит для боя, колья-усы.

Пшемахо долго ждет, смотря на Темира. Внутренне знает – разгневан Темир. О эти горцы! Многие годы Пшемахо провел среди гор. Знает пословицу: «Кобуза струна, когда перетянута, рвется». Да, это правда: кобузовые струны из воловьей кишки созданы. Вол терпелив, не знает капризов – какое сравнение с адыгейским конем. Но воловье терпение, как и конское тоже, имеет предел. Именно в строгом молчании Темира чует Пшемахо грозу.

– Герандуко, послушай, тебе говорю. Герандуко, напомним тебе одну старую правду: только вор в каждом видит вора. Ансар Таулуев высокого рода. Если тут нет никого, кто бы вступился за сына владыки, я защищаю его. Я тебе говорю, Герандуко: винить за глаза есть позор. На этом и кончим разговор о караковом, начнем говорить об ином.

Тогда Койсын, румяногубый, красивый, Койсын, весельчак и танцор, тогда он спрашивает слово. Слово его таково:

– Что пользы в ссорах и спорах? Зачем переиначивать бывшее? Ну проиграли мы все – и готово. Стоит ли хныкать, когда буза на столе? Что до меня, об одном лишь жалею. Ни с одной девушкой не удалось говорить. А там, на коврах, в стороне от соперников в славе, там было на что поглядеть. Видел я чудо своими глазами – если лгу, пусть лопнут глаза. Приметил девицу: как ее имя – не знаю, беда. В белый шелк разодетая; с покрывалом из кружев снега белее; с нежным румянцем, с глазами разгневанной пери; стройней камыша адыгейских низин, проворней баядерки султана... Ва-Алла! За девицу такую не жалко пять жизней отдать. Ва-Алла! Если бы был я не просто Койсыном, но князем всех адыгейских племен, – все племена, со скотом и конями, я променял бы за счастье обладания ею.

Герандуко, обиженный старшим Пшемахо, вставляет, желая себя оправдать:

– Не только князья умеют забавляться с красоткой. Пусть я не князь, дворянин. Каждому лестно красоту украсть. И кража такая есть подвиг и честь; вот, признайся, Пшемахо, вот где кража вместо позора славу дарит.

Пшемахо смеется. Темир стучит волосатой рукой по столу, пальцы нервную дробь выбивают. Герандуко гордится козырем в споре с Пшемахо:

– Да, иная кража бывает почетной. Почему смеешься, Пшемахо? Разве не правда, что каждый верный приятель сочтет честью участвовать в краже невесты для друга? А? Что говоришь, старший приятель Пшемахо?

– То, что и ты.

– Подождите! – Темир положил обе руки, в кулаках, рядом с чашей на стол. – Так, значит, если бы ты, Герандуко, или Койсын, или я – не говорю о женатом Пшемахо, – если бы кто-то из нас пришел и сказал: «Друзья, я требую помощь в деле отваги и чести», – если бы это сказал, то...

– Много слов. – Герандуко треплет Темира плечо. – Просто и ясно: каждый ответит, должен ответить: «Прикажи, мы готовы идти».

– Справедливо, – Койсын отозвался. Пшемахо кивает. Довольный Темир посылает Абу за новой бузой. Так беседуют: о капризах бога удачи на зеленой поляне, о девушках, о преимуществах псовой охоты на зайцев и волков; о том, что с псом не годится на тура ходить, – так они говорят обо всем, обо всех, кроме одного Агелика. О нем думают молча. Держители власти от рассвета времен не терпят избранников народного сердца; прирученные волки – домашние псы – преследуют, рвут дикого волка.

Не знает Пшемахо, что Темир еще там, на поляне Удачи, отдал строгий приказ своим верным: день и ночь глаз не спускать с Агелика. Неизвестно Темиру о том, как Пшемахо, подождав темноту, выслал вестника к уху адыгейского князя. Три слова велел передать, только три – князь уж поймет: «Поднимают голову горцы».

Беседа журчит. Уже давно отзвучал муэдзина полуденный крик, уже солнце приблизилось к высокому гребню, покрытому снегом и льдом. Ясный день торжественной песнью плывет над долиной. Ветер от гор качает деревья, волнистые тени бегут по жаркой земле. Доволен Темир. В эту минуту, хоть в эту, быстро идущую в бездну времен, его сердце спокойно. Он вытерпел спор адыгейцев, не промолвил лишнего слова, он заручился содействием их. Для чего нужны ему адыгейцы, об этом знает он сам, да трудная дума, что осела в глубоких морщинах на лбу. Внезапно он ощущает как бы смену погоды. Наружно – по-прежнему все остается: светит солнце, синее небо ласкает хрупкую белизну снегов, день плывет над долиной, как над озером песня. Пшемахо по-прежнему щурит глаза; веселится Койсын, Абу наполняет ковши, пьет Герандуко. Но все-таки есть перемена: грудь теснит, холод гребенки щекочет корни волос... «Я не Барзон, – шепчет Темир про себя, – я выгнал все тени из горницы предков. Привиденьям не верю» – так говорит и видит: ложится лохматая черная тень, как раз рядом с ним, на чистую белую скатерть. Дрогнуло сердце. На малую долю мгновенья он понял страхи Барзона. «Наваждение», – бормочет. Обернулся. За раскрытым окном, так, что на-

клонное солнце светит в спину, стоит неподвижный Кушби. Без папахи. Курчавые волосы, с бородой и усами, треплясь по ветру, создают жуткую рамку мертвенно-бледным щекам. Глаза – провалы в черную пропасть. Кушби стоит, как камень могильный, как изваяние судьбы.

– Га! – к Темиру вернулись обычные вспышки жестокого сердца. – Что ты тут потерял, эй? Проваливай, глупая рожа. Эй, Абу, спусти на него волкодава...

Видели звезды, подслушала ночь. Темир один, без Косого, идет к дому Саты. Тишина висит над долиной, душная мгла и безветрие. В эту ночь долина похожа на печь для выпечки хлеба. Покровы мрака на склонах – закопченные стены печные. Раскаленная за день почва – тлеющий пепел. Коричнево-сизые кровли домов похожи на верхнюю корку, дома похожи на хлеб. Ароматы жилья и скотины густо стоят над аулом. Пахнет дымом древесным, парным молоком, свежим сеном, привезенным с луга, персиком зрелым. Но Темир, как чужой, как пес, потерявший дорогу, быстро идет, не обоняя, не видя родного гнезда. Весь Божий мир ему безразличен и тускл, лишен ароматов и вида. Внутренний жар гонит Темира к дому Саты.

Мужское желание бывает различным. Супруг по-иному желает супругу, по-иному невесту – жених. Дьявол, когда смертоносные страсти влекут крылья его к жене-дьяволице, когда черная дьявола кровь закипает подобно свинцовой руде, дьявол – вот образец для сравнения с Темиром. Порывистым шагом торопится к дому колдуньи, неясные грезы обгоняют его.

Есть желанья, дарящие мир и отраду, есть другие. Болезненный стон толкается в зубы Темира, он заглушает его кратким проклятьем. Как будто горн кузнеца пылает внутри. Как будто бы он, Темир, подобно железной подкове, брошен на горы. Как будто щипцы кузнеца ущемили железо – добела раскаленное. Сыплются искры. Железная мышца, розово-белого цвета, корчится в страшных объятиях щипцов кузнеца. Та железная мышца – Темира душа, те щипцы – желанье Темира.

Но не лица Саты и Наныки витают в грезах его. Темир летит за виденьем, за призраком страсти, лишенным лица. Да, это женщина. Прекрасные косы лежат на высокой груди. Грудь тихо колышется, волшебный туман истончают ее колыханья, сквозь клубы тумана губы видны, раскрытые томной улыбкой. Зной, и холод, и мұка, и яд, и обещанье неслышанной страсти таятся в улыбке. Но чьи губы, чья это грудь, кто эта

женщина ждущая – не знает Темир. Быть может, нет в мире такой. Быть может, все такие, как эта. Женское тело, не воплощенье в той или этой, женское тело одно – во множестве видов – уязвило его.

Вот и дверь. В доме колдуньи мерцает малый огонь. Лучина, должно быть. Время, когда свечи ярого воска горели, отошло с приятною Темира. Сата сидит над жаровней. Одна. Смотрит на дым от былинки, курится дым над горкой алых углей. С трудом оторвала колени от пола. Низкий поклон отдала, звука не молвила. Темир, без приветствия:

– Где Наныка?

Сата:

– Спит у себя.

Темир:

– Ты смотришь, как черная кошка. Что случилось? Молчаньем ничего не возьмешь.

Сата:

– Черная кошка... Согласна. Забудем о лебеди белой – слово твое, не мое. Итак, ты ждешь от черной кошки, от престарелой колдуньи ответа. Ты спросил: «Что случилось?» Изволь. Все в Орсундахе пьяные ходят, пьяные радостью. Люди твердят: возвращается старое время. Проклятье кровавого дня, толкуют, снимается Богом с аула...

– Проклятье кровавого дня? Что это?

– О-ле-ле... Он не знает. Ах, ты еще не узнал, что аул так называет резню в Леуановой башне? Темир, ты жалок колдунье своим горделивым презреньем. Черная кошка, Сата, сострадает тебе... Но постой. Случилось немногое: проснулась народная гордость. Ансар ее пробудил, Ансар и тот другой удалец, поразивший тебя и Абу с адыгейцами. Унараевы ходят, как львы. Родство с владыкой соседней долины вскружило им головы. «Мы и войско Ансара – так говорят, – собьем спесь с Кадаева-младшего. Сейчас, после свадьбы Ансара с Дзеннеттой, – обещают аулу, – пошлем дары адыгейскому князю». Те дары – ты, Абу Косой, да три адыгейца.

Кончила. Грузно осела – так оседает на пол мешок, набитый тряпьем иль соломой. Старость, пренебреженье Темира, пересуды злоязычных горянок – вот что в клочья терзает Сату. Судьба несчастной Наныки ломает, крошит Сату, как нож крошит солому.

Мгновенье Темир размышляет. Два сердца борются в нем. Сердце владыки ищет отмщенья. Сердце другое, с кровью мужской, пылает желаньем.

– Подожди, – говорит, шагая к двери Наныки.

Здесь темнота. Свет не нужен ему. Здесь тишина. Слова ему не нужны. Приближается к ложу. Теплота спящего тела овеивает лицо. Глубоко дышит Наныка – полной грудью и чревом – во чреве дитя: две доли воздуха вдыхает Наныка. Протянуты пальцы: слегка касаются лба, уст, проходят по шее, трепетом бегут по груди. Все привычно в теле Наныки. Знакома каждая складка, каждый выступ, изгиб. Вдруг вздрогнули пальцы. Это тело – не то, что бывало. Нечто чужое, круглое, жуткое выпирает из тела Наныки, нечто, чего страшится Темир. Отдернуты пальцы. Прикосновение к чужому осталось на них. Темир, с беззвучной бранью вытирает руку полкой. Нет, это чужое не сходит: льнет, пронизывает кожу, кровь отравляет. Как будто бы эхом зовет: «Темир, будь при мне. Темир, я твой и Наныки».

Дикое пламя бушует в крови. Да, он отравлен. Яд, яд в доме колдуньи. Саты слова – отравка душевная. Тело Наныки – гибель его. Тихим скоком, по-волчьи, вбегает к Сате:

– Слушай, ведьма: не вернутся девичьи косы к тебе, не вернется Темир никогда. Теперь понимаю все твои козни. Ты ядом меня привлекла. Довольно. Тебя и Наныку не увидит Темир – никогда.

Выбежал. Ветер пронесся. Дымный столб над горкой алых углей изогнулся, подобно змее. Вспыхнуло пламя: трезубая молния пронзила змею. Снова все тихо. За стеной не слышно Наныки. Здесь, у жаровни с дымным куреньем, не слышно, не видно рыданий Саты.

Ночь, подобная шкуре медведя-гиганта, ползет над затихшей долиной. Стадо черношерстных баранов – дома – спит беспробудно. Две башни – два пастуха – бдят над их сном; первый – поодаль от стада, второй – в середине его. Таинственный сумрак висит над горами. Выше сумрака – охотничий рог, прозрачный, до края наполненный пурпуровой кровью: месяца нового рог. В небе не видно ни тучки, но в отдаленных просторах полыхают зловещие очи зарниц. Отблеск невидимой бури отражается гранями льдов: ало-синие пятна мигают на склонах. Ввысь и вбок месяц восходит. Кровь, цвета пурпура, льется из рога; сумрак и мгла над горами наполняются кровью. Долина кровью дымит, как баран, принесенный в жертву.

Темир, погруженный в мечты, безразличен к явлениям ночи. Решение в нем зрело давно, ныне созрело: он знает как поступать. Время не терпит – так говорится. Разве Темирово сердце знакомо с терпением? Прямо от дома колдуньи он шагает большими шагами к северным стогнам¹

аула. Он знает куда и зачем. Путь недалек. Чтобы скорее достигнуть намеченной цели, идет напрямик, без дороги, возле кладбища. Изваяния из камня ровным строем стоят за низкой стеной. Изваяния эти причудливой формы. Это – похоже на мумию, прямо стоящую. То – на скелет, обернутый саваном. Громадные камни стоят неподвижно. Багровые тени плывут вдоль камней.

Темиру нет дела до мертвых. Довольно забот и с живыми. Его суровое сердце боязни не знает. Хлопая плетью по остролистым цветам будяка, он спешит, не замечает надмогильных камней. Не видит Темир: невысокая тень, с гривой косматой, перепрыгнула стенку кладбища. Легкой поступью, без малейшего шороха, тень настигает Темира, становится обок, рядом идет. Так движутся двое. Очи Темира скользят по земле. Очи спутника впились в Темира. Внезапная боль – тесный обруч около сердца. Темир схватился за грудь. Что-то кольнуло: тоска? Злое предчувствие? Он ловит себя на малодушных догадках, сердится, желая себя превозмочь. Хочет ударом нагайки по цветам будяка рассеять досаду. Занесена плеть для удара – удар не приходит: человеку подобная тень лежит на траве. Плеть падает из разжатых пальцев Темира. Дрожащие ноги тянут в бегство. Взволнованный ум зрит мертвецов: он, Темир, – добыча, горячая кровь бытия; они – охотники, кровожадные мертвые кости... Мгновение слабости. Но никто не разрывает в клочья Темира, не впивается в жилы. Тот, кто рядом стоит, стоит неподвижно. Тогда отважная злоба ведет Темирово око к дивному спутнику. При свете луны ему чудится оскаленный череп, обросший в земле волосами. Из черных орбит смотрит ужас. Минуту или, может быть, вечность пожирают друг друга глазами: мертвый – живого, живой – мертвеца.

– Проклятая рвань! – вдруг крикнул Темир. – Брысь, беги, пока стоишь на ногах!

Кушби сумасшедший отходит без спешки. Видно – обрадован встречей ночной. До исступления доходит ярость Темира. Нагнулся. Нащупал камень с острыми ребрами. Стрелок, взявший охотничий рог в награду за меткость, умеет кидать. Пронзительный вопль, протяжный, болезненный: камень ударил живое. Живое страдало. Мертвецы бесстрастные лежали под столбами из камня. Темир, забыв об оброненной плети, тронулся в путь. В его душе странные чувства бродили. Ярость волка и беспомощность агнца. Он был голодной змеей, ползущей к добыче, и – в этом боль и страдание – кроликом, замороженным взглядом змеи. Как могло это быть? Почему безумный Кушби вносил смятение в гордую душу, в железную, чуждую страху? Он не знал, и незнание растревляло его.

К дому Джемала подходит Темир. Известно: пьяный старик, если нет свадьбы или тризны по умершим, дома сидит. Одинокий, в поисках сонной дремоты, тянет бузу. Появление Темира волнует хозяина сакли. Дрожащей рукой зажигает лучину:

– Владыка Темир! Я вдов. Я беден. В прошлые лета я сумел бы тебя угостить. Ай-йю. Про угощенье Джемала пели ашуги. Да, время минуло... Садись, я стану здесь, у порога, – вот остаток бузы. Я только так о ней говорю. Не смею просить отведать глоток: у бедняка какая ж буза? Вода с отрубями, простая вода, без хмеля, без солода... А раньше, бывало...

– Джемал, перестань говорить. Дай слово гостю – сумеешь понять мое слово, не будешь ни беден, ни вдов.

Переменную пору весны или осени ранней напоминает Джемалу Темир. Он – воплощение мрака и света, солнца и туч, бурного ветра и тихой погоды. Огонек дымной лучины играет на резких чертах. «С чем ты пришел? – Джемал размышляет. – Верно, затеял недоброе дело. Кто от Кадаевых видел добро? Теперь сидит у меня, называется гостем. Читаю угрозу в мрачных очах. В губах, под усами – острыми копиями, скривленными усмешкой, читаю обманы. Ну увижу в чем слово твое, кадаевский выродок».

– По нашему мнению, – внушительно молвит Темир, – ты вовсе не стар. Я видел тебя на коне, тогда, на поляне Удачи. Ва-Алла, видел я также девицу, она просто любовалась тобой. Ва-Алла.

Лесть и коварство – главное, лесть – отравка горской души. Лесть – снадобье шайтана, искусителя жен и мужей. Джемал приосанился. Правда, во рту не осталось ни зуба. Зато на коне или за пьяным столом, или... – но нет обычая вслух выговаривать тайные помыслы – Джемал поспорит с любимым удальцом. Так он чувствует ныне, околдованный лестью Темира. Темир прозревает насквозь старика.

– Признайся, ты, как медведь, любишь малину? А? Говори же.

– Различный вкус имеют земные плоды. Малина * сладка. Это верно.

– Сладка? Мало того. Скажи так, милейший Джемал: малина сладка, нежна, ароматна, податлива... Малина, о которой беседуем, как будто нарочно предназначена Богом для десен Джемала. Га, что говоришь?

– Ну, если бог, предназначивший мне малину, называется Кадаев Темир, не верю в свежесть плода.

* По-горски, *нанык* – значит малина.

Треснул черно-алый уголь лучины, погас. Смердный чад сизой фатой протянулся от двери к окну. Джемал поспешил к очагу. Не дошел.

– Светает, не надо огня. Сядь сюда, поближе к Темиру Кадаеву. Хочу видеть лицо жениха. Так понимай: Темир Кадаев не бог, только сват. Говори с ним, как с самым щедрым сватом на свете. Скажи, сколько коней у тебя?

– Два. Один подыхает от старости.

– Два... Будет пять. Много ль баранов в стаде твоём?

– С приплодом этого года не больше десятка. Моя баранта никуда не годится: кожа и кости.

– Получишь новое стадо – пятнадцать голов, пятнадцатым будет самец. Ретивый, не дает проходу овечкам. Такой же бодливый, как ты, когда был женихом. Надеюсь, таков Джемал и теперь.

– Ты смеешься, владыка. Грех смеяться над немощью старца. Впрочем, если отвезть солому неправды, а зерна оставить, то правдою будет, что еще до сего дня, знаешь ли, бывают со мной... как бы тебе описать? Бывают с Джемалом припадки юного возраста. Что баран! С козлом поспорить могу.

Сдвинул набок папаху. Тусклый рассвет роняет из утренних туч, серых, как вымя коровы, не молоко, но пепел прохладный. Мелко-мелко сыплется он – дождь моросит. Обессиленный тучами день не может восстать над горами. Все закутано фатой печального цвета. Мокрые камни двора подобны оголенному черепу. В дымоходе протяжные стоны – ветер скулит, ветер воет, ветер рыдает, как пес, учуявший мертвое. В бесцветной музыке утра ярк только Джемал. Джемал говорит. Усталый Темир, желто-серые щеки изборождены морщинами скуки, слушает. Шепелявый Джемал:

– На свадьбе в соседнем ауле поспорили мы: я, Джемал орсундахский, с Джемалом другим, из Хасаута. Тот говорит: «Обладаю вещью одной. Лисья нора мала для нее». Я отвечаю: «И медвежья яма мала?». В спор вступили другие: «Вместо пустой болтовни, – говорят, – покажите искусство на деле». Ва-Алла. В том ауле жила кахме, трижды проклятая: трех мужей извела. Бесплодная самка. Бросили жребий, кому первому быть гостем кахме. Джемал хасаутский...

Изнеможенный голос Темира:

– Послушай, я верю: ты победил в споре Джемалов-козлов. Побереги силы для праздника брачной ночи. Ведь мы согласились? Получаешь пятнадцать баранов, трех коней и малину-Наныку.

– И еще корову, дойную. В доме с ребенком необходима корова.

– О каком ребенке трубишь, старый трутень? – Брови Темира язвят, жалят, бодают: две пиявки на дне омута с тиной. Омут – лоб, тина – трудная дума Темира.

– Сам знаешь, – беззубые десны уподобляют улыбку, – в мятой Малине заводятся... Ва-Алла! Как бы сказать: червячки, букашки такие.

С притворным гневом:

– Ва-Алла! Старый Джемал ни за что не поверит, что ты за всю жизнь не отведал сладость малины. Сам знаешь, как это бывает. Прибавишь корову?

Темир встал. Мглистое утро – птица с мокрыми крыльями не может взлететь в вышину. Темир сделал шаг к выходу. Грязные лужи на глине двора. В лужах плавают конский навоз. Скучно. Тоскливо. Ломается тело на части, просит сна и покоя. Но что начато, нужно закончить.

– Вот на чем мы решили, Джемал. Ты получишь Наныку, корову и все остальное. Обряд венчания будет коротким. Свидетели – Койсын и Абу. Мулла получит знатный подарок. Будь мудрым, Джемал, береги свои силы для брака.

...Нет улиц в ауле. Есть переулки, проходы, тропы. Здесь тропа ведет через сад, там огибает амбары, поднимает идущего на плоские кровли домов, вниз, к потоку, проводит. Нет перекрестков в ауле. Есть узкие доли земли – перед мечетью, возле общинного дома, под башней Кадая. Тут, рядом с жилищем своим, остановился Темир. Жестокий зевок отдирает нижнюю челюсть. Волнения ночи исчерпали его. Но что начато, нужно закончить. Отойдя, оглянулся на башню. Пращур Кадай поставил ее. Много столетий минуло, башня стоит: как скала. Перед Темиром Барзон, перед Барзоном Ахмед, перед Ахмедом Сослан... – так, вереницей, тянулся к первому предку, Кадаю. Кто промолвит: «После Темира владею башней я, наследник славного рода!»? Кто так промолвит?..

– Да, время пришло. Указаниям судьбы нужно внимать. Все идет, как должно идти, – с собою Темир говорит.

Замечает движение ветра. Видит: испаряется мгла. Бледный свет обливает старинные камни. Сначала пятно на высоте первого яруса. Потом выше и выше – вот кровля башни сбросила мглу. Солнечный луч упирается прямо в щербину, извилистый след, подобный стреле, зигзагом изломанной, или ползущему гаду: поцелуй небесного бога Шибле, коня-змея с молниеносным копытом. В день смерти Кадая запечатлен тот поцелуй. Темир гордится семейным преданием. Ободрившись,

сходит вниз, по скользким ступеням, к дому Муссы. Там проживает ныне Барзон – его стариковская воля. Там – не по-доброму, по-злему – расставшись с Темиром, доживает стариковские дни. Но дело, однажды начатое, следует кончить.

– Я перед важным решением – так говорит перед отцом и Муссою, старцы сидят за столом. – Я не ищу поддержки ничьей. Не нуждаюсь в советах. Соблюдая горский обычай, иду к старшему в роде. Слово мое таково: орсундахский владыка решает исполнить долг перед родом, оставить потомство.

Мусса, тучный буйвол, переводит заплывшие жиром глаза от Барзона к Темиру, тяжелое брюхо лежит на дворе. Перед Барзоновым взором возникают прежние призраки. Голос сына их пробудил. Снова, как прежде, чуются тени в углах. Слышен шорох невнятной беседы. «Блеск имени» – эти слова опаляют думу Барзона. Не отвечая, встает, пятится – вышел прочь. Вдыхает Мусса:

– Будь гостем, Темир. Сядь. Сейчас принесут угощенье.

Неукротимая лава, как та, что сочится из щели вблизи перевала, бродит в Темире. «Жалкий обломок – шелудивый осел – черепки разбитой посуды» – так называет в мыслях отца. Высмеять всех. Крикнуть, ударить, чтоб эхо удара подкинуло камни над кровлей: велик гнев владыки Темира, готов вырваться вихрем, все смести и разрушить. Но раз начатое дело жаждет конца:

– Я желаю видеть Дауту, почтенную спутницу в твоем пути жизни, Мусса. Я прошу оставить нас двоих, меня и Дауту, для краткой беседы. Прости, забота о славном роде Кадаевых повелевает словом моим.

– Гу, – дышит Мусса. Протащил тяжеловесную тушу между столом и сиденьем, ушел.

Входит Даута. Жена буйвола-мужа походит на узкотелую ящерицу. Лицо в мелких морщинках-чешуйках. Движения юркие. Голосок скрипит, как арбы колесо.

– Вопреки святому обычаю гор, – начинает Темир, – я принужден оставить прямую дорогу, искать обходных путей к задуманной цели. Барзон, мой родитель, друг Муссы, не выслушал сына. В трудное время остался Темир одинок. Однако я вспомнил пословицу: «Где шайтан ногу сломает, там выручает женская сметка». Даута, о тебе говорят, как о хитреце Аладдине. Выслушай. Есть на свете аул. В ауле владыка. Вокруг него враги и завистники. Есть девушка, вошла в лета невесты. Девушкин род – многочисленный, сильный. Если б случилось владыке получить

эту девушку в жены, спасены аул и владыка. Если бы девушку отдали чужому, сопернику, тому, кто посягает на жизнь владыки аула, кто грозит миру аула, будет беда. Слушай и взвешивай. Кадаевых род и род Унараевых вместе поразят любого врага. Разделенные – гибнут, и с ними в погибель уйдет Орсундах. Итак, Даута, прильни к источнику мудрости. Из узловатых сплетений тропинок выбери ту, по которой шествует ум. Навести Унараевых. Покажи им монету судьбы. Двусторонняя монета: мир и удача – одна сторона, бой и погибель – другая. Пусть выберут. Но говоря, не смей слова сказать о Темире. Не я – ты охраняешь Орсундах от несчастья... если... если добьешься Дзеннеттино «да»... Мужчин не вмешивай в дело. Помни: ты не сват, ты – хитрец Аладдин...

Пошарил в кармане. Вынул нить. Матовым блеском жемчужин покрылась ладонь:

– Это тебе, за старанье. Дзеннетте скажи: полный ларь таких безделушек ожидает ее в башне Кадая...

...Темир. Темир. О железосердый, о гордый, о Темир!

Так все было, как я здесь говорю, я, Эльдар, переваливший грань столетия четверть века назад. Не ищу ничего – только истины. На пороге могилы нет пользы блудить языком. Когда не люди, но Аллах на Страшном Суде спросит Эльдара: «Чем отмечен твой путь на земле?», я отвечу: «Поклонением правде».

А, Темир! Ты думал хитрой ловушкой переменить движение судьбы в просторах земных? А ты сказал: «Кадаевых род побеждает всегда: если не в честном бою, так лукавством». А ты, горделивый храбрец, прибежал к помощи женщин. В дело, где горская совесть не мирится с тьмой, ты напустил пыль обмана и мглу потаенных речей. Как, у тебя, кроме утлой Дауты, не нашлось никого для судьбоносной попытки? И чем же, Темир, соблазнял ты Дзеннетту? Ниткой жемчуга? Ларем старинных сокровищ? Чем грозил? Гибелью рода Кадаевых? Йа-Алла! О гибели этой молился едва не весь Орсундах... Ты велел Дауте сказать: «Дзеннетта, твое решенье или спасет, или погубит аул». Мир или бой – вот что дал ты, гордый храбрец, на выбор горянке Дзеннетте. Но, лукавый сын Сатаны, ты умолчал о супротивниках боя. О том, что в бою за Дзеннетту будут сражаться все горцы на одной стороне, а ты, с ратью чужих адыгейцев, пойдешь против гор, – этого ты не сказал. Лукавец! Малодушный изменник горскому племени. Кадаевский выродок – так обзываю тебя теперь и на веки веков.

О Божьем Суде ты забыл. О том, что Господь, отнимая рассудок, отдает гибели гордых. Ты задумал идти против гор, но горы были, есть и останутся Божьим престолом. Что же, по воле своей каждый избирает судьбу. Один – служением правде, добру, другой – исканием даров Сатаны. Те дары: ложь, обман, злые поступки – и все ради призрака «славы», «победы», все ради того, что есть суета перед Богом.

Но – довольно. Кажется мне, я сам впадаю в ошибку. Не надо спешить. Ведь и поспешность – изобретение дьявола. Пусть моя повесть развивается свитком. Пусть дряхлая память Эльдара оживит минувшие лета. Пусть не Эльдара слова, но деяния тех, о ком рассказывается повесть, пусть сами они говорят за себя. Я верю: человек справедливого сердца, услышав повесть Эльдара, воскликнет: «Бог в правде живет на земле». А люди, плененные злом, омрачатся. Так быть должно: добру – воздаяние, возмездие – злему. Так быть должно, так есть, так было, так будет до скончания дней...

Сата не воспротивилась воле владыки. Наныка покорилась без слов. Тихая свадьба была, без людей, без танцев, без привычных горских обрядов. Что за радость в свадьбе беззубого деда с аульской кахме? Но сперва Джемал отдал заботу скотине. Привел трех коней из стада Темира – сам выбрал свой свадебный дар. Коней накрепко запер в конюшне. Пятнадцать баранов с отборным самцом отогнал на дальние пастбища. Корову – заодно уж и телка захватил во славу и щедрость владыки – поставил в сарае. Лишь потом принял жену, был уже вечер.

Утром Орсундах встрепенулся. Великая новость облетела дома. Ласточки так не летают проворно, как новость о том, что Джемал, для поддержания чести аула и чтобы была острастка другим, позорит жену. Верно, верно, о люди: был обычай такой. Если девица, вступая в замужество, не была девой, молодожен позорил ее. Не каждый, конечно, но были такие. Кто из мужей выше женской ошибки ставил семейную честь – тот молчал. Кто же считал своим долгом разносить по аулу бесстыдные толки о той, которой клялся в любви, тот – это верно – клеймил, позорил, преследовал... кого? Внешне, так каждому видно, согрешившую деву. В глубине сути вещей – того, кто живет и страдает в звезде и былинке, кто есть муж, и жена, и семейство, и род – кто есть единый во всем...

На ослице, поднятой с кучи навоза, спиной к морде ушастой, в разодранном рубище, с головой, посыпанной пеплом, – так вывез Джемал

молодую супругу на срам Орсундаха. Дал в руки Наньке горшок с продырявленным дном. Шепелявил Джемал:

– Ва-Алла! Люди, вот едет несчастье Джемала. Кто милосерден – жалейте его. На старости лет стыдом покрыты седины его. О-ле-ле! Смотрите – эта паскуда, она осрамила Джемала. Она не знала жалости к старому мужу; старый муж – это я, и я говорю: не на того напала, Нанька. Гайда! Возвращайся откуда пришла...

Так причитал, шепелявя. Люди слушали. Горянки – та, стыдись, та, любопытствуя, выходили за дверь. Какой-то грязный мальчишка бросил коровий помет – из озорства. Старая бабка, мать Дауты, погрозила клюкой. «Все ведьмы бесстыдницы» – так сказала вдогонку Наньке. Только Абу Косой и еще трое кадаевских верных сопровождали ослицу: владыка должен знать о событиях в жизни аула – малых, больших, ничтожных и даже таких, как посрамление аульской кахме. Близ мечети – был четверг, мечеть убирали к празднику пятницы – увеличилось шествие. Ротозеи, бессемейные старцы – они злые всегда, также калеки встали с камней. Их вечная скука прервалась. Богатое зрелище. Брань – услада бездельников. Гнусная брань – наслаждение. Лес палок взвился над Нанькой. Джемал, со счастливым лицом, причитал:

– Орсундахцы! Помогите, избавьте Джемала от грязи, омойте его...

Тут из двери мечети вышли горцы. Впереди Эльдар-бек, остроносый, с седыми бровями. С ним Бекир, добрый хозяин; Шовгай, со шрамом; рыжебородый Хассан; сзади всех Агелик. На этой неделе их черед убирать молитвенный дом.

– Остановитесь! – крикнул Эльдар. От первого звука строгого окрика разошлись ротозеи. – Джемал, – сказал Эльдар-бек, – аулу известно, кто повинен в сраме несчастной. К чему ты стремишься, Джемал? Желаете найти оправданье корыстолюбивой душе? Аулу известно – ты принял подарки. За какие услуги? Что, проступает стыд на лице? Эх ты, враль, лизоблюд. Уйди, не то пожалеешь, что не заячьи ноги твои.

Сгинул Джемал: как будто земля проглотила. Нанька – на лицо опущены волосы – дрожит на ослином хребте. Ослица нюхает землю. Абу и трое кадаевских верных стоят в стороне.

– Как теперь поступить? – разводит руками Бекир. – Не надо все-таки сердить владыку Темира. Я ни при чем в этом деле.

Хмурый Шовгай:

– Сердится тот, кто не прав. Если же прав владыка, тем хуже для подданных. Лучше сбросить ее со скалы, чем так мучить.

– Да, убить милосерднее, – с пылом волнения Агелик подтверждает.

В стороне – Абу с тремя верными роду Кадаевых: слушают.

Насупились седые брови Эльдара. Осторожный Бекир вернулся в мечеть. Агелик, без слов, набрасывает коврик, взятый из сени мечети, на поникшую женщину. Берет за узду – уводит ослицу. Эльдар в раздумье кивает вслед головой: «Порывы юной души, – так думает, – бывают мудрее рассудка». Абу с тремя верными смотрят и шепчутся... Владыка должен знать обо всем.

К самому дальнему дому, в южном клине долины, туда правит рука Агелика. Дом стоит на пригорке. Густая трава вокруг садовой ограды, внутри ограды бурьян. Расшатались столбы у ворот. Верх дымохода сбит – может быть, вихрем, может, рукой ревнителя нравов аульских. Крыша – здесь провалилась, здесь горбом поднялась. Три курицы клюют горсть шелухи... Кармакай, не узнал бы ты дома, из мертвых восстав. Эх, Кармакай, ослица, нашедшая водопровод под землей к Леуановой башне, погубила тебя. В позор, в нищету привела Сату и Наныку, разорила хозяйство. Эх, Кармакай, пешеход, отдавший Леуанову башню адыгейскому князю...

Сата без платка выбегает навстречу. Голова – стог соломы под снегом: золото кос изъедено горем. Померкли опалы очей – муть бездонного омута под изгибом бровей. Брови – крыло. Очи – бездна. Сата понимает, зачем взята ослица с навоза, зачем осыпана пеплом Наныка. Снимает дочку с хребта. Прячет голову дочки на грудь, на материнскую, на ту, которой вскормила Наныку, которой гордилась, на грудь, дарившую ласки Темиру. Скрываются обе за дверь – дверь косо на петлях висит. Доски в щелях широких. Куда ни глядит Агелик – везде нищета, запустение.

– *Марием йи тха пши*, – шепчут губы, – Мария-князь-бог, владычица неба, – учил мулла Амирхан. Ты оставила бедных в беде. Но чувствую, ты внушаешь поправить беду.

С одобрения Эльдара, поправляет беду кармакаевских сирот. Нет стыда в подаянии, помощи тем, кого судьба обделила. Вскопал огород Агелик. Выровнял крышу. Вернул крепость дверям и воротам. Очистил тропу от колючек терновника – та тропа ведет к роднику под скалой:

глухой угол в клине долины. Так, трудясь, не искал разговоров ни с Сатой, ни с Наныкой. Отводил взор от исхудавшей колдуньи Саты. Встречая Наныку, заметно полную в стане, в небо глядел. Там, в звездном просторе, исполнялись судьбы людей: Агелика, Саты, Наныки, Темира... – всех, всех, кто ходил по земле.

Узкотелая юркая ящерица зеленой струйкой бежит меж камней. Любит солнце. Вилообразный черный язык щупает воздух. Немое создание, хрупкое, не причиняет зла никому. Ловит мушек, но охота за ежедневной едой – всеобщий удел. Тут нет вины одной только ящерицы. Живое для жизни пожирает живое – таков безвыходный круг бытия.

Даута, дождавшись заката, черной тенью скользнет от двора ко двору. Чешуйки-морщинки собрались в улыбку. Что в ней? Любованьё нитью жемчужной? Нить несет показать для искушения Дзеннетты... Или зависть навеки отцветшей старухи к молодому цветку Унараевых дома?.. Есть добрая старость, есть и злая; неуклюжий буйвол Мусса, когда укоряет жену, всегда говорит: «Даута, осиное жало...»

Концом языка увлажняет Даута пересохшие губы. Верещит про себя: «Мотыльки летят на огонь. Мотылец Дзеннетта, огнями сияет кадаевский ларь. Прилети, полюбуйся. Сперва погрузишь об Ансаре – после привыкнешь, найдешь удовольствие в жизни с Темиром. А там, глядь, вспомнишь старуху Дауту. Позовешь ее, скажешь: „Старая мать, вот награда за верный совет“. Разложишь шелка, шнуры золотые, пояса с бирюзой, серьги в алмазах... Охо-хо, я выберу серьги...»

Сумрак лежит на горах. Продолговатые тени слились в огромные озера формы долины: широко в середине, узко в концах. Тень озера вместе с дымом из труб творят впечатление синей воды. Колеблются волны, стремятся от темного дня к ясности неба. Кровли саклей, подобно плотам, плывут на волнах. Пять длинных, ровных плотов – пять плоских крыш семьи Унараевых. Невзрачный утлый челнок подплывает к крайнему плоту: Даута вошла в дом Микраэля. Прошмыгнула ворота, белкой, белкой, спешит в сад – там в эту пору Дзеннетта собирает плоды, упавшие за день.

Благоприятный мир, ароматы живут среди садовых деревьев. В спелой груше бзыкает пчелка, опоздавшая в улей. Звон маленьких крыльев кажется громким – так тихо в плодовом саду. Крадучись подходит Даута. Зачем тревожить других? Для такого тайного дела нет нужды в пятом

глазу: четырех хватит как раз. Девушка видит Дауту, разгибает колени: ровняла в корзине плоды.

– Дзеннетта-джан *, сладкое яблочко, – напевает старуха, – послушай, что скажет Даута. Даута речь поведет о безоблачном счастье, о твоём, девушка, счастье, о медовой судьбе – на всю жизнь...

Горные козочки обладают чувствительным нюхом. Охотники могут поведать об их чудодейственном свойстве: если сам собою падает камень, коза посмотрит и снова пасется; если же камень упал от ноги человека, скрытого так, что и орел не заметит, – стремглав убегает коза.

Чувствовали ли сердце чует Дзеннетта: надвигается тень... Откуда? Что принесет с собой? Не нужно гадать. Тень есть чернота и опасность.

– Тетя Даута, у нас сыро в саду. Пойдем к бабушке. Знаю, бабушка любит гостей в вечернюю пору – ей не спится, не хочется спать.

– Нет, только минуточку, милая птичка, останься в саду. Вот, посмотри, какую прелестную штучку получила Даута. А для тебя, душенька, если захочешь, приготов...

– Тетя, Богом клянусь, ты простудишься – грех на душу мою. Зажжем свет, ты покажешь бабушке жемчуг, идем, тетя Даута.

Прильнула чешуйчатой кожей в морщинках к упругой щеке:

– Захочешь, – будешь женою владыки; не какой-нибудь мелкий владетель, сват пастуха, – богатырь, рыцарь, господин над целой долиной с двумя высокими башнями, почти падишах, вот кто мог бы...

Теперь туча повисла здесь, над ветвями, близко, видно в ней все: нахмуренный лоб, глаза дикого ястреба – чернь с желтизной, жестокая складка у рта, заостренные копыта-усы.

Дзеннетта, оставив корзинку с плодами, обнимает Дауту, дрожащей рукой увлекает из сада. Едва удерживает смех – смех сквозь рыдания: две бури встретились в сердце. Буря проказливой девочки с бурей невесты, когда жених оскорблен.

– Тетя Даута, свою сладкую сказку доскажешь в комнате бабушки. Обещаю – дослушаю все. Отвечу сладкой песней на сказку.

Смеется. Даута поверила смеху. Бывает, змея проползет у ножек дитяти, не жаля его. Змея доверяет дитяти. В чем тайна? В невинности чистого сердца – чистота обезоруживает зло.

Старая бабка, Чорттая вдова, прядет на память. В комнате свет, но старуха не видит, не слышит почти ничего. Дзеннетта оставила гостью

* Д ж а н – душа.

у бабки. Быстрее ласточки с синими крыльями дом обежала. Мать Даху, тетю Фузу, теткину мать, дочерей тетки – всех всполошила: спешите услышать сказку Дауты, спешите услышать песню мою.

Тетка Даута:

– Сестрицы! Толкую о счастье Дзеннетты, богатырь над богатырями целого света ищет руки ее. Будет жить в несметном богатстве. Унараевых род станет славнейшим из славных. Кто он – пока не скажу. Только о том должно напомнить, сестрицы, что отказ равносильно войне. Пропадут наши головы – весь Орсундах в прах распадётся. Но Дзеннеттино «да» возвеличит аул, подарит блаженство каждой из нас...

Дзеннетта не в силах сдержаться. Ноги пляшут, руки – мотыльковые крылья – летают. Внутренний смех пузырьками целует уста. В темных звездах-глазах трепетание девичьего гнева.

– Так вот, тетя Даута, и мать матерей, бабушка милая, и мама Даха, и Фуза, и все, – вот Дзеннетты ответ:

На Поляне Удачи
Пять сбитых шишек лежат.
В Орсундахе
Пять пьяных парней сидят –
Три адыгейца: Пшемахо, Герандуко, Койсын, –
Один Абу Косой, один Абу-Зин *.

Кулачки – и из кулачков, кажется, сыпались искры гнева – кулачки поднесла к ящерицеподобной Дауте. Смеясь и плача сказала:

– За Абу-Зина, за Отца Блуда, пусть кахме замуж выходит. Так передай богатырю из сказки твоей: Абу-Зин и кахме – славная пара.

* А б у – отец, А б у-з и н (отсюда русское – обезьяна) – отец блуда.

Ночь полнолуния

...Приснился сон Темиру. Он – не он, шмель мохнатый, алчно летящий в поисках меда. Дуновения знойного ветерка подгоняют шмеля. Душно, жарко ему. Два цветка, два цветочных венчика, появились впереди него, два нежных, на гибких стебельках; порывы ветра колыхают цветки. Пронзительным лётom устремился Темир-шмель к цветкам, жадно прильнул, пил, высасывал ароматную влагу. От одного к другому перелетал, по прихоти мимолетной. Один цветок покорно раскрывал свою чашечку навстречу жадности шмеля, другой отстранялся, увертывался, оборонялся от него. Но – и это распяляло жажду назойливого шмеля – обороняясь, цветок словно дразнил и звал его. Лики цветков вдруг увидел Темир-шмель, два лика: покорно-приниженный один, другой – упрямый и смелый. Первый лик, Наныкин, омерзел ему, другой, Дзеннеттин, приводит вождение его к безумию, к последней грани, дальше уже нет ничего – только дымчато-пурпуровая мгла, мигание далеких зарниц, бездна, темный провал. Со всего маху ринулся шмель на цветок-упрямицу. Ветер рванул стебелек – удар мимо пришелся. Снова и снова налетал – всё мимо. А духота, а зной возрастали; ветер не ветер уже: ураганный вихрь кружит мохнатое тело шмеля. Задыхаясь, со стоном пробудился Темир. Ныли кости. Тяжесть в мыслях. Бунтует кровь, набегают на сердце. Бешеным боем колотится сердце, как будто оно само по себе, в отъединении от тела.

– Абу! – крикнул.

Косой ждал за дверями этого крика – вошел.

– Поддай холодное пиво.

Напился, отер пот с лица. В башне не было жарко. Из узких бойниц ложились продолговатые светлые пятна на пол, устланный ковром. Шесть бойниц – шесть звеньев света вперемежку с шестью звеньями тьмы: в середине причудливой цепи стояло ложе Темира. Этот ярус старинной Кадаевой башни, второй от земли, избрал для жилья. Не на спальную

горцев, на оружейную, на склад доспехов походит жильё. В углах связки копий, под ними груда мечей, шашек, кинжалов – в ножнах и без оправы. Тысячезубая пасть глядит из угла, из каждого, всего четыре угла. На стенах висят рубашки из железных колец, рядом – латы из кожи и твердого дерева, щиты, шлемы, забрала. Отдельно развешаны охотничьи снасти. У изголовья постели ларь, обитый железом: сокровища рода Кадаевых.

– Абу, отгадай сновиденье. Я был шмелем во сне, две девушки были цветками. Я жаждал обеих. Одна поддавалась, другая отгоняла меня. Мое желание стремилось к этой, другой. Но, помню ясно, не эта, бесстрашная, принадлежала шмелю, напротив, та, которая ему омерзела. Я бился до изнеможения сил – все же прелестный цветок, желанный, ускользнул от меня. Что это значит?

Говоря, лежит на спине. После сна распушились усы, на усах клочья воздушной пены пивной. Задумчиво смотрит в незримую даль. Слушает, но не Косого: невнятный голос, подобный звону металла, кажется слуху; невнятный и странный – не то птица-певунья, не то девушка в припадке беспричинного смеха.

– Слушай, Абу. Я так этот сон понимаю. Цветок, опротивевший мне, – Нанька, желанный – Унараевых дочь, Дзеннетта, знаешь ее. Теперь тебе легче ответить: в чем смысл вещего сна?

Встретились взгляды Абу и Темира. Низкорослый старик, корявый, смотрит хмуро. Во взоре Темира – поиск и трудная дума. Они оба знают друг друга. Кто они? Владыка и раб не могут назваться друзьями. Старая связь пестуна и питомца давно отмерла. Кто же они? Кто сообщца достигает цели одной, сообщниками таких обзывают. Цель Абу – благо Темира, цель Темира – благо свое. Сообщца идут к одному оба: владыка и раб.

Абу:

– Не понимаю толка в загадках. Сны – пустое мечтанье. Ва-Алла, лучше послушай. Абу расскажет правду о жизни, о настоящей, где люди живут.

– Делаешь промах, Абу. Сны часто правдивее жизни. Помню, было мне мало годов, еще на коня не садился. Вижу – во сне, но так ясно, как будто бы все нарисовано – я бреду лесом. Луна в полном блеске озаряет паутину ветвей. Вдруг без шума бык-чудовище бежит на меня. Я был малый тогда – замираю на месте. Бык наставляет рога, чувствую боль, как будто рога пронзили меня, – просыпаюсь... Так и случилось со мной на охоте в прошлую осень. Оленьи рога разодрали рубашку на теле. Но я был проворней оленя. Вон эти рога, третьи с краю. Рядом и нож повесил в память правдивого сна.

– То бык, а это олень. Какая же правда? Но будь разумным, Темир. Оставь сны гадалкам. Ва-Алла, есть дела поважнее.

– Говори.

– Носатая мышь, Даута, всполошила аул. Зачем доверился бабке, Темир? Я учил тебя с малолетства: опасайся конского зада и бабьего рта. Весь Орсундах повторяет дерзкий ответ попрыгуньи-девчонки, цветка из сна твоего, на сватовство владыки Темира. Пусть гром разразит старца Абу, если лгу: смеется старый и малый. Ва-Алла!

Поперек ложа садится Темир. Три толстые жилы – ярость в них – выступают на лбу. Дергает ус:

– Как все было?

– Тошная вошь, эта Даута, вползла в львиную гриву. Девчонка, ты называешь ее цветком сна, созвала всех своих теток. При них крикнула: «Пьяницы пьют: Пшемахо, Герандуко, Койсын, Абу Косой и Абу-Зин». При них ответила: «Пусть Абу-Зин уговорит венчаться кахме – славная пара!» – так ответила. Понимаешь, кто Абу-Зин?

Темир поднялся, в одежде ночной, быстрый в движениях, ловкий, увертливый змей в шкуре-белье с темной полоской. Схватил пику, в угол метнул – задрезжали клинки. Кажется, воочию слышит голос, подобный звону металла: не то птица-певунья, не то девушка, когда веселье обуревают ее: «Абу-Зин и кахме».

Сел у стола. Босой, немного сутулый. Жизнь и гнев в глазах, в ястребиных; чернь с желтизной в искристых очах.

– Что еще?

– Джемал выгнал Наныку. Скотину оставил. Цветок из сна твоего проехал на ослином хребте по аулу. Ва-Алла! Не было сраму такого – не для кахме, пусть черви пожрут твой цветок, для владыки Кадаева рода. Аул потешался. Эльдар-бек с Агеликом разогнали толпу. Агелик при этом сказал: «Милосердней убить женщину, чем оставлять жить в позоре». Потом...

– Стой! Как сказал?

– Ты слышал ясно.

– Милосердней Наныку убить, чем в живых оставлять?

– Так. Потом Агелик работал для Саты и Наныки. Да, мои вести правдивее снов о цветах. Бабы, бабы – они губят тебя. Ва-Алла! Присягаю раскатом небесного грома – аул перестал бояться тебя. Малодушная кровь Барзона в жилах твоих сильнее крови Кадая. Так это есть. Если уже и бабы осмеяли Темира...

– Умолкни, пес косоглазый. Как верно то, что ты раб, а владыка – Темир, так верна будет награда моя. Всем! Га! Орсундах веселится? После веселья горькие слезы бывают. Я ударю – не слезы, кровавые реки зальют Орсундах... Беги вниз. Прикажи зарезать барана, лучшего в стаде. Пиво, буза, арака, вареный индюк, пышки с маслом и медом, свежий сыр – все прикажи подавать. К полудню позови адыгейцев. Будет пир, это я говорю, пир будет. Ну, Орсундах, приготовься к великому пиру Темира Кадаева...

Пир, в полдень начатый, протянулся до вечера. Великий Аллах! Что за пир! Сам султан в Истамбуле не видел такого. Пеннистое черное пиво, на медовых сотах, что сварили при деде Барзона, льется рекой. Арака, после трех перегонок, прозрачней кристальной воды, крепости сказочной *сана* *, прожигает тело насквозь. Цельный баран лежит на столе – зажарен искусным Абу на трезубой рогатине – второй баран, первый съеден давно. В наказанье Дауте Темир приказал взять всех индюков со двора Муссы и Дауты, пусть Мусса голодает, пусть плачет Даута. Индюки, один за другим, подаются на стол. Тетке Темира, Таужан, жене Эльдарбека, приказано испечь пироги: пусть справедливый Эльдар почувствует руку владыки. Нет двора в Орсундахе, обойденного «лаской» Темира. Отовсюду несут к твердыне Кадаевых припасы питья и еды. Больше других ущемил двор Муссы, пять дворов Унараевых, двор Эльдарбека: в мыслях Темира, они виноватей других в насмешках аула над ним.

За столом Темир с адыгейцами, у дверей – Абу, адыгейские слуги, слуги Кадаевых. Внутри высокостенной ограды пируют верные владычного рода. Чтобы было побольше горцев в ограде, согнали старых и малых: пусть все разделяют веселье владыки.

Второй день продолжается пир. Темир держит себя беззаботным, довольным – на покрасневшем лице не видно следов огорчений. Два молодых адыгейца, Герандуко с Койсыном, поддались чарам бурного пиршества: поют, говорят о былом, вслух о красотах мечтают. Старший, Пшемахо, пьет, как другие, но дух его начеку. «Неспроста, – думает, – Темир угощает. Праздников нет, в ауле брожение мыслей. Подождем, с чем ты выйдешь, хлебосольный хозяин, подождем и увидим».

Огромный серебряный ковш поднимает Темир:

* С а н а – напиток богатырей-нартвов (отсюда *нартсан* и *нарзан*).

– За благородство адыгейского князя – так говорит, – за его высокую дружбу, за ненарушимую верность, взаимную, Темира к его покровителю, князя к Темиру. Алла!

Все встают. Опорожняют ковши. «Алла!» – восклицают. Когда садятся, Темир шепчет в ухо Пшемахо:

– Этот ковш, родовой, старинной работы, был бы наградой тому, кто посоветует князю проехать в горы. Если бы князь прибыл сюда, показал бы ему сокровища – нет им цены, – что хранятся в ларе у моего изголовья; знаешь обычай, Пшемахо: подарок гостю – радость хозяина.

Пшемахо с большою охотой одобряет Темира слова:

– Истинно! Из твоих уст сочтется мед мудрости. Всегда великое счастье приветствовать гостя. Речь идет лишь о том – кто у кого должен гостить. После болезни Барзона, ты, приняв власть, навестил адыгейского князя. Через год князь был у тебя. Подумай: чей черед ехать в гости?

Сузил миндалевидные очи. Не смех, только лукавство в темных зрачках. Про себя вспоминает ответ адыгейского князя на сообщение о том, что поднимают головы горцы. Князь велел передать: «По воле Аллаха воюем с бжедухами, пока веди пешеходов на мягкой узде, дальнейшее в воле Аллаха».

Темир не имеет что возразить. Думает. Правда, в присутствии князя – он без дружины не ездит в далекие горы – легко укротить Орсундах. Но не ошибка сказать, что и без князя возможно – если действовать умно – овладеть поставленной целью... Мысль работает: два быстрых жернова мелют зерно. Жернова: первый – Темир с верными горцами, другой – три адыгейца. Непокорные зерна: Унараевых род, Эльдар-бек, Агелик и где-то там, на краю, щедушный Ансар. «Ничего – мука выйдет на славу!» – так ободряет себя. Хмель напитков распяляет гневную кровь. Дарит легкость мечтам, утешает видением блага. Все будет так, как задумал Темир.

Подзывает Абу:

– Подай гостям доказательство нашей любви.

Абу исчезает на малое время. Когда снова приходит, с трудом держит в охапке подарки: три бурки, три башлыка тонкотканых, три отреза сукна, мягче шелка; три плети с рукоятками из серебра.

– Друзья! – Темир пронизывает взором одного за другим адыгейцев. – Сегодняшний пир отмечен взаимной приятнью. Неравномерна эта приятнью. Я – нищ, вы – богаты. Недавно вы трое наградили меня словом мужей адыгейских, обещали помощь в попытке, о которой мы

знаем, о которой лучше молчать. Близится время, когда не одинокий Темир, но Темир вместе с подругой, избранницей сердца, приветствует вас в дедовской башне. В залог дружбы вы, богачи, примите подарки от нищего. Я понимаю: подарки ничто в сравнении со словом адыгейских мужей. Ва-Алла! Выпьем за дружбу, за удачу попытки, о которой мы знаем, о которой лучше молчать.

Встали, выпили. Поставив пустые ковши, обнялись троекратно: адыгейцы с Темиром. Нетерпеливый Койсын, засмеявшись, спросил:

– Признавайся, кого задумал украсть? Чтоб мы знали: много ли всадников взять с собою в отважный набег?

Темир, озаренный довольством:

– Разве не пятеро нас, считая Абу? Пять смелых сердец весь мир завоеют, не только избранницу сердца. Что скажешь, Койсын?

– Лишь это: желаю удачи. Ва-Алла! Кажется, будет потеха.

– Надеюсь. Все придет в свое время. Не сегодня будет набег. Сегодняшний день зову друзей на охоту.

Великие горы! Великие мощью, великие правдой своей! Почему, видя приход злодеяния в мир, вы не сходите с мест? Как возможно бесстрашие вечнобелых, алмазных вершин, когда в мире творится злодейство? Вы, святые хранители правды всех народов земли, не возмутились, не поразили преступника. Как могло это быть? Вы наблюдали в молчании, в непонятном, дивном спокойствии, всё от начала. Вы не могли не видеть конца кровавой расправы. Коршуна видели вы, видели жертву. Коршун, отделившись от стаи, поставил коня в серых яблоках за широкоспинной рощей дубов. Спрятав клюв, сложив остроперые крылья, сошел с горы к роднику. Черно-желтые очи и уши жестокого хищника подстерегали добычу. Вот, по узкой тропе, между тернистым кустарником, мелькнуло женское платье. На плече высокогорный кувшин. Отяжелевший стан гнет стройные ноги к земле. Что это было, о горы? Предостережение свыше? Почему, сняв кувшин, она боязливо озирает кусты? Неужели чувство смертельной опасности вспыхнуло в ней, повелевая вернуться? Но – поздно. Стремглав бросается коршун на жертву. Борьба. Короткая. Короче вопля «на помощь!», вровень со словом «аминь». Кровь окрасила, согрела чистоводный родник. Мертвое тело легло поперек светлой ленты ручья. Совершилось! Коршун вернулся к коню за рощей дубов. Густая листва шелестела безмятежно, с ласковым шепотом, как был молвя: «У родника в клине долины ничего

не случилось». Реки бурлили волнами; камни, скалы, утесы кутались в сумрак вечерний, как вчера, как завтра, как вечно кутаться будут: мир оставался, каким был. И горы, благословенные близостью к Богу, без признака скорби, глядели, как прежде, на мир, на коловращение дней, на судьбы людские, глядели бесстрастно, в величавом спокойствии...

Боже! В чем же тайна невозмутимости гор-великанов? В том ли, что в их каменном сердце не трепещет огонь бытия? Или – так должно верить – мудрое знание грядущих возмездий, уверенность в том, что зло не избегнет отплаты, это дарит горным вершинам покой?

Охотники съехались. Нарядная кавалькада скачет по узким переулкам аула. Впереди Темир и Пшемахо, дальше Койсын с Герандуко, всегда неразлучная пара, позади Абу и охотники. Добычи немного везут. Что добыча? Ведь эта охота-забава – промежуток в питье и еде.

Пшемахо, шутя:

– Ты как-то исчез под конец. Неужели вместо зверей за красоткой гонялся?

Темир, скрывая странное чувство, уколовшее грудь:

– Тур это был. Спрыгнул в обрыв, как камень падает в пропасть.

Про себя: «Верно – камень с шеи свалился. Теперь, Дзеннетта, ничего не сможешь сказать о кахме, дай время, капризная девушка, все войдет в лад. Войдешь и ты в лад с Темиром. Ва-Алла...»

Не доезжая башни Кадая, Темир задержался:

– Эй, горцы! Передайте аулу: Темир зовет всех девиц и джигитов на танцы к себе; пусть поспешают веселой гурьбой – для всех угощенье готово; музыкантов возьмите – в день пира владыки пусть пляшет весь Орсундах!

Внутри высокостенной ограды составили круг. Отдельно джигиты, девицы отдельно. В воротах Абу встречает новых и новых гостей. Нет обычая отказывать в танцах кому бы то ни было: пастуху и владыке. Все пришли. Унараевых род выслал девять девиц, Дзеннетта девятая. Нальчжуз, дочь Эльдар-бека, пришла с Агеликом. Две дочки Муссы и Дауты. Простые и знатные девушки в равенстве пляски стояли рядкой цветов. Против них, полукругом, мужчины и юноши. Темир с адыгейцами смотрят с крыльца, обмениваясь мнениями. Трепетный бубен вторит кобузу; кобуз, горская скрипка, поет, заливаясь. О быстротечной радости юности, о том, что смелые ноги к счастью приводят, о геройстве влюбленного сердца джигита, о прелестях брака для девушек, сохра-

нивших девичество, – об этом распевает кобуз. Металлически-звонкий голос струны вьется, волнуется, впивается в кровь, ее зажигая. Такт бубна подобен вздохам горного ветра: уносит, бьет, возвращает обратно, награждая тело азартом. Темир, не слушая бубен, внимает кобузу. Знакомое чувство будит струна. Ее звук выпевает слова оскорблений. «Абу-Зин и кахме» – слышит Темир в пении кобуза. Насильно тушит зарево гнева: «Дзеннетта, не смей петь о кахме. Подожди. Все придет в свое время. В свое время и ты к Темиру придешь». Издалека, с крыльца горницы, смотрит на танцы. Смотрит на всех – замечает одну. Но Дзеннетта ни разу не подняла глаз на крыльцо.

В воротах движение. При пляшущем свете костра из еловых ветвей видно – расступилась людская волна, пропуская нового гостя. Все стихло. Только огненный змей гудит и пляшет на груди ветвей. Дым, кровавые пятна на стенах, пляска теней, разодранных в клочья, – вот картина двора. Продирается к горнице женщина, причитает, бьет себя в грудь – что-то прячет на ней. Голосит:

– Убийца Наныки... убийца заслуживает смерть... помогите, горцы и женщины горские... Отомстите Наныку, убейте убийцу ее...

Сата трясет костлявой рукой, угрожает крыльцу. При общем смятении прямо идет, как неотвратимая кара, бежит на Темира. Темир, быстрее хищного волка, сбегает во двор. Громкий голос:

– Женщина! Кто убил, говори!

– Дочка моя, голубица, Наныка... О, проклятье убийце. О...

– Кто убил, говори, если знаешь!

– Ты спрашиваешь? Будь проклято время, когда...

– Абу! – Темир уже не Темир. Окрыленным змеем летает. Он везде. Он у ворот. Мигнул верным – вооруженная стража заняла выход. Он на крыльце. Улыбаясь радушно, шепчет в ухо Пшемахо: «Извини суматоху. Сейчас все пойдет своим чередом...» Он опять в середине народа. Повелительный голос внушает, грозит и ведет:

– Абу! При всех отвечай. При всем Орсундахе. Что слышали ты и трое других у мечети перед праздником пятницы?.. Стой! Слово к тебе, орсундахский народ. По закону довольно двоих для решения судного дела – у нас четыре свидетеля. Ну, Абу, отвечай.

– Я и трое других готовы поклясться. Мы слышали так: «Милосердней Наныку убить, чем в живых оставлять». Мы готовы поклясться.

– Кто говорил об убийстве?

– Агелик. Присягаю – я и...

– Схватите его...

Темир первый, вожак волчьей стаи, помчался вдогонку. Крик, сумятица, выстрелы. Вооруженная стража у входа не пропустила бы кошку, не только статного горца. Высокие стены, без вмешательства воли Аллаха, удержали бы и барса, не только статного горца. Шаг за шагом проверяет Темир, вместе с верными, все закоулки двора. Впереди себя пистолетом шарит в тенях. Нет Агелика! Так зашли в дальний угол двора.

– Что это, кто велел положить сюда камни? Перестреляю виновных...

– Погоди.

Абу наклонился к Темиру:

– Себя не убьешь, дорогой. Эти камни, из переделанных окон-бойниц, ты велел унести в дальний угол двора. Видно, разгневал ты предка Кадая. По этим старым камням ушел Агелик. Теперь – ищи ветра в поле, Темир, лови ветер...

Была ночь полнолуния. Темные тучи плыли по небу. Золотистый фазан небесных просторов поминутно прятался в зарослях туч. То были дивные тучи. Ползли то быстро, то медленно – караван заблудившийся. Временами падали капли, снова ясно. Края туч, густых и разорванных ветром, были словно обрезаны. Казалось, тучи и ветер с луной забавлялись зловещей игрой. Земля, притаившись, следила за причудами неба. По кровлям аула, по узким проходам между домов, по башням пробегали неровные тени. Леуанова башня белела вдали, башня Кадая – в середине аула. Так поставил твердыню Кадай, чтобы с ее верхнего яруса можно было бы камнем разбить самую дальнюю кровлю аула: властелин да угрожает рабу – на веки веков.

Полночь. Темир и Абу в оружейной, где ложе Темира. На полу мерцает слабый фитиль в глиняной плошке, наполненной салом барана. Свет луны сквозь щербинки бойниц порой затеняет робкий огонь фитиля, порой сам затемняется тучей. Дрожащие отблески бегают взад и вперед по оружию Абу и Темира. Оба как будто к битве готовятся. Темир раздраженно:

– Где же мой рог, добытый на поляне Удачи? Насыпь доверху пороху, подай рог.

Абу:

– Рог! Рог! Поспеши, ради Аллаха. Адыгейцы ждут знака. Пора выезжать.

– Без рога не выйду из башни. Есть примета: удача удачу зовет. В эту ночь хочу иметь рог на себе. Пойми, Косоглазый, решается многое –

быть может, Темира судьба. Если Дзеннетта моя – мои Унараевы. Пусть девчонка похнычет, не большая беда. Кровная связь с Унараевых родом возвратит мне Орсундах. При неудаче Темиру лучше погибнуть. Сообрази: на помощь адыгейского князя положиться нельзя. Нас, Кадаевых, против врагов – если всех посчитать – горсть гороха против стены. Ансар с войском примкнет к Унараевым, за ними пойдет Орсундах. Смешно! Судьба владыки Темира зависит от капризной девчонки – от того: успею ли украсть и позабавить ее... А дальше – ну что дальше, о том в свое время узнает. Узнает Темира, Ва-Алла!.. Где же рог?

– Должно быть, там, где и плеть. Смотри, Темир. Есть другая примета: потеря потерю зовет. Но все это бабам оставь. Настоящий мужчина верит силе своей, а над приметой смеется. Идем, ждут адыгейцы.

Взяв плошку, Темир освещает стену. Черты лица напряглись. По лицу прыгают злочерные пятна. Нетерпеливой ногой бьет о пол:

– Где рог? Неужели обронил на охоте? Пусть шайтан...

– Эй, Темир. Плюнь, не произноси этого слова. Рог навсегда останется рогом, сердце настоящего горца важнее миллиона рогов. Идем, или взаправду проиграешь игру, еще не начав.

У двери расходятся. Темир сбегает во двор, к двум коням, приготовленным к выезду. Подпруги подтянуты, железо хрустит в челюстях. Садится на серого в яблоках, вороного ведет в поводу. Держась теневой стороны, медленно едет к темному лесу. Копыта коней обернуты войлоком, топот не слышен.

Абу взбирается в верхний ярус. Подобно неуклюжему раку ползет по скрипучим ступеням. Заслоняет ладонью светильник. Добрался до самого верха. Поднял с пола клубок пакли, облитый смолой. Проверил – не отвязался ли камень. Поджег паклю светильником, метнул горящий клубок сквозь бойницу. Задул светильник, фитиль придавил заботливым пальцем. Быстро, насколько несли старые ноги, спустился на землю. Обошел аул издалека, тоже скрылся в лесу.

... Агелик! Как будто вчера это было, вижу бегство твое. Нет, не бегство. Разумный боец, сохранивший смелое сердце, предпочитает бесславной гибели мудрый отход. Ты не бежал – отступил на малое время, чтобы, силы собрав, снова ударить: на жизнь и на смерть. Во имя грядущей победы – а ты верил всегда в торжество правого дела – сохранил свою жизнь. Твой удел не был легким тогда. Разгадав коварство Темира, ты бросился к выходу. Вооруженная стража направила дула в тебя. Ты обманул

сторожей, смешавшись с толпой. Быстрее, чем я говорю, ты разметал горящие ветви: темнота – союзник при отступлении барса. Повинуясь голосу жизни, трепетавшей в тебе, как будто подарившей прозрение того, что придет, ты устремился в дальний угол двора. Визжали пули над ухом, ты летел без боязни. Твои ноги наткнулись на камни. Мгновенно соорудил ты ступени, подпрыгнул – достиг края высокой стены. Да, Аллах дает покровительство правым...

Едва коснувшись земли на той, на другой, стороне, где ожидало спасенье, ты понял, куда направить стопы за защитой. Вспомнил Ансара, верного друга. К утру достиг Агелик стоянки Ансара.

Вблизи ледников есть глубокая трещина. Наперекор законам природы здесь в тесной дружбе живут холод и зной. Из трещины, рядом со льдами, выбегает горячий родник. Испарения серы выются над янтарно-сизой водой. Не первый век здесь лечатся горцы. Палатка Ансара разбита поблизости ям, облицованных камнем. Ансар, исхудавший и желтый, выходит приветствовать гостя. Его улыбка тщится покорить страдания тела.

– Пусть будет счастлив приход милого друга. – Голос слаб, но спокоен. – Агелик! Ты видишь призрак Ансара. Кажется, предки призывают меня в иной, горный аул – каждый вздох человека определен волей Всевышнего. Слава Ему.

Агелик бережно возвращает объятие Ансару:

– Да, твое слово не расходится с правдой. В воле Всевышнего даровать хворому долгие годы, оборвать нить судьбы силача. В эту ночь я познал вечную правду воли Аллаха.

Понимающим взглядом смотрит Ансар:

– Пока отдохни. В шатре найдется чем угостить. Я приду, послушаю повесть твою.

Двое слуг снимают одежды с Ансара. Печальное зрелище. Сочный стебель с листьями, положенный в книгу, ссыхается. Соки уходят, остаются суставы и жилки. Так и тело, поврежденное немощью, похоже на высохший стебель. Не ноги, кости-ходули ступают по коврику к яме. Та яма, с серной водой, разумно устроена. Есть ступени от края ко дну, есть сиденье и ложе. Ансар пробует пальцем горячесть купели. Холодно телу. От ледника набегают острые волны мороза. Жаром пышет купель. После минуты раздумья погружается в воду. Так сидит и смотрит вокруг, размышляя. Куда падает взор, всюду видит величие. Красота, как будто грозящая, поражает взор человека. Необъятное поле снегов лежит:

искристое белое море. Сине-зеленые льдины навалены грудой – без меры, хаотично, огромно, так, словно с неба свалились. Неподалеку протекает река навеки замерзшей воды – ледник. Медленным ходом идут омертвевшие воды, их ход скован морозом, пронзившим сердце реки. В стороне открывается бездна: ущелье, уже меча, с острыми стенами, как будто проклевано мощными клювами в плоти земли. Чернота властвует всюду: сверху, ниже и так до самого дна, но нет дна у него. По приказу Ансара свалили огромный валун в это ущелье. Долго слушали: не дождались звука паденья. «Там, может быть, путь в преисподнюю», – думал Ансар...

Он знает: болезнь – всегда родственна смерти. Его болезнь есть умирание – это знает Ансар. Не ропщет, не ищет обманной утехи в мечтах о чудесном возврате здоровья. Дух его тверд, прозрачен, подобен кристаллу. Порой он подолгу взирает на снеговую вершину о двух головах. Эльбрус – ледяногривый – имя горы. Повелитель великой дружины, сам белоснежный, с воинством в белоснежных доспехах, он ведет, и дружина послушно стремится за ним. Как бы знающий некую тайну, он, величайший, высочайший из всех, держит путь – прямой, неизменный – к чудному небу от невзрачной земли. Мольбу о спасении чувствует Ансар в напряженном усилии гор возноситься выше и выше. Не слышит мольбу, только чувствует: как будто бы сердце родное сердцу весть подает. Когда вечерами следит за угасаньем луча в алмазном венце Эльбруса, он, горец Ансар, повторяет вместе с горой и дружиной ее: «Верую в новое солнце...» Он молится: «О благоуханная кровь великого солнца, нетленная, оживи мою душу, не здесь, там, где есть царство твое». Он просит: «Солнечный луч, освети и согрей в иной, неведомой жизни; ничего не зная о ней – верую: там отчизна души, там сияет бессмертное солнце, незаходящее...»

Из купели выходит Ансар. Проворные слуги покрывают разгоряченное мокрое тело простыней из нежного шелка. Поверх простыни завязывают шкуры, поднимают Ансара, в скалы несут. Только нос и уста остались открыты. Больной засыпает, вдыхая мощную, чистую силу снегов. Так, зноем и холодом, лечат его.

К полудню переносят Ансара в шатер. Здесь тепло. Над жаровней склонился Тотур Унараев. Подпекает на деревянных рожках почки козленка: еда *джалбаур* помогает от всякой болезни. Старый знахарь, живущий при серном источнике, сидит и шепчет молитвы над медным сосудом *тихтаб*. Веки прищурены, ноги поджаты. Пальцем правой

руки вращает воду в сосуде слева направо. Когда уже одетый Ансар садится за столик, знахарь, набрав полный вздох над *тихтабом*, обдувает его.

– Жизнь, здоровье, сила – вернитесь! – так заклиняет.

Перед тем как подать печеные почки, Тотур относит их знахарю. Знахарь вынимает из торбы плетеную клетку, из клетки – малую птицу. Священной, целительной считается кровь жаворонка. Как каждую жертву, и птицу режут с молитвой. Несколько капель, подобных алой росе, стекают из птичьего горла на почки.

Ансар без возражений подчиняется веленьям обряда. Знает: легко подорвать веру народа, трудно потом оживить. «Где есть суеверие, – думает, – там и вера. Господь сам отличит от неправого правое...»

Агелик досказал свою повесть. Ансар, бросив в жаровню горсть можжевельника, задумчивым оком следит за струей ароматного дыма. Сами собой приходят на память слова Магомета, пророка: «Люблю благовония, молитвы и женщин».

– И женщин, – повторяют бескровные губы.

– Ты сказал? – Агелик не расслышал. Очнулся Ансар.

– Да, мне кажется, я понимаю Темира. Ты называешь коварным его. Да, есть коварство. Но если обдумать поступки Темира, смысл легко угадать. Он, жестокий охотник, метит в Дзеннетту. Рассуди, Агелик. Темир отдает Наныку Джемалу; тотчас – связь очевидна – Даута навещает Дзеннетту. Дзеннетта – я вижу ее кулачки перед носом Дауты – дает ответ песней о любви Абу-Зина к кахме. Каждый другой человек, кроме Темира, наказал бы Дауту, объявив лгуньей ее: так оправдал бы себя. Но Темир жестокого нрава, Темир обдумал охоту свою. Ради того, чтобы уничтожить всякую мысль о Наныке, он устраняет ее. Чьей рукой – пока неизвестно. Опасаюсь, новый удар будет направлен в Дзеннетту.

– погоди! – Агелик с трудом следит за словами Ансара. – Только глупец пойдет в бой с Унараевых родом. Подумай! Одних взрослых мужчин у них полсотни. Где возьмет силы Темир? Адыгейцы живут на равнине. Среди горцев Темир не наберет и десятка. Клянусь, нужно лишиться ума, чтобы целить в Дзеннетту: ошибка – считать глупым Темира.

Скорбный налет покрывает Ансара чело:

– Ошибка на твоей стороне. Ты так называешь Темира.

– А ты?

– Я? Обреченным.

Темнеет в шатре. Высокие горы быстро сменяют одеяние дня покровами ночи. Рука незримого ангела снимает с гор, одну за другой, разноцветные шали: после шали белой, в алмазах, мелькнула лиловая с красным узором, после лиловой ушла и сине-зеленая с бахромой лимонного цвета. Громадный покров, густо-опаловый, вытканый ясными звездами, на горы лег. Строгая ночь, холодная, чуткая к каждому шороху, окружила шатер. Ломкий лед захрустел под ногами слуги, приподнявшего полу шатра:

– Ансар, ложе готово.

Ансар отсылает слугу. В темноте, без свидетелей, легче сказать, что тревожит сердце больного. Их только двое: он и верный друг Агелик. Нет, внутренним слухом он слышит присутствие третьего. Она, невеста, цветок, мотылек легкокрылый, ясная ласточка – Дзеннетта, третьей сидит между ними. Горячей бледной рукой обнимает плечо Агелика:

– Поклянись мне... Если случится, что бывает с людьми... Если призыв небожителей-предков победит призывы земли... Если... но ты уже понял. Поклянись, ты не оставишь Дзеннетту. Агелик, без лести тебе говорю: ты один стоишь всего Унараевых рода. Не знаю – кто ты. Верным чувством угадываю – твой путь велик, и долог, и...

Ты не dokonчил, Ансар. Темные крылья незримого ангела, того, кто властен над сиянием дня и сумраком ночи, мелькнув, оборвали слово твое. Ты замолк на груди Агелика. Нет, не слезы, недостойная слабость мужчины, только цепкая судорога сжала гортань. Через мгновение ты встал, крикнул слуг. Но Агелик не позволил коснуться тебя. Своими руками закрыл твое тело овчиной, сам отнес к ложу вблизи ледника. Как вдовый отец баюкает сына больного, так баюкал тебя старинной песней о нартах – там, в близком соседстве со звездой, Алтын-Кызык называемой. Неподвижна эта звезда – Столп Золотой. И с ней тихо шептал Агелик, вспоминая муллу Амирхана. А ты – ты, не отрываясь, глядел на Родоначалников племя. Семеро их, *Джетты-Заосан* – так зовутся. Что думал, что слышал Ансар, взирая на предков?

Аллах! Два вечных спутника идут по бокам человека: *адль*, справедливость Аллаха, живущая здесь, на земле; и *миад* – скитание за гробом, в ожидании Суда.

Аллах! Ты, призвавший Ансара к Себе, будь милосерден к нему.
О Аллах!

Тотур Унараев вбегает в шатер. Агелик и Ансар лежат на ковре, опершись о подушки.

– Кушби, безумный Кушби! – восклицает Тотур. Молодое лицо, полное жизненной силы, сияет. Есть фамильное сходство между девицей одной и Тотуром. Ансар любит смотреть на него.

– Что с Кушби? – говорит улыбаясь.

– Он нашел того дивного горца. Помнишь ли, я говорил. Отрезано ухо – тот, что пел за рощей Леуанову песню.

– Припоминаю. Что же, зови корноухого в гости. Послушаем славную песню и мы.

– Милость Аллаха при нас – что говоришь, Ансар! Этот горец без уха лежит в ледяном гробу.

Внезапный ожог пробегает по спине Агелика. Встает. Быстро прошившись, оставляет шатер. Вместе с Тотуром перескакивает льдины – быстрее туров летят по сыпному снегу. «Гизо» – это имя засело в мозг. «Гизо»... Ноги вперед тело несут, мысль возвращается вспять. Лихорадочным оком озирает вершины, скалистые ребра среди плоти снегов вопрошает. Нет, все незнакомое. Там, где были обвалы, нет постоянства. Вдали, под крутизной, будто мечом отсеченной, видят Кушби. Безумный стоит над темным пятном. Стремглав бросаются оба, Агелик и Тотур, к замерзшему телу. Дивное диво лежит на снегу. Как будто вчера положили Гизо в ледяную могилу. Все черты сохранились. Только синяя кожа лица да сосульки в седой бороде, только закрытые очи выдают тайну Гизо: не проснется спящий Гизо. Тело, как будто нетленное, лежит на снегу; дух отошел. С трудом сбивают ледяные оковы, переносят тело к шатру.

Ансар, преодолевая странное чувство – в нем близость и даль, – смотрит на мертвого. Не диво, только дивную правду видит Ансар: правду о том, что бессмертью души отвечает бессмертие тела. Он мыслит: тело есть эхо души на земле. На мгновение, короче вдоха груди, он проникает за край течения времени. Вступает в бескрайние светлые воды покоя и вечности. Там, в немеркнущем свете – ни жизни, ни смерти, – там витают видения, светоносные лики; тела, как бы слитые из струй прозрачной воды...

Две вещи сняли с шеи Гизо. Цепь с бычьей печатью и пергамент, зашитый, как ладанка, в кожу. Ансар, разобрав письмена, отводит в шатер Агелика. Долго, долго молчит, по-новому глядя. Ювелир, чьи искусные руки превращают обломок дикого камня в алмаз, играющий тысячью граней, так долго молчит перед важной работой.

– Другому я бы сказал: возвещаю горе тебе. Тебе говорю: возвещаю великую радость... Помни, всякая власть, Агелик, от Бога приходит. Но есть власть – награда людей, есть и суд, и погибель. Власть-награда охраняет народ от врага, справедливость внушает народу. Власть другая – преследует, судит без правды, гнетет, она есть наказание от Бога. Так тебе говорю, ибо ты из славного рода. Леуана наследник – вот кто ты. Владетель Леуановой башни. Владыка аула... Если Темир хотел уничтожить тебя, считая горцем простым, то узнав в тебе Агелика Леуанова рода, он...

– Извини, – Агелик, нарушая обычай, не выслушав старшего, вставил слово свое, – об этом он не узнает. Я так понимаю: Темир оскорбил Агелика, Агелик ответит ему... Эта печать с рогатым быком и пергамент объяснили мне тайну Гизо. Гизо с малолетства готовил меня к отомщению за резню в Леуановой башне. В Орсундахе я слышал о ней. Но пусть прошлое прошлым останется. Кадаев Темир не предков моих оскорбил, меня, Агелика. Агелик ответит ему. Тебя, как старшего брата, прошу: удержи при себе эту беседу. Обещай!

Ансар тронул грудь Агелика:

– Здесь бьется сердце, достойное рыцаря гор. Как раз по тому, о чем просишь, узнаю в тебе Леуана. Так поют ашуги о нем:

Твои латы из кожи и дерева, Леуан,
Только сердце твое из железа...

– Дух человека, мой милый, еще сильнее железа... Смерти сильнее!

Отошел к груде подушек, сел, оперся о бледную руку. Дрожащие веки, только они, выдавали усталость Ансара. Так посидел минуту в раздумье. Снова сказал:

– О духе, о духе я говорю. Тело бывает порою бессильным. Будь счастлив всегда, Агелик...

В ночь полнолуния Агелик и Тотур подходят к аулу. Спешное дело: муки не хватает в шатре. За мукою отправлен Тотур. Агелик, повинуясь странному зову, звучащему в нем, сопровождает Тотура. Перед полночью видят башни аула. Летучие тучи то тенью, то светом пробегают по башням высоким. Тень эта – широкая грудь темного зверя на небе, свет этот – открытые раны на груди. Из ран падает жидкая кровь золотистого цвета: сияние луны.

У края леса Тотур говорит:

– Если есть на то твоя воля, здесь подожди. Я сбегаю быстро. Два чувала муки принесу: утром получит Ансар свежие пышки.

Вдруг юноши видят: из башни над серединой аула, с самой верхушки или, может быть, из бойницы верхнего яруса вылетает огромный красный петух. Множество искр падают с огненных крыльев. Хищная птица, описав полукруг, садится на что-то высокое, плотное, садится и крыльями машет, и – чудо – крылья растут, превращаются в деревья огня... огненный столп, крутясь, устремляется к небу.

– Солома дяди Хамзата горит!

Тотур крикнул, с места сорвался, исчез в темноте. Агелик, томимый дивным предчувствием, ждет. Чего? Кого ожидает? Но вещее сердце не лжет.

Пять всадников видит. Двое спешат к перевалу, двое вниз по течению реки. Пятый всадник, на коне с серыми яблоками, летит прямо к нему. На шее коня извивается, бьется стройное женское тело, закрытое буркой. «Ансар! Ансар!..» – слышится крик. Дитя, пробудившись от страшного сна, так кричит. Мать, увидя змею, укусившую сына, так восклицает. Темный всадник на разгоряченном коне хлещет нагайкой. Все трое дико несутся от аула к темному лесу. Агелик – пламя в мозгу, холодные руки – бежит от дерева к дереву, перерезая всадника путь. Поднял дуло. Прицелился...

– Ансар! Ансар!..

Ясный протяжный вопль; металлически-звонкий – Дзеннетта кричит. Вихрь вьется в уме Агелика. Если плачет Дзеннетта, торжествует Темир: Темир – ее похититель. Пуля, поразив черного коршуна, может задеть голубицу. Ах, пролегает великая пропасть между стрельбой в цель для снискания славы и стрельбой во имя спасения души, Дзеннеттиной. Внезапные ужасы заволакивают мысль. Он страшится стрелять. Если сразит скакуна – скакун при падении может ее задавить. Если Темира заденет, только заденет, не убив наповал, Темир умертвит свою жертву.

А конь, серый, в яблоках, не скачет уже – продирается гущей лесной. Вековые деревья стоят, лежат, сбиваются в кучу, корнями хватают копыта, ветвями гонят коня с человеком, умеющим бегать, как тур; конь проиграет, если ристалище – топкое место. Агелик про себя говорит: «Обстановка – гибель Темира, победа моя». Так состязаются конь с человеком: животное с ношей двойной на хребте и пешеход, желанием отплаты преображенный в хищного барса.

Охотники знают неправдоподобную правду. Не буйвол-самец и не лев, предупреждающий рыком свое нападение, но барс, ягуар – вот кто подлинный царь непроницаемых дебрей. Ягуар не любит ворчать – выслеживает молча. Его зоркие очи алчно глядят, но до времени прячутся. Мощные когти неслышно ступают бархатной поступью. Охотник! Берегись ягуара! Не подпускай близко его. Если удастся ему подползти на расстояние прыжка – не помогут ружье и кинжал. Охотник, чаще, чаще смотри, чаще оглядывайся: не бежит ли гибкое тело там, где гуще ветви сплелись...

Круглый луг среди леса, под нависшей скалой. В скалу колья забиты, на кольях жерди и гнилая листва – приют для охотника. Темир снимает Дзеннетту с седла, кладет под навес. Коня отгоняет на луг – попастись. Заносчивый, гордый стоит над лежащей Дзеннеттой. Усмехается дико и пьяно. Рука играет кинжалом.

– Теперь не назовешь меня Абу-Зином, теперь, когда я подойду, я, твой повелитель, ты покорно привстанешь, поклонись с робостью, приличной супруге владыки, ты скажешь: «Привет»...

– Проклятье тебе – это скажу теперь и всегда.

Дзеннетта вскочила. Какой была при начале пожара, когда весь Унараевых род сбегался к дяде Хамзату, такой и осталась: прозрачное платье без петель и застежек, на ногах легкие туфли, распущены косы. Волосами грудь прикрывает. Мелкой дрожью вздрагивает нежное тело. Плачет, слезы текут, рыданий не слышно.

– За что оскорбляешь меня? – прошептала.

– Га! Ты забыла Ахсака? Забыла, что сын тура туром бывает, сын же ослиный ослом? Тогда у крыльца вашего дома я дал страшную клятву себе: если Кадаев осел – будешь ослицей Кадаевой. И будешь ею.

Закрыла лицо волосами. Всклипывает. Детские плечики сотрясаются плачем. Стонов не слышно. Лепечет:

– Я пела... я не хотела тогда...

Темир делает шаг. Стал около. Костистой рукой – коршуна лапой – царапает кожу Дзеннетты:

– Пела! Га! Про осла, про Абу-Зина, про пять шишек на поляне Удачи... Я не забыл ничего. В моей башне запоешь по-иному.

Коршун не сразу терзает птичку-певунью, попавшую в лапы его. Он должен сперва насладиться испугом. Насытит яростью сердце. Лишь когда опьянение жестокой забавой достигло предела, он поднимает клюв для удара.

– Агелик! – крикнула девушка.

...Бог свидетель Эльдару, повествователю повести этой: Дзеннетта в роковую минуту Агелика позвала. Почему? Бог мне свидетель – не знаю. Думаю, все же... Нет, не время об этом...

– Агелик! Спаси! Агелик, погибает Дзеннетта! – так кричала, и вопль девушки был страшнее вопля тигрицы, раненной насмерть. Тогда тот ураган, который ломает столетние буки, ураган-сокрушитель, бросился в бой. Аллах, кто видел борьбу двух волков за волчицу? Эта борьба – прозябанье рядом с битвой ягуара и черной пантеры. Оружие брошено. Переплелись руки и ноги. Падают оба, оба снова встают. Дзеннетта, откинула косу от лица, взирает пламенным взором. Темир – зная, кто борется с ним, – борется, чтобы убить. Агелик – помня замысел свой – укрощает противника. Сильной рукой отрывает цепкие члены Темира, поднимает в воздух его, наземь бросает: раз, другой, множество раз. Так и бык, если змей нападет на него, стряхивает змея. Темир, гордый Темир, лежит на земле. Не убит, ошеломлен тяжким падением. Агелик говорит:

– Бешеный пес, зачем искусал девушку эту? Зачем кусал Агелика? Ты вспомнил Ахсака? А помнишь ли, как скотиной мычал на меня? Скота видел во мне? Знай: сейчас поступаю с тобой, как скотина с скотиной. Но обещаю: весь Орсундах будет править суд над тобой. А теперь – шагай, кадаевский выродок!

Темир не встает. Нет воли подняться. Подобно траве, пришибленной градом и ветром, лежит на земле. Постыдная робость пролезла червем в гордое сердце. Не то чтобы не было сил у Темира подняться, нет, он жив, и кости целы. Только сердце потеряно в битве, гордое сердце. Так бывает: толстостенный сундук веками стоит под окошком. Неприметно для глаза людского заводится червь в сундуке. Точит и точит, проедает длинные норы в несокрушимых досках. Потом тронут люди сундук – рассыпается он, падает прахом.

...Светлеет небо над лесом. Крупные капли росы стекают с листвы. Мокрый папоротник шумно вздыхает под напором конских копыт. На коня посадил Агелик полумертвое тело Темира. Взял коня под уздцы, ведет напрямик, без задержек, к аулу. Дзеннетта легконогой газелью рядом шагает. Все трое молчат. Темир не может, не хочет слова сказать. Агелику претит вести разговор при Темире, оскорбителе девушки.

В Дзеннетте зарождается новая, чудная песня. Бессловесна она, песня эта. Слышен только напев, в напеве ночь, пробуждение от криков «пожар у дяди Хамзата!», крыльцо, холод ночной, полнолуние, бегучие тени – там, в небесах, и здесь, около дома. Пять теней, пять страшных всадников мчатся. Мужья Унараевых все у Хамзата. Старая бабка, Чорттая вдова, не видя, не слыша, первая чувствует беду: «Девицы, скройтесь за дверью». Поздно. Меток удар черного коршуна. Налетел, выбрал добычу, унес.

Лицо твое искажено черной яростью, Темир.
Лицо твое яснее яркого солнца, Агелик, –

так выпевается песня сама.

Тот, черный, сказал: «Обещешу тебя, Дзеннетта».
Этот, ясный, сказал: «Спасу твою честь, Дзеннетта».
Братья мои, отцы Унараевых рода,
Зачем пустили коршуна в стаю?
Братья мои, отцы Унараевых дома,
Не вы, не Ансар – Агелик
Спас ласточку вашего дома...

Так выходят из леса: верхом – владыка Кадаева рода, пешим ходом – Агелик Леуанов с Дзеннеттой. Так видят аул, две башни высокие, одну против другой. С левой руки, над хребтом, видят прозрачное тело луны: хрупкая льдинка тает, исчезая в синем просторе. Справа, над красноствольными соснами, видят кубок, наполненный солнечной кровью: над Орсундахом встало утро нового дня.



Константин Александрович Чхеидзе



В Праге. Середина 1930-х годов



Маркета (Маргарита) Сикорова,
супруга К. А. Чхеидзе



К. А. Чхеидзе



Константин и Маргарита Чхеидзе в Ужгороде. Конец 1930-х годов



**К. А. Чheidзе.
Середина 1930-х годов**



С дочерью Марией



Рождается книга... Вторая половина 1930-х годов



Молодые супруги в Праге. Конец 1930-х годов



После возвращения из сибирского
лагеря. 1955



Отец и дочь. Игра в индейцев



С дочерью Марией



Дом в Ровднице, где в 1960-х – начале 1970-х гг. жила семья К. А. Чхеидзе



Вечер памяти поэта Йозефа Горы. Слева направо: Константин Чхеидзе, Ладислав Стелик, Вацлав Каплицкий, супруга Йозефа Горы. Первый справа – поэт Франтишек Грубин. Ровднице



Одна из последних фотографий писателя. 1971

Вудилище мэхкэмэ

...А, в несчастливую минуту начал ты пиршество, о Темир! А, прославленные ездоки-адыгейцы, под злым знаменем дали вы свое слово Темиру, слово чести, слово рыцарей! А, Косой Абу, копыта вороного коня твоего не привели тебя к торжеству – к гибели привели...

Разрослось, разбогатело пиршество владыки Темира. Весь Орсундах бродит, как буйное пламя в жилах смельчака, весь Орсундах пьянствует – до исступления. Запасы пива, бузы, араки, что вынесли из погребов под кадаевской башней, льются не переставая. Бери, пей, кто сколько желает, бей кувшины узкогорлые, разметывай черепки: пируй, Орсундах!.. Хамзат Унараев, с ожогом на щеке, отмеченной родинкой, погоревший Хамзат, он верховодит, он свирепый *казан-баш* * великого пира. Другие слушают, одобряют. Хамзат выкрикивает:

– Отцы, отцы отцов горских! Вы оставили память! Вы завещали старую правду: Кадаевы не нашего рода. Кадаевы из века в век притесняли наших. Кадаевы обирали нас, Кадаевы убивали нас – смерть Кадаевым!

– Смерть! – отвечает стоголосое эхо.

Хамзат передохнул, опять:

– Кадаевское пиво из нашего ячменя сварено, пей свое пиво, Орсундах!

– Пей... го-го!

– В Кадаевых ларях наше добро лежит, бери его, Орсундах.

– Га! Бери, свое бери, гей!

– Кадаевы подожгли Орсундах; о Орсундах, поджигай Кадаевых!

Сотни ног пляшут, спешат. Сотни рук трогают, вынимают, тащат, разбрасывают. Кто не ленив, кто обуян жаждой стяжательства, тот трудится. Потоками разливается добро рода Кадаевых по кривым переулкам аула: от башни во все концы. Как с базара, перекидываясь острым словечком,

* К а з а н - б а ш – распорядитель еды.

шагают горцы, впереди себя скотину подгоняют хворостинкой. И хворостинка та на кадаевском дворе поднята. Нищий Измаил облюбовал корову. Ящерица Даута, словно гурия из рая выходит, такая радостная: пискливых кадаевских индюшек перегоняет в свой двор. Ловко гонит одна – целое стадо... Что других вспоминать, если даже Бекир, лучший аульский хозяин, осторожнейший из осторожных, и тот поддался соблазну. Украдкой подошел к Хамзату:

– Оу, сосед Хамзат. Ты знаешь, я нанимал нивы кадаевские. Ты, Хамзат, можешь поверить: кое-что остался должен Темир, не я ему, Темир мне. Позволь, Хамзат...

– Вот, прими от Темира!

Смеясь, бросил Хамзат тяжелый серебряный кубок, тот, что Темир показывал Пшемахо. Везде судьба, о люди. Бекиру достался тот кубок...

Пир – тот же пожар. Пир и пожар чередуются в Орсундахе. Пировал Темир, поджигал Темир. Пирует аул, поджигает аул. Страсть – тот же огонь. Как новое полено придает ярость пожару, так новый горец придает страсть страстям. С двух разных концов приближаются кучки горцев к пожару твердыни Кадаевых. Коней в поводу ведут, кони везут груз, тяжкий, страшный. Тела везут. Победоносная встреча. Эти кричат, хвастают:

– В горах пешеход обгонит адыгейскую клячу. Га! Вот они – вот Койсын с Герандуко, оба. Удирали вниз по реке, к адыгейскому князю бежали. Га! Мы, пешеходы, знаем тропинки в горах. Мы подождали молодчиков там, где Леуановы били врагов, там мы их сняли с коней.

Те отвечают:

– Мы перехватили Пшемахо с Абу Косым. Мы спросили: «Где Темир и Дзеннетта?» Пшемахо первый выстрелил, его первого сняли с седла. Абу, кадаевский раб, хотел на коне перепрыгнуть через нас, пешеходов, – ну поэтому череп разбил. Ха!

– Где Темир? Где Дзеннетта?

Вопль – столп нареканий и стонов – стоит над аулом. Бабка, Чортая вдова, помирает от горя. Даха, мать унесенной девушки, лежит без движенья. Тетка Фуза рыдает, рыдая кричит: «Убейте Кадаевых, всех, до последнего! Убейте!»

Микраэль с дружиной мужей Унараевых рода рыскает по лесу. Не зная о призыве Фузы к истреблению рода Кадаевых, от себя говорит:

– Братья, теперь мы сыты Темиром. Что бы ни было, убьем Темира и всех, в ком есть хоть капля змеиной кадаевской крови.

– Убьем, – клянется дружина.

Так видит вставшее солнце мятежное сердце аула. Так слышит небо этого утра мольбы о крови и мести.

В море огня, в бурю смертоносных страстей вступил Агелик. С ним Дзеннетта. С ним серый в яблоках конь, на коне владыка Темир: живой, видом ужаснее мертвого. Гордый блеск в Агелика глазах. Смущение, и робость, и грациозная прелесть первой красотики аула, и довольство женского сердца запечатлены в шаге Дзеннетты. Не похожа на жертву дикого коршуна. Похожа на пленницу, счастливую пленом своим, – так выглядит, идя в пятах Агелика. Тетки, сестры, подруги – все разом кинулись к ней. Восторг женщин сходен с безумием. Плач и смех переплелись в нерасторжимом объятии. Грудь как бы с грудью слилась. Дзеннетта, ветвь жасмина в полном цвету! Яснокрылая птичка-певунья! Ва-Алла! Темир так не терзал твое юное тело, как женщины Унараевых дома...

Кольцо клинков, пистолетные дула, кулаки, сжатые злостью, окружили обоих: Темира, пораженного в прах, и Агелика, победителя в единоборстве с Темиром. Горцы, напоенные дымом пожарища, хмельные, с бушеванием страсти в крови, горцы просили:

– Отдай нам злодея! Дай – растерзаем его. Среди нас нет никого, кто бы не был в долгу у Темира. Он, разоритель аула, оскорблял каждого горца, весь горский род оскорблял. Он наш, дай его.

Руку поднял Агелик, сняв папаху – высшая честь тому, с кем говорит:

– Горцы! Для меня священна воля народа. Да, он ваш. Ты, народ орсундахский, будешь судить Темира Кадаева в судилище *мэхкэмэ*, перед лицом Аллаха. Так быть должно во имя правды и совести горской.

– Алла! Слава мудрости твоей, Агелик. Да, пусть в *мэхкэмэ* судят его.

Раздался народ. Смелым шагом идет Агелик мимо башни Кадая – только стены, в полосах дыма и сажи, остались от башни. Скопище черных драконов, чудовищ крылатых, пролетев, оставили пятна следов на камнях, сложенных предком Темира. Темир не смотрит на башню, через аул, рядом с Леуановой башней, лежит путь Агелика. На миг озирает высокую башню. Дивное чувство ущемляет сердце его. Нет, не гордость, не заносчивый пыл в этом чувстве: только скорбь сына над кончиной отца, благословение к предкам потомка. Темир отводит взор от Леуановой башни. Так вступают в ущелье Семикратного Эха. Здесь, в стороне от тропы, волей Аллаха разбросаны скалы, подобны сиденьям

они. Много скал подняли голое темя над ровной поляной. С древних времен горское племя правит здесь суд и расправы над преступными горцами. Мэхкэмэ, Судилище, – так зовут это место. В отвесном боку ущелья есть пещера, подобная логову зверя. В ней, на запоре, пребывает преступник в ожидании суда.

Без слов понимает Темир – зачем, для кого открыли пещеру. Не ожидая приказа, сходит с коня, быстро идет: мрак души сливается с мраком пещеры. Темир ложится на груду высоких веток – жесткое ложе для тела владыки. Не слышит хруста ветвей, не замечает острых сучков: смыкает ресницы, кулаками давит виски, прячет лицо в прах и пыль грязного логова. Так говорят: «Утративший сердце – теряет лицо». Лицо есть весь человек, от рождения до смерти.

Горец, стоящий на страже, удивлен тишиной. Что с Темиром? Неужели так быстро прилетел Азраил, ангел – вестник кончины? Приложил ухо к щели в двери. Долго слушал – услышал. То был стон, и звучание этого стога горец-сторож не забыл никогда.

Не одна – две души поселились в ауле одном. Душа Унараевых, мстителей за пожар, за обиду Дзеннетты, за скорби, что подарили аулу Кадаевы. Душа кадаевских близких – Эльдар-бека с женой Таужан – Темира теткой, – родни Эльдар-бека, Муссы и Джемала и тех, кто когда-то был верен Кадаевых роду. Один Барзон, впавший в ребячество, ослабевший, не чует беды в двоедушии аула. Две души, два противника поселились в ауле. Сильные львы Унараевы грозят задавить Эльдар-бека с родней. Нукеры и слуги Пшемахо и других адыгейцев схвачены, заперты в конюшне Хамзата. В ожидании смерти тверже кремня адыгейцы. Смеясь, говорят: «Убейте, как убили Пшемахо и Герандуко с Койсыном, – князь нашего племени вырежет твоих пешеходов. Опустеют ваши ущелья...»

Кровь, кровь обещает залить Орсундах...

Благоразумный Бекир перебегает из лагеря в лагерь. Не о противниках во вспыхнувшем споре, о себе, о хозяйстве своем хлопочет Бекир. Знает: если ударят львы Унараевы, Эльдар-бек не поспеет ответить. Удар за удар – что же будет? Беда Орсундаха, но с Орсундахом погибнет Бекир... Облитый потом вбегает Бекир во двор Эльдар-бека. Что видит? Боже! Спаси-сохрани Орсундах и Бекира: чистят мушкеты, точат шашки Эльдар-бековы люди, к битве готовясь. Тяжеловесный буйвол Мусса держит дедовский меч, лезвие длиной с оглоблю. Сам Эльдар-бек, полный решимости, ходит между бойцами.

– Не мы ли всегда, – говорит, – утихомирить желали Темира? Когда молчали другие, я, Эльдар-бек, говорил, я один оборонял аул от Темира. Если теперь хотят нас погубить за грехи Кадаевых рода, мы не сдадимся. Бог видит – справедливость и правда за нас. Аллах поддерживает правого.

Бекир отводит Эльдара в дальний угол двора:

– Ради Аллаха! Горцы, что вы затеяли? Присягаю Кораном, адыгейское рабство лучше такого погрома, больше скажу: самый черный день темировской власти светлее нынешней ночи. Унараевский род всегда отличался силой, род Эльдар-бека – умом. Из-за чего перебранка? Позволь, я посету Микраэля, передам твой привет и скажу...

– Остановись, милый Бекир. Микраэль поклялся уничтожить всех, в ком есть капля кадаевской крови. Не привет, клятву Эльдара умереть за детей – это можешь ему передать. Да, моя Таужан кадаевской крови. Да, мои дети, рожденные в честном супружестве, кровно связаны с родом Кадаевых. Но справедливость и Бог выше крови. Пойди и скажи: «За справедливость без колебаний умрет Эльдар-бек...»

Так, чтоб слышали все, полным голосом отвечает Бекиру. Все слышат. Все и вошедший во двор Агелик. Мгновенно сбегает довольство с лица Агелика. Тень глубоко проникшей боли отражает лицо его. Ближе подходит. Обнимает ноги Эльдара.

– Ты был мне отцом, – говорит, – где судьба ставит отца против смерти, там место верному сыну. Я ищу свою долю в Эльдара судьбе...

Долго смотрит Эльдар в глаза Агелику. Видит ясную правду в глазах, видит чистое сердце, готовое к жертве. Опускает ладонь на плечо.

– Юноша, будь благословен Аллахом за доброе слово. Но там, где ведут нападение на Кадаевых кровь, тебе не должно стоять. Ты укротил сатрапа Темира, слава тебе. Подумай, совместимо ли, враждуя с Темиром, защищать Кадаеву кровь? Нет, уходи, мы не можем принять твою жертву.

Вновь и вновь Агелик обнимает колени Эльдара:

– Ты сказал: «Бог держит сторону правого». Я слышал – ты говорил: «Справедливость и правда за нас». Позволь защищать справедливость – знать ничего не хочу о родстве с Кадаевых родом... Так говорю: если есть в горах справедливость, справедливости я ищу...

Тогда благоразумный Бекир восклицает:

– Братья! Будьте же хоть на малое время сынами спасительной мудрости. Неужели из-за нескольких слов погибнет аул? Пусть Агелик скажет эти слова – тогда ни один Унараев не посмеет лапу поднять на тебя, Эльдар-бек.

Изумленный Эльдар озирает Бекира. Агелик слушает ухом, внимает душой. Бекир, как будто мудрость веков воплотилась в его голове, рассуждает:

– Да, спасение в том, чтобы вы породнились. Унараевы видят в тебе, Агелик, охранителя девичьей чести. Ты для них больше, чем брат – Ва-Алла! – сердечней Ансара Унараевы любят тебя. Но ты зовешь отцом Эльдар-бека. Что ж тут думать? Скорей соберите семью, приведите старейшую женщину вашего дома, совершите обряд принятия нового сына. О Эльдар! Усыновив Агелика, ты избегаешь вражды с Унараевых родом.

Двор будто замер. Неуклюжий Мусса на бревнах-ногах приковывая выслушать мудрое слово Бекира. Меч тянул за собой подобно метле. Горцы спрятали шашки в ножны, окружили Бекира, впиваясь глазами в уста, изрекавшие мудрость. Сам Эльдар-бек, посветлев, обнял Бекира:

– Всегда ожидал от тебя только добро, милый сосед. Радость – послушать умные речи. Конечно, мы давно своим признаем Агелика. Теперь, по воле Аллаха, пусть он будет сыном нашей семьи в глазах Орсундаха. Что говоришь, Агелик?

Вот, весь дом Эльдар-бека стал полукругом. В середине Эльдар, слева женщины, справа мужчины. Вот, Таужан и Нальчжуз вывели старую бабу Мириам, старейшую в доме. С двух сторон подпирают ее, старуха хромает, не держат колени. Невозможно поверить, будто бы призрак, облеченный в темные ткани, был некогда девушкой, был женой, матерью, кормил сыновей; будто бы эти вот груди, желтые тряпочки с черным соском, питали дитя молоком... Мириам засохшей рукой – кажется, дряблая кожа приклеена к тощим костям – обнажает правую грудь. Шамкает провалившийся рот, подобный заросшему шраму на сосновой коре, силится слово сказать, не удается. Все ожидают этого слова: Агелик, стоящий против старухи, Эльдар-бек, его жена Таужан, напряженные горцы. С краю, опираясь на спину Джемала, виден Барзон. Один он безучастен к обряду. Известно, ныне Барзон слабее ребенка. Не человек уже, лишь тень человека бродит по дому Эльдара, эту тень, по привычке, Барзоном зовут.

– Сын, прими грудь мою, – старейшая мать Мириам сказала святыя слова.

– Мать, беру грудь твою, – так отвечал Агелик. Склонился, коснулся устами сосца – свершилось! Бекир рассмеялся от радости, пряча смех в бороде.

Мириам словно ожила, почувствовав губы приемного сына на ветхой груди.

– Гитче, – сказала, – эй, гитче-джан *, скажи все-таки матери имя свое.

Тут Нальчжуз крикнула в ухо старухе:

– Агелик имя его.

Агелик склонился к названной матери:

– Мать, зови меня так, как старшего сына, Эльдаром. В память второго рождения умоляю вас всех, братья и сестры, – называйте Агелика Эльдаром.

Предраассветная мгла клубится в ущелье Семикратного Эха. Подобна сизому дыму она. Деревяными жжеными, пылью и сухостью трав пахнет мгла. Тишина омертвения сковала листву на деревьях. Нет жизни в листве, ни единой росинки нет на траве. Возникающий день будет жарок, как печь раскаленная.

Из дымчато-серого пара появляется Сата. Озираясь, медленным шагом подходит к пещере. На страже видит Кушби, с длинным острым копьём, взятым в башне Темира. Кушби изменился. По-прежнему скорбный, он уже не безумен. Голова покрыта высокой папахой. К пояску прихвачен кинжал. В руке держит копьё с железным концом. Вооруженный горец Кушби сторожит владыку Темира.

– Наныкина мать, что тут ищешь? Быть может, боишься, что выпущу зверя? Нет среди горцев надежнее стража, чем я.

Сата ласковой силой отводит Кушби от пещеры:

– Останься здесь, милый мальчик. Я, Наныкина мать, желаю беседы с Темиром. Посмотри, чтоб никто не увидел Сату у Темира. Жди здесь...

Уверенным шагом входит в пещеру. Никто в целом ауле не бывал так часто в этих местах, как колдунья Сата. Нет ночи для Саты, нет темноты – знает на память лазейки и тропы, даже узлы древесных корней на тропе. Находит Темира сидящим на камне. Не видя друг друга, тотчас узнают – кто они.

– Слушай, Темир. Времени мало для долгой беседы. Я, Сата, любовь твоей юности, вот кто входит к тебе. Ты не всегда был суров. Женское сердце до гроба помнит любовь. Никогда не забывала Сата пробуждение страсти в Темире – я пробуждала ее. Слушай! Ты искалечил меня.

* Г и т ч е – малый, д ж а н – душа моя.

Ты опозорил Наныку. Ты жестокой рукой насмерть ранил ее, мою дочь, свою жертву. Все прощаю тебе – все прощу, если дашь слово владыки навеки вернуться ко мне.

Страстный шепот прервался. Слушает. Воображение рисует блаженство будущих дней. Ах, бедное женское сердце! Ах, сердце, пронзенное страстью. Ждет. Тишина. Не шелохнулся Темир.

– Отвечай, не то другое тебе расскажу. Ты не обманывайся, изверг. Не думай, никто не поверил клевету, что Агелик ранил Наныку...

– Ранил?

– А, заговорил, наконец. Ранил, да, она умирает, быть может, вернувшись домой, найду мертвое тело, ранил, но не убил. Боишься? Не нужно бояться Наныки. Даже в объятиях смерти не назовет она имя убийцы. Но все-таки бойся, Темир. Бойся Сату. Вот здесь, под косынкой, лежит доказательство злобы твоей. Окровавленный рог, который ты обронил, Сата нашла. Знаешь ли чем награждает обычай убийцу жены и дитяти? Такого живым земле отдают... А ты посягал на жену, отягощенную плодом... Но – слушай, Темир. Не грозить, только звать к бегству пришла несчастная Сата. Обещаю все позабыть, кроме безумной тоски, пленившей бедное сердце. Я всю жизнь любила тебя одного... Там, под скалой, спрятан серый, в яблоках, конь – твой быстроногий летун. Идем, дорога свободна. Но сперва обещаю: до скончания дней не оставишь Сату.

Договорила. пышная грудь вздымается часто. Поседевшие пряди волос – сизые струйки тумана – овевают лицо. Подобно тому, как закатное солнце золотит последним лучом морщины старого камня и камень сияет, так проявление поздней любви украшает колдунью. Сумрак утра, заглянувший в пещеру, недостаточно светел, чтобы увидеть старость Саты. На осколок минуты Темиру грезится минувшее время. Не седины – солнечно-ясные косы видит Темир. Не мутно-пепельными, искристыми кажутся очи-опалы. Да, пережитая страсть обладает властной силой. Темир очарован видением прошлого. Поднимается с камня, подходит. Сата, ощущая буйный трепет в груди, раскрывает объятия.

– Сата, – шепчет Темир, – я присягну... мы уйдем к адыгейскому князю... но прежде... покажи этот рог.

– Нет, дай клятву. Рог я выброшу в пропасть, с коня, когда поедешь со мной.

Вплотную стоят, тело чувствует тело. О, пережитая страсть крепче самого крепкого хмеля. Сата готова рыдать и выкрикивать радость восторга

готова. С замиранием сердца следит за рукою Темира. Думает: «За шею обнимет». Думает: «За плечи возьмет». Но рука впиивается в горло:

– Покажи этот рог, слышишь, ведьма!

– Кушби, скорее... ко мне!

Отпрянула: пучок поседевших волос – струйка тумана – осталась в зажатой руке. Кушби, с копьем и обнаженным кинжалом, стоит на пороге:

– Наныкина мать! Что он сделал тебе?

Не отвечает Сата. Завеса скорби упала, покрыла ее. Непроницаема завеса эта. Под ней непроглядная тьма, реют печальные тени. Без рыданий слезы текут, без вздохов умирает душа. Для женщины лишиться надежды на счастье равнозначно кончине. Для женщины, отдающей всю жизнь одному, потеря его – убийственной смерти. Сердце, пронзенное сталью, недолго страдает. Но сердце, поврежденное в корне (корень сердца – любовь), оборвав нить бытия, смерть не находит: невыразимая мука...

А Кушби, уже не безумный, вооруженный горец Кушби, приставляет копьё к горлу Темира:

– Кадаев! Змеиное племя! Ползи обратно в нору!

Тут, в свете утра, увидел Темир темноту, кровавое зарево месяца, изваянье камней на кладбище, увидел улыбку мертвого призрака, и тут, в зное светлого утра,дохнул на Темира мрак и холод могилы. Не горец Кушби – смерть, не копьё – коса поднялась над ним. Содрогнулся владыка Темир. Покорным ягненком отошел в глубь пещеры, затих, как бы не было там никого.

...Во имя Бога! – так начал я повесть свою. Во имя Бога! – так говорю и теперь. Мне, Эльдару, немного осталось сказать. Немного и дней осталось у старейшего горца. Как, какими словами могу описать кончину Темира? Маловерные, быть может, тряхнут головой и, подняв плечи, небрежно промолвят: «Старый Эльдар выдумал сказку; не нам, взрослым людям, верить ему...»

Но вот что ответит Эльдар. Люди, Божья кара не знает поспешности вашей. Век для Бога – мгновенье. Божьи весы безошибочно взвешивают деянья людские. Если случится порою злодею утаить свое злодеяние, пусть не обманет себя самого: Божий суд каждому даст по заслугам. Если не сын, то внук и правнук злодея ответят за зло. Есть незримая связь между звеньями цепи людских поколений. Грех одного есть порок

целой цепи. Но как один есть малое звено цепи семьи, так семья есть звено рода людского.

Верьте Эльдару: ничтожнейший грех, даже недоброе слово, даже – и этому верьте – пожелание зла – все, все вносится Богом в Книгу Суда. Обратно: милосердный поступок, взаимная помощь в беде, любовь во всех проявлениях – от любви к Богу и людям до любви к былинке простой – и это припомнит Господь в День Судный. Итак, перед каждым есть выбор. Делатель зла навеки веков присуждается к каре. Исполнитель добрых сердечных движений поднимает людей к Божеству. Нет никакой середины между злом и добром. Если возникает сомнение – зови совесть на помощь. Совесть подскажет тебе полную правду, ибо в ней эхо и весть Всемогущего Бога.

Харун-аль-Рашид скитался, переодетый дервишем. Ночь застигла его возле платана с дуплом. Забрался туда и уснул. Среди ночи слышит беседу. Два купца делят барыш при свете костра. Вдруг топот копыт их испугал. Великан-бедуин, спрыгнув с верблюда, убил одного из купцов, второго ударил, червонцы обоих присвоил себе. Через малое время подъезжает к дереву стража. «Кто из вас зарезал купца?» – так вопрошает. Бедуин клятву дает: «Убийца – этот купец». Купец возражает. Харун-аль-Рашид, опершись о сук, смотрит вниз, но сердце к Богу возносит, моля Бога о правом суде. Внезапно слышится треск. Сук обломился, вместе с Харуном упал на того великана. На месте убил... – так повествует древняя притча. Но я, Эльдар орсундахский, не притчу, правду скажу – правду о смерти Темира.

Тот памятный день был отмечен неслыханным зноем. Огромные мутные волны вздымали реку – ледники испарялись и таяли быстрее, чем воск на огне. В куполе неба плавали дымные клубы. Солнечный жар был жестоким и сильным: трескались балки под кровлей, скалы из недр выжимали холодные капли. Бараньи стада сгрудились в тесную кучу, искали тень под своими копытами. Так жарко было тогда.

Белобородые горцы – аксакалы аула – шли достойной толпой. Рядом с Эльдаром, названным отцом Агелика, шел Микраэль Унараев, рядом с Бекиром – Мусса. Позади всех плелся Барзон, опираясь на спину Джемала.

Ущелье Семикратного Эха местами уже меча, местами довольно широко. Поляна, где голые скалы служат сиденьями судей, лежит вблизи

старого дерева, груши, святыни кадаевской. Зеленым шатром раскинулись ветви. Но там, где главный ствол разделялся на несколько мелких, чернеет пятно – след небесного гнева.

Как на вечереющем небе размещаются звезды, так расходятся старцы, каждый к отдельному камню, вида скамьи. В том суд состоит, в том есть мэхкэмэ – судилище горцев, что преступник должен идти по поляне, от сиденья к сиденью, выслушивая мнение старцев о своем злодеянии. Старец, признав обвинение правильным, оставляет сиденье-камень; старец, отвергший вину, не уходит с него. Преступник, не заслуживший прощения, остается один среди скал. Туда приходят за ним исполнители приговора.

Открыли пещеру. Темир с белым лицом выступает из мрака на свет. Ястребиные очи – чернь с желтизной – отвыкли от ясности дня. Глубокие складки морщин бороздят белую кожу: темный узор на остроклювом лице. Сутолятся плечи. Видно, великую тяжесть несут. Преступление всегда тянет вниз. Добродетель крылья дарует.

Сделал шаг, другой, задержался. На голые скалы, сиденья для судей глядит, не поднимает на судей глаза. Что видит? Те скалы похожи на скамьи, те камни можно сравнить и с седлом. Смятенному взору иное в них чудится. Черепа видит Темир, черепа, с ободранной кожей. Много их – эти спокойно лежат, те – скалят жадные зубы, еще другие смеются над ним. Невыносимая боль режет, колет Темира. Тоска, удушье тоски. Собрав силы, отводит глаза от камней, взирает на небо. Что видит? Черное облако-птица простерло крыло. Вот здесь, прямо над теменем, парит неподвижно крыло. Небесная ширь разделилась на две неравные доли. Синева и сияние солнца – в одной, чернокрылая птица – в другой. Та нестерпимая боль, что уязвляла Темира, теперь отошла. Новая мука подходит. Чувствует слабость, позорную жалкую слабость в ногах. Тело его как бы разварено в адском котле, от костей отделяется мясо. Хочет вздохнуть – не может воздух найти. Душно, душно в груди. Душа в тоске изнывает. Вдруг грохот раздался. Семикратно повторенный гром наполнил гулом ущелье. Новый удар. Как лишенный ума, Темир срывается с места, бежит, но не к судьям, а в сторону, туда, где порывистый ветер в груше гудит. Огненный дождь ссыпается с неба. Окрыленные змеи летают. Одна, догоняя другую, стрелы свистят. Вот остроконечные капли прошелестели в листве. Торжествующий ливень затопляет ущелье.

Так проходит малое время. А когда омытое солнце проникло в ущелье, увидели все, что случилось. На половине пути между пещерой и

грушей-святыней лежал обугленный труп. Черная кожа как будто бы тлела еще. Багрово-синий шрам проходил от виска черепа через шею к груди. На длинных желтых зубах кровь запеклась. Кровь и кровавая пена. Так умер Темир.

Тогда люди кадаевской крови, только они, разувшись, приблизились к груше. Старый из них, некто Хабай, троюродный дядя Темира, троекратно обнял старое дерево.

– *Шибле*, – так произнес, напевая (*Ши* – конь, *бле* – змея), – о конь небес, змеевидный! Верни милость свою, бог бури и молнии.

Составили цепь люди кадаевской крови, хоровод вокруг груши-святыни. Слева направо пошли, приплясывая, напевая:

Небо служит подножием для копыт коня твоего, о Шибле.
Лазурь небесная – вот чертог для невесты твоей, о Шибле.

Помолившись, послали в аул за арбой и волами. Аллах ведаёт тайны кадаевской крови. Смысл обрядов своих они никому не сказали. Но только видели все, старцы и юноши, положили они опаленное тело Темира на эту арбу. Погнали пару волов, но не правили ею. Волы, пройдя устье ущелья Семикратного Эха, потянулись к аулу. Лениво пасясь, обошли Леуанову башню, влево загнули, подошли к дому Саты. Весь Орсундах к этому часу шел за арбой. Видно, была в том воля Аллаха, чтобы аул сопровождал мертвое тело Темира в последнем пути.

На лугу перед домом колдуньи остановились волы. Тогда Сата, выйдя, сказала народу:

– Присягаю Богом единым, сей человек был мужем Наныки. От него зачала дочка моя. Сей человек, оставленный Богом, он убил Наныку с ребенком во чреве. Люди, народ орсундахский! Кадаев Темир обещал не расставаться с Наныкой ни здесь, на земле, ни на небе. Ныне оба супруга мертвы. Я умоляю связать цепью-синжиром, священной цепью нашего дома, Темира с Наныкой. Я умоляю вместе их похоронить...

И было по слову Саты. Там, где стояли волы, вырыли яму. Среди горцев, яму копавших, был пастырь Шовгай. Усердно работал лопатой. Казалось, его язва на правой щеке смеялась злорадно. Потом сковали цепью тела. Предали земле, общей матери нашей. Из уважения к чести владыки, вернули Темиру кинжал, и шашку вернули. Поверх могильного холмика люди кадаевской крови насыпали камни – так и лежали они до недавнего времени.

Когда все отошли, Сата упала на камни, долго лежала, шепча дивные речи. Перед закатом вынесла из дому шаль, торбу и палку, с какою ходят дервиши. Так приготовившись в путь, стояла, взирая на солнце. Дождавшись минуты, когда солнечный диск прикоснулся к снежным горам, повернулась к могиле.

– *Гямли юраг олмасада диримээ* – так сказала внятно и тихо. – Тоскующее сердце, если не умрет, не воскреснет.

Кому сказала Сата? Это неведомо. Одновременно с тем, как пряталось солнце за горы, ушла. Куда? И это неведомо. С той поры ничего не известно о ней...

Волны... Крылья...

Я, Агелик, названный Эльдаром, вместе с другими вернулся в аул из ущелья Семикратного Эха. Я призвал в отдельную горницу Эльдар-бека с женой Таужан, моих приемных родителей. Я снял с груди цепь Леуана с бычьей печатью. Я показал пергамент, написанный по воле Гизо рукой муллы Амирхана. Я сказал:

– Многочтимый отец, мать дорогая! Вы усыновили меня, считая горцем простым. Теперь, когда мой спор с Темиром окончен, позволю сказать о себе. Я, как видите сами, потомок владычного рода. Но, желая вам показать мою безграничную преданность, мою покорность сыновнюю, прошу вас решить за меня: что должно делать?

Таужан, Темира тетка, побледнела. Эльдар-бек, задумчиво глядя усы, взглянул на меня. Нечто, сходное с тем, как колебался Ансар, говоря о предках моих, было в глазах Эльдар-бека. Помолчав, сказал Эльдар-бек:

– Велика твоя новость, сынок. Велика, и ужасна, и – вместе – приятна для горского сердца. Нехорошо остаться народу без наследственной власти. Мятеж неизбежен в народе, лишенном правителя. Что ж, так говорят: если нет в табуне жеребца, выбирай жеребенка. Ты молод, не был приучен к владычным делам. Ты явился в аул Орсундах не так, как приходят владыки, окруженные славой, скорей проходимцем... Однако, правду надо сказать, ты сам стяжал себе славу.

Встал, прошелся по горнице. Я, в покорном молчании, ожидал, что решит. Клянусь, если б Эльдар приказал мне – для блага аула – покончить с собой, я исполнил бы этот приказ без единого слова. Он обнял меня. Он сказал:

– Благословение нашего дома почует на тебе. Будь справедливым владыкой, будь строгим к себе, милосердным к другим. Пусть мудрость гор не оставит тебя никогда. Запомни слово Эльдара: как пчела собирает мед в сотах земных, так Аллах собирает мед добрых деяний в нетленные

соты небес. Эти небесные соты вечны, благовоны. В них содержится все, что зовем красотой, благородством сердечным, мужеством, правдой; в них и любовь, и забота о бедных, в них вера в Божий Суд, в них надежда на справедливость Аллаха здесь и за гробом. Агелик Леуанов! Я, твой приемный отец, первым к тебе обращаюсь: иди и правь Орсундахом во славу предков своих...

В тот же день я приказал мужчинам аула пройти к Леуановой башне. Я объявил свою непреклонную волю – считать забытыми споры старых владычных родов, распрю двух башен высоких. Я добавил:

– Отныне почитайте владыкой меня, Эльдара, Эльдар-бекова сына. Нет владычного рода Кадаевых, нет Леуанова рода. Род Эльдаровых правит аулом. Алла!

Все закричали:

– Аллах да поможет тебе!

С той поры, чтобы не путали люди, называли отца моего Эльдар Справедливый, а меня – владыка Эльдар.

Перед вечером этого дня я посетил Хамзата, погоревшего дядю Дзеннетты. Я позволил подать мне умыться, как принято нравом аула. Я омыл руки, лицо, уши и шею водой, не горячей, но и не слишком холодной, такой, чтобы коже лица было приятно. Я отведал из поданной чаши черного пива, я вкусил краешек свежего хлеба, посыпав солью его. Исполнив обряд, я сказал:

– Приведите ко мне адыгейских слуг и нукеров.

Я сел на ковровом диване. Под ноги мне дали подушку в чехле из атласа. По правую руку мою стояли хозяева дома, по левую избранный цвет дворян орсундахских. Я отнесся к адыгейцам без гнева; я, сознавая достоинство гор, был бесстрастен. Так я сказал:

– Ступайте на волю, сыны адыгейских племен. Эльдар, здешний владыка, дарует вам жизнь. Когда сойдете с долины, увидите путь к адыгейскому князю. Навестите его. Передайте такие слова: «Эльдар, орсундахский владыка, приветствует князя в равнинах. Эльдар ожидает в горах привета от князя».

Едва ушли адыгейцы, вошел Микраэль Унараев. Я приподнялся. Обычай велит вставать перед старшим. Конечно, никто не посмеет понудить владыку к вставанию. Я встал: обычай гор священнее чести владыки. Я видел радость лица Микраэля. Я сделал большее. Поклонившись ему, я спросил:

– Старейший горец львиного рода. Не желаешь ли ты приказать своему покорному сыну сделать то или это?

Тогда подобно полной луне засиял Микраэль:

– Счастлив Орсундах, имея такого владыку. Эльдар! Прими нижайшую просьбу. Прошу, потрудись, пройди под кровлю нашего дома.

Я согласился. Я позволил вторично подать кувшин с теплой водой. Я вторично умылся. Я выпил глоток медового пива, съел пышку, не всю, только малую долю. Я поднял глаза от стола и – тут я онемел: Дзеннетта в полном наряде стоит предо мной. Я видел ее несколько раз. Тогда, при споре с Темиром из-за туренка Ахсака. Потом на поляне Удачи после победы моей над пятью ездоками. В лесу – во власти черного коршуна. Но такой, как сейчас, не видел еще. Ароматный жасмин, осыпанный розой – вот чем Дзеннетта была. Прекрасной алмазной звездой, сошедшей на землю. Ангелом Божьим, крылатой вестницей блага... Она смотрела, и во взоре ее слезы стояли.

– Владыка Эльдар...

Не досказала, взмахнула тонкими ручками, как бы желая обнять колени мои. Я взял ее за руки, за нежные, за мотыльковые крылья:

– Девушка, если есть твоя воля отблагодарить за дело, что случилось в ночь полнолуния, я не приму благодарность. При всех тебе говорю: тот не горец, кто ищет награду за простую услугу.

Я чувствовал ясно: трепетали легкие крылья, руки ее. В этот миг я желал быть Ансаром – Аллах, Ты всевидящий, видел мой грех. Но наружно я сохранил бесстрашие, приличное горскому мужу...

В эту ночь я спал в Леуановой башне. Я – один, в великом обществе духов. Я совершил омовение перед священным порогом. Войдя, я поклонился цепи, висящей в камине. Я поднялся наверх, я сошел в погреб. За ложе ночное я выбрал постель, стоявшую рядом с камином: здесь рождались, здесь отходили в вечность предки мои.

Наутро, вместе со Справедливым Эльдаром, я пошел на кладбище. Пятеро слуг вели тучных баранов. Пятеро слуг несли священные пышки, котлы – все, что нужно для жертвы обильной. Под руководством Эльдара я обошел могилы Леуанова рода. В память того, кто что любил вкушать на земле, я ел бараньи мозги на могиле Инала, отца моего, бараний хребет на могиле дяди Адила, ребра, облитые жиром, в честь деда и белое мясо груди в память прадеда. Я верил и знал: сила пищи

земной, посредством моим, восходит на Небо, питая отцов и предков других. Я провел на кладбище весь день, молясь и вымаливая милость отошедших отцов.

Изнеможенный, я вернулся домой. Сестрица Нальчжуз, та, что была первой горянкой, увиденной мною на кошу Эльдар-бека, принесла теплую воду, мыльный корень и чистый ручник. Я умылся. Я испытывал голод. Сестрица Нальчжуз приготовила курицу с перцем – всему другому я предпочитаю эту еду. Я вышел взглянуть на закат. Я видел ясные горы, без единого облачка. Бодрая свежесть исходила от гор, пронизывая грудь, даруя груди уверенность в завтрашнем дне. На завтра я обещал себе поездку к Ансару.

Да, я исполнил обет. Я еще раз – последний – встретил Ансара. Закутанный в саван, он возвращался домой. Не он сам возвращался – его тело везли на носилках, привязанных к седлам. Я поклонился ему до земли. Я обнял мертвое тело. Я запечатлел поцелуй верного брата на братской груди. Я проводил его до могилы, беспрестанно молясь, ничего не вкушая, позабыв о воде. В течение долгого года я соблюдал траур по отошедшему Ансару.

Но кончился траурный год.

Эльдар Справедливый, взяв мой локоть, сказал:

– Послушай. Орсундах ожидает от тебя дело одно. Понимаешь?

Я потупился.

Эльдар-бек Справедливый:

– В любви нет стыда, дорогой.

Я на это:

– Не смею надеяться.

Он:

– Ради Аллаха! Даже мальчишки кричат о браке владыки Эльдара с Унараевых дочкой Дзеннеттой.

Я:

– Неужели можно поверить, что Дзеннетта и я...

– Ах ты, победитель Темира, славнейший стрелок поляны Удачи. Послушать тебя – уши завянут. Знай: Дзеннеттина тетка, Фуза имя ее, сказала Нальчжуз, а Нальчжуз мне передала. С той поры, как спас кто-то хромого туренка, прострелено сердце одно. Ну, веришь теперь?

...Мы, род Эльдаровых, в согласии с Унараевых родом, назначили брак после жатвы. Два месяца приготовления длились. Пригнали стадо

баранов. Четырех быков откормили – два от нашего рода, два от невестиного. Пиво варили сразу в нескольких чанах.

Перед тем как сойтись жениху и невесте, женщины Унараева рода обряжали Дзеннетту. Все тут были: старая бабка, Чорттая вдова, Даха, Дзеннеттина мать, тетка Фуза, сестры, дочери Фузы... Много их было.

До нага раздели Дзеннетту. Вымыли тело отваром гвоздики. Там и здесь натерли розовым маслом, благовонием райским. Сняли *сохтан*, корсет-пояс сафьяновый, просто обшитый, надели новый сохтан. Этот новый – в узорах из шелка. Блестит золотистыми искрами. Серебро играет на нем. Впереди из шелковых нитей застежки. Рука новобрачного – одна в целом мире – смеет коснуться застежек.

После пояса надели *джан тчегчель*, сорочку из белого шелка прозрачного, до колен доходит сорочка. Когда надевали ее, тетка Фуза села в сторонке, положив на колени кобуз, горскую скрипку. Тихохонько струны щипала, нараспев говорила:

На острове Белого моря стоял древний город Малтаб.
Правителем древнего города был владыка один, Алтын-хан.
Жена была у него, жена Курляуш.
Дочь была у него, дочь Гулямалик-Курукти.

Пока распевала Фуза, натянули чулочки Дзеннетте, чулочки из козьего пуха. После чулочек, детских размеров, шальвары надели: *гончег*, из голубого атласа. Продолжила петь Фуза:

Дочь Алтын-хана в башне жила, в башне высокой,
Гулямалик-Курукти вечно скрывали от солнца и звезд.
Гулямалик-Курукти была прекраснее солнца и звезд:
Взглянет на дерево – листочки зеленые развивают юные тельца,
Взглянет на землю – цветы полевые венцы поднимают навстречу.
Волосы станет расчесывать – зерна жемчуга сыплются,
Уронит на землю слезу – не слеза, алмаз лежит на земле...

Расчесали длинные косы Дзеннетты. Перевили лентами, нитками жемчуга. Поставили на скамью Дзеннетту: гурия рая среди одалисок. Свет снизу вверх падает. Оттеняет мягкие губы, очерчивает тонкие ноздри, делает глубже глаза. Упорство львиной породы в миловидном лице. Детская нежная робость в лице. Фуза поет:

благословляют ее: эта целует в плечо, другая трогает косы. Длинные темные косы открыты. Когда окончит мулла чтение Книги святой, когда молодые супруги съедят разделенное надвое яблоко, когда руки супругов, переплетенные шелковой тканью, развяжут – тогда покроют Дзеннетину голову прозрачной фатой. Это будет уже не Дзеннетта, дочь Микраэля, это будет жена Агелика, владыки Эльдара супруга...

Так, подходит конец моей повести. Старый Эльдар допел свою песню. Увы! Жизнь быстротечна, жизнь подобна реке, бегущей к морю от гор. Жизнь подобна летучему облаку. Я был силен и молод. Ныне слабею, слабею и таю, как лед под горячим лучом. Но я не ропщу. Есть мера всему на земле. Есть мера и веку людскому.

В ясный полдень люблю я выйти на ниву, на выступ скалы и думать, мечтать о былом. Видения прошлого услаждают душу мою. Видения эти подобны туману цвета весеннего неба. Порою лицо промелькнет дорогое. Порою голос услышу, голос, похожий на скрипку-кобуз. Вздогнет старое сердце. Хочет забиться – сил не находит. Какая-то странная влага сочится из глаз потускневших. Некое эхо, как стон, грудь бередит... Тогда, собрав последние силы, я поднимаюсь, иду и иду. Я достигаю высокого берега. Внизу бушует река, вокруг бесконечный простор. Я слушаю сердцем святое молчание гор. Я молюсь Единому Богу. Я смотрю на реку, вижу волну уходящую. Я поднимаю взор к небесам, я замечаю летящую птицу. Ее крылья простерты над бездной. Тогда я говорю:

– Боже, мир Твой подобен волне, освещенной игривым лучом. Мир Твой – над бездной парящие крылья...

1942

*Кавказская
проза*

ЭМИГРАНТСКИЕ ПИСАТЕЛИ О СЕБЕ

К. Чхеидзе



Родился я в сентябре 1897 года на Сев<ерном> Кавказе, в семье традиционно-военной и традиционно служащей в кавалерии. Мой отец, умерший в пору моего раннего детства, был грузин, католик. Мать – русская, православная.

В городе, где я проводил круглый год, и во время летних вакаций в горах я имел возможность встречаться с представителями разнообразных вероисповеданий, национальностей, классов и характеров. То были православные, католики, лютеране, магометане, грузино-католики, армяно-католики, армяно-грегориане, субботники, молокане, духоборцы, иудеи, старообрядцы и т. д. Каждый оттенок религии меня привлекал, возбуждал интерес... А народности: русские, украинцы, поляки (жившие в нашем краю со времен польских восстаний), грузины, ингуши, кабардинцы, балкарцы, осетины, армяне, ногойцы, чеченцы, евреи обыкновенные, евреи горские, сваны, дагестанцы... Эта пестрота меня поражала и учила находить за внешним разнообразием явлений внутреннюю сущность и единство... Кроме Кавказа, жил еще на Украине (в кадетском корпусе, в Полтаве), в Средней России (Тверское кавалерийское училище), видел Петроград, Москву, Черное море, Крым.

Весной 1916 года окончил корпус, через год – военное училище. Поступил в так называемую Дикую дивизию, в Кабардинский полк. В этот момент Россия отвернула лицо от фронта. На ее просторах вспыхнули первые костры гражданской междоусобицы. Кабардинский полк принял участие в неудачном Корниловском походе на Петроград, осенью 1917 года вернулся на родину, в Нальчик.

В своей книге «Страна Прометея» я изобразил рыцарскую жизнь Кабарды – прекраснейшей в мире земли и благороднейшего народа из всех, с кем довелось встречаться. Я счастлив, что жил несколько лет среди кабардинцев!..

В марте 1918 года сидел в Чека, ожидая расстрела¹. Учился курить. Наблюдал, как из 21 заключенного четверо сошли с ума, один постепенно умирал от страха; как красноармейцы и чекисты выводили осужденных на смерть. От июля того же 1918 года до ноября 1920 года, то есть до крымской эвакуации, принимал участие в борьбе белых и красных. Ровно год (август 1918 – август 1919) провел бок о бок с одареннейшим и замечательнейшим из всех людей, которых когда-либо видел и слышал, – Заурбеком Даутоковым². 27 августа он был убит под Царицыном. Отдал ему последнюю честь – с несколькими всадниками вывез его с поля битвы...

Почти полный год провел на Лемносе (1921). Там, под небом Эгейского моря, наслаждался могучей и трагической природой – той, которая вдохновила автора Откровения св. Иоанна³. Жил в палатке, писал дневник, питался французской фасолью... С 1922-го по осень 1923 года был простым рабочим в Болгарии. Переменил 14 профессий. Был дровосеком, кочегаром, грузчиком на вокзале, рабочим на кирпичном заводе, землекопом и т. д.

Весной 1923 года – никогда не забуду эту весну! – рубил строевой лес на Шипке. Почти на 50 лет ранее этого (освободительная война 1877–1878) в этих же местах был ранен мой отец. Однажды приятель по артели нашел в сердцевине столетнего бука кусок олова – пулю. По-видимому, эта пуля находилась в стволе с тех давно минувших времен...

Летом 1923 года мне повезло: хорошо заработал при перекопке старого турецкого кладбища под виноградник, а потом при прессовании сена. В России для этого употребляются кони. В Болгарии – люди. Но ничего! Главное – хорошо заработал... Желание перебраться в Прагу и учиться стало осуществимым... Не было визы. Однако надо было решить дилемму: по одну сторону чешской границы были Прага и университет. По другую – Болгария, кирпичный завод, шахты. Мне казалось, что будущей жизнью, будущим трудом я смогу оправдать этот шаг. И – перешел границу.

Это было ночью, в августе, недалеко от Братиславы; светил месяц, пробегали волны прохладного воздуха. Потом вспоминаю: прекрасное шоссе – белое в лунных лучах – Чехия! По сторонам дороги – сливы. Зрелые августовские сливы. Ничего не поделаешь: мы рвали и ели. Хотелось есть.

В июне 1928 года я окончил Русский юридический факультет, с оставлением при кафедре государственного права.

Повесть о Дине

После его смерти, когда прибывший за телом родственник перебирал вещи и, по обычаю горцев, часть из них раздаривал друзьям покойного, – я получил отделанное металлом оголовье, нагайку и (по настойчивой своей просьбе) две клеенчатые записные книжки.

Впоследствии золотом на стали чеканное оголовье, вместе с конем моим Догужем (что значит Волк), попало в неизвестные руки, промышлявшие делом нечистым в обозе отступавших войск; нагайку я сам закинул в море Черное, на черном пути в изгнание; и только две небольшие тетрадки постоянно кочевали со мной, разделяя вседневный бродяжнический мой путь.

В минуты, когда мелкая дребедень повседневной жизни – жизни неправдоподобной и лишенной какого-то главного своего внутреннего ядра – загонит человека внутрь себя, в берлогу одинокой души, я перебираю осторожно уже истрепанные походами и руками листы.

Я ищу и нахожу в них те милые сердцу контрасты, переходы, взрывы и страсти, которыми полон Кавказ и которых так мало на этом неразнообразном Западе... И когда – порою – в минуты откровенного сожаления о прошлом я расскажу невзначай один-другой эпизод из «той» жизни или набросаю черты былых (не бывших!) людей, я вижу, как загораются глаза собеседника, как просыпаются в нем заглохшие в изгнании чувства гордости, силы, воли к победе и сознание человеческого своего достоинства...

Но все чаще заглядываю я в две потрепанные походами, временем и руками тетради и все больше лохматятся их странички – даже до подобия тряпкам.

Вот и решил я, пораздумав над записями: «Еще год-два и сойдут на нет дорогие строки. Не переписать ли их содержание наново, своими руками?» И взялся было за это дело с первой страницы. Но тут, в процессе работы, я увидел, что если не по страницам, а по темам вести переписку, то как раз и получатся повести, рассказы и краткие эпизоды из своеобразного прошлого моего покойного друга. Тогда принялся я, по теме судя, сводить в одно разные места записей Батыр-Бека. И получились у меня две повести, ряд эскизов и два-три небольших рассказа¹.

Вот первая –

ПОВЕСТЬ О ДИНЕ

Что касается покойного моего друга Батыр-Бека, то в нем каждый видел и мощь, и властность, и редкую одаренность кипучей его натуры. Был он строптив и замкнут и превыше всего дерзание ценил в человеке. Сам же дерзал как бы уже по привычке.

На цветном листке, отделяющем белую стопку линованной бумаги от клеенчатой обложки, написано четко:

«Мои девизы:

- Дорогу сильным!
- В ногу – ни с кем, никогда!
- Порыв не терпит перерыва!»

Повесть же моя начинается с такой записи: «Только что отправил письмо одной овдовевшей жене. Я написал ей так: „Молитесь о душе Генриха S. Его тело погребено в ограде Д-го костела. На кресте полная надпись. У ксендза документы и деньги. Не проклиняйте русских. Он пал жертвой роковой ошибки”.

Убийца Генриха S. – я. Я с полусотней вел разведку. На нас вынеслась группа всадников с криками в беспорядке. Оказалось: сдаются славяне. Но поздно узнали: двоих не стало.

У Генриха не кобыла, а мечта, видение. Красива, как древняя легенда Кавказа. Норов, как у сверженной королевы... Взял себе: моя добыча – я убил Генриха S.».

* * *

«Мухтар (вестовой Батыр-Бека) нашел у кобылы под челкой медальон с надписью: „Диана”.

Я сказал Мухтару:

– Ее зовут Диана.

Но он переделал в *Дина*... Пусть будет Дина... Ее аллюры достойны ее прекрасных ножек».

* * *

«Браво! Я все больше и больше увлекаюсь борьбой с этой злобно-капризной австриячкой. Ее настойчивое бешенство равняется моему жестокому хладнокровию. Есть восхитительные моменты в нашем единоборстве: кто кого переломит!.. С кокетством избалованной прима-

донны Дина позволяет себя убирать, вкусно и деликатно принимает овес и сено. Охотно несет Мухтара – без седла – на водопой и любит купаться. Но едва дело доходит до седла – это шайтан, это водопад, а не лошадь. Она отбивается от седла, как весталка от ласки.

Первоначально думал: „Не больны ли у нее почки?“ Но ветеринар уверяет, что более здорового организма и желать нельзя. Тем лучше.

Поседланная, она непрерывно дает „свечки“, бьет задом и, что в особенности меня бесит, кусает. Конники говорят: „Бойся переда женщины и зада лошади“. И от того и от другого уберечься можно. Но эта проклятая гибкая шея (проклятая и очаровательная), но эта звериная хитрость и хватка зубами?!

Не хлестать же Динины глаза?»

* * *

«Этот идиот Абу-Бекир имел наглость явиться ко мне – Батыр-Беку Кабардейшауо – с советами! Он (!) советует (!!) мне (!!!) действовать с Диной лаской! – Видали вы его?»

* * *

Между двумя – предыдущей и последующей – записями большой перерыв. Не менее полугода. Полгода длилась молчаливая упорная борьба. Весь полк интересовался и следил за ходом событий. И хотя опасался задавать вопросы самому Батыр-Беку, узнавал через вестовых и ординарцев о всяких переменах. С любопытством, носящим оттенок злорадства, шептались, что ротмистр Кабардейшауо истрепал вторую нагайку, но с Диной все-таки не совладал; что попытка его случить Дину с командирским Барсом кончилась позорным бравого текинца отступлением перед свирепым протестом своенравной австриячки и что непоколебимый в решениях своих Батыр-Бек готовит Дину к предстоящим скачкам. К дивизионным скачкам Дикой (Туземной конной) дивизии. О них говорится в следующей записи:

«Есть безумное счастье в победе. В поражении есть неутолимый стыд и яростная, пришибленная и тем более гневная злоба. Сегодняшний день всю жизнь будет стоять передо мной. Сегодня я победитель и побежденный сегодня я...

Она прекрасных благородных кровей. Ее карьер – это полет звезды, это смерч, это дьяволов бег. Я готов вырвать свое сердце и сердцем

Батыр-Бека наградить Дину. И убить, убить готов я за строптивную гордую непокорность...

Я пришел к старту первым. Оставил других на много корпусов. В сравнении с ходом Дины, ход ее «соперницы» Алмазной – собачья рысь и ничего больше... Мы неслись вдохновенно, властно; мы слились в одно – стремительное, победное. Знала же она, что мы, мы победили?!

Я впервые за эти мучительные месяцы отдал повод. Я наклонился к ее уху и нежно, и гордо, и любовно шептал ей:

– Дина, Динуся!..

И эта стерва обернулась и куснула меня в лицо. Она вырвала левый ус... Прокляв призы, я дал плетей и помчался в лес, в поле, в багряное пространство. С десяток верст гнал я окаянную кобылу и хлестал ее тело, голову, ноги... В овраге за лесом она начала спотыкаться. Это усилило мою ярость; я хотел запалить, загнать, исковеркать подлую тварь. Она стала припадать на передние ноги, и мое бешенство подсказало мысль: „Прикончить ее... – здесь – в углу – в овраге – пулей – уничтожить ее“.

Я соскочил с седла и, держа поводья, хлестнул ее остатком плети. В темноте ночи я видел, как дрогнули ее глаза. Но дернуть головой уже не было силы... Я вынул наган, взвел курок и – нет! Я не убил Дину...

...Она искалечила меня не меньше, а больше, чем я ее. В темноте оврага я рыдал над Диной и над самим собой... И потом шагом повел ее в поводу домой.

Приказал Мухтару бросить все и жить для одной Дины. А из сотни вызвал всадника и поставил у дверей с приказанием никого не впускать. Я болен. Я болен Диной.

Что это – тень Генриха, что ли?!»

* * *

Батыр-Бек взял отпуск и уехал в Кабарду. Конечно, он не мог показаться людям с выбритыми усами. Я думаю, что если бы полковой командир отказал в отпуске, он бы поднял вопрос о переводе. В самом деле: насмешливой улыбке не прикажешь. А на такую улыбку Батыр-Бек ответил бы кровью. Это ясно.

Батыр-Бек уехал, но долго еще говорили в полку и дивизии о романе ротмистра К. с австриячкой.

Не стану приводить тщательно составленных регулярных записей моего друга за длинный ряд месяцев, в период которых он настойчивым личным уходом добивался расположения Дины.

Могу себе представить, как элегантно Батыр-Бек собственноручно замывает хвост и чешет гриву или выгребает навоз из конюшни!

За эти месяцы российские революции – Февральская и Октябрьская – докатились до Кавказа и здесь поднялись волны обратного направления. Батыр-Беку не понадобилось возвращаться в полк: полка не было.

В осень 1918 года он пишет о своем желании выехать из района «красных» и присоединиться к «белым». Потом стоит:

«Я воюю с 1912 года. Персы, курды, немцы, австрийцы – вот мой путь². Сейчас новый враг: красные – большевики. Меж тем убивать уже надоело.

Долго отсрочивал свой побег к белым. Но большевики сами ускорили мое решение: они вздумали реквизировать оружие и Дину³ – Дину, мою привязанность, мою радость.

И вот я здесь, в П*⁴, командую повстанцами. Идет война на взаимное уничтожение. Внешний враг забыт. Прекрасно. Наши силы растут. Кто кого?.. Россия... Где она?»

* * *

«Преглупая рана: меня ранили в мизинец левой ноги. Но пуля задела и нежную кожу Дины. Бедная Дина. Я так боюсь за нее. Она ласковая и верная. Она любит бой и загорается, когда говорят пушки».

* * *

«Дина убита».

* * *

Вот последняя запись о Дине: «Дина убита»... Я помню этот палящий августовский полдень⁵. Развернутая лава неслась на окопы противника. Впереди отчетливым силуэтом, в кирпичного цвета черкеске – Батыр-Бек. Он ведет полк в атаку. Огненно-рыжая Дина распласталась над землей, и ее аристократические ноги упруго перебирают пространство... Я вижу запрокинутый за батыр-бековские плечи бинокль, не шевелящийся и при таком аллюре. Я слышу несущиеся, какие-то рваные

крики; стрекот пулеметов и хлопанье винтовочных выстрелов, которыми всадники стараются воодушевить самих себя, стреляя стоя в седле.

Но вот смятение. Волна лавы дрогнула. Вот повернул центр, потом фланги – уже все несется обратно. А вслед им поднимаются зелено-серые цепи, и кричат, и залпами провожают бегущих, и землистые лица со ртами, застывшими в крике, идут на нас. Между уходящей лавой и горловым ревом расстояние все растёт. А между ними корчатся в своей крови раненые. И ближе к цепям – группа: вытянувшаяся на жаркой пыльной земле Дина и над нею склоненный Батыр-Бек; рядом, на коне, верный Мухтар: он не оставит своего командира.

А над цепями и лавой, над полем, пылью и кровью, стоит высокое солнце. Солнце с великим безучастием выпаривало здесь разливы Волги и сушило потную спину пахаря, а теперь превращает лужицы крови в медно-темные пятна.

Лава исчезает. Лава принесет в резерв панику, разнеся весть: убит командир, убит Батыр-Бек... Но – убита Дина.

Мухтар забыл дисциплину, забыл адыгэ хабзэ *, не соблюдает почтения к старшим. Некогда соблюдать почтение к старшим! Он трясет плечо командира и только кричит:

«Шехо, шехо! Нако, Батыр-Бек! Аллахими-хатырка...**»

И под визжащее пение пуль вывозит добрый мухтаровский конь двух молчаливых всадников; в седле – Мухтар, на крупе – Батыр-Бек; некогда, некогда соблюдать адыгэ хабзэ...

* * *

«Хамы! Поганая пуля, пущенная подлой рукой, сразила мою единственную подругу. Вы убили мою благородную Дину. К моей ненависти к вашим красным идеям вы прибавили личную ненависть и месть. Берегитесь! Через мою месть вы узнаете, кто я.

Батыр-Бек Кабардейшау»

На большом белом листе написал он эти фразы. И прибил собранными Мухтаром пулями на дорожный столб.

* Кабардинские обычаи.

** Скорее, скорее! Бежим, Батыр-Бек, ради Бога!

* * *

Мне грустно прикасаться пером к бумаге, чтобы написать последние слова.

С того боя, в котором мы показали свой тыл, мы, как говорят в коннице, «потеряли сердце». Мы встречались с противником лишь для того, чтобы уступить и уйти. Наш полк редел, и таяли давно неполные сотни. Батыр-Бек искусно руководил арьергардными боями, всегда впереди всех, словно в поисках смерти.

С того боя, в котором он потерял Дину, прошло не более двух недель⁶. Каждое утро начиналось артиллерийской дуэлью; к полудню происходил встречный бой, и к вечеру мы отходили на новые позиции...

В день ясный, в такой именно день, которого ждут съехавшиеся на минераловодские курорты любители веселой жизни, природы и пикников – когда полуденное солнце встало над головой, с полей приволжских ушла к престолу Сущего душа Батыр-Бека.

Осколок гранаты – очень похожий на осколок метеора, которым, быть может, любовалась именно в этот самый момент минераловодская публика, – остановил биение батыр-бековского сердца.

Рыдающий Мухтар отвел меня в сторону от его тела!

– Валлаги-азим! * – сказал он, – это жена Генриха вымолила у Злого Духа все несчастья Батыр-Бека!..

Не знаю: прав ли Мухтар?

Тут конец Батыр-Бека, тут конец повести о Дине.

* Клянусь Богом!

Вавочка

Вторая повесть, из записей Батыр-Бека Кабардейшауо
извлеченная *

«Завтра я оставляю дом свой. Вернусь ли? Начинается большая война... В комнате рядом быстро скользят чьи-то шелестящие чувяки **. Это – мать. Она собирает мои вещи и – верно – плачет над ними. Какой уже раз я выезжаю из дому и плачет мать?..

Помню японскую войну. Провожали отца. Никто не смел встретить заплаканными глазами его сосредоточенный на какой-то мысли взгляд. А мать – притихшая – в углу, в боязни: как бы не зарыдать...

Отец умер, не увидел нас офицерами. Через три года после его смерти старший брат прямо с училищного ленчика *** поехал в Персию. Там – «неофициальная» война. В минувшую осень и я присоединился к нему. Скоро третий из нас – Хасан-Бий – выйдет в полк. Все трое будем на фронтах¹. Жаль – на разных, в разных частях... А мать – мать будет молиться, плакать; будет приглашать Эль-Мурзу или кого-нибудь еще из грамотных аталыков **** и диктовать длинные, как ее несedeющие волосы, любовью освященные письма...

Кажется, мне грустно. Дурной знак».

* * *

«Последняя ночь в своем доме... Я раздумываю: брать ли на фронт Вавочкину фотографию? Мы снялись вместе, в Кисловодске... Лучше не брать: быть может, убьют, и тогда жадные на „открытия“ глаза начнут

* Первая «Повесть о Дине» напечатана в № 12–13 «Своими путями».

** Обувь.

*** Седло.

**** Молочный брат.

рыться в вещах; увидят нас, быть может, найдутся общие знакомые... Всегда так бывает. А я дал слово тайны.

...Нет, оставлю карточку дома...

Смотрю на Вавочку и вижу весь наш короткий роман. С его началом у меня связано дурное чувство... Я возвращался ущельем с коша^{*} за Старым Абуковским. Был полдень. Оставив у дороги стреноженного коня, спустился к воде, чтобы сделать намаз. Молясь, слышу стук кованых копыт и скрежет железных шин о камни: кто-то едет, из городских. Слышу – остановились. Слышу – прегнусный сюсюкающий голос:

– Фафочка, смотри – черкес молится! Шарман, не-с-па?²

Потом тронулись дальше...

Есть ли что-нибудь на свете паскуднее такого любопытства? Мои руки сводила судорога желания пугнуть этого шарманщика парой пуль.

Под самым Абуково нагнал линейку. На ней дама и кучер. А близ дороги по пригорку прыгает долговязый тип в страшно-спортсменском виде, с двустволкой в руках и головой, задранной в небо: там парил орел. Увидел меня, бросил двустволку в росную траву – шляпа! – вопит:

– Берикет-берсын, берикет-берсын **, мсье черкес!..

«Берикет-берсын» спутал с «хошь-гельды»***.

– ...Вот видите, я обещал сестре убить орла – савэ-ву³ – у нее коллекция... вот видите, а я боюсь: не попаду – и орел улетит... – и так далее: просит меня исполнить его обещание. Хорош гусь. Но – я взглянул на даму (тут несколько строчек зачеркнуто)... Есть такие взгляды... Дама была Вавочкой.

У меня маузер с прикладом. Прицел⁴. Выстрел. Орел упал. Эта фигура трепенулась всем своим трехаршинным скелетом, кинувшись поднимать орла. Но Батыр-Бек не из тех, которые уступают. Которые уступают честь заслужить улыбку. Мой кабардинец обскакал длинного спортсмена. На скаку я ухватил крыло. И со всею возможной картинностью положил орла у кончиков Вавочкиных туфель, которые выглядывали из-под пледа.

Улыбка досталась мне».

^{*} Загон для скота.

^{**} Благодарственное восклицание.

^{***} Восклицание приветственное в пути.

* * *

«Я испытываю какой-то внутренний протест, когда сталкиваюсь в жизни с так называемым „осмысливанием душевных переживаний“. И вообще все так называемые „искания начал“ полагаю величайшей дерзостью. Как смеет человек блудить мыслью и словом о том, что неизвестно от века?! Такие „искания“ коверкают души людей. Мужчин превращает в байгушей^{*}. Из женщин делают полудев... Взять хотя бы этого недоноска Пьера – Вавочкиного брата. По деликатности и духовной чуткости он не идет дальше непонимания, что глазеть на молитву постыдно. В смысле мужества он, должно быть, и сестру защитить не сумеет. А ведь – ручаюсь! – всякие „начала“ изучил вдоль и поперек... Урод.

...Но сейчас думается о другом: как это бывает, когда одно сердце заставляет биться другое? Почему: Вавочка и Батыр-Бек? Не знаю. Это – ажал^{**}, рок – судьба... Благодарю тебя, благословенный ажал!.. Вавочка не сказала, кто она, откуда. И я не настаивал. К чему знать? У меня осталась карточка. У нее – карточка и орел. У нас обоих – на всю жизнь запечатленное счастье красивых восторгов и ласк, нежных, как цветы».

Дальше еще несколько затертых слов. Сбоку от них, как видно, позднейшая приписка: «Я угадал: она замужем! И за кем!..»

...Узнаю Батыр-Бека: в мудро-прекрасной целомудренности слов узнаю я его. Его взгляды были тверды, как вершина Арарата. Никто и никогда не слышал слов, не достойных кабардейшауо^{***}, из батырбековских уст... Эль-Мурза – младший аталык Батыр-Бека – рассказывал, что его уши и уши Хасан-Бия пострадали однажды за то, что приняли в себя развязную болтовню языков: услышал и наказал Батыр-Бек.

Он был рыцарь и воин. Пытаюсь и не могу себе представить моего друга не в черкеске, а в «тройке»; не в папахе, а в котелке; не с оружием, а с какой-нибудь «масонской тростью» – с топориком каменщиков... – непредставима эта противоестественная смесь.

Но вот он в своей стихии: на фронте.

^{*} Человек без рода и племени. Байгуш – ничто в моральном и бытовом отношении.

^{**} Рок (кабардинское слово).

^{***} Труднопереводимо. Приблизительно кабардейшауо значит кабардинский джентльмен.

* * *

«За сегодняшнее дело меня представили ко второй уже награде. Собственно говоря, мой „подвиг” (как говорит полковой командир) есть просто удача. От меня лично требовалось не растеряться да немного уметь говорить по-курдски. Впрочем, присутствие духа, умение и удача всегда и были пьедесталами воинской славы.

Во время разведки я с девятью казаками встретил двух курдов. Начали преследовать. Дорога вела в гору. Растянулись: впереди я, за мной – цепочкой – остальные. Перед самым хребтом курды свернули; а я, надеясь на своего Урагана, бросился наперерез, прямо. Выскакиваю на гребень и вижу: внизу, под обрывом, целый табор курдов. Что было делать? Бежать? Но они на свежих конях в момент нас догнали бы и перебили... Спешиться, дать бой? Это смешно с десятью винтовками... А раздумывать некогда... Я крикнул по-курдски: „Сдавайтесь! Бросайте оружие!” – подсказал выход опешившим курдам. Полная неожиданность моего появления, прибывающие один за другим казачьи силуэты на гребне решили их судьбу. Мы взяли больше сорока человек, значок и пулемет. Через несколько минут, когда у собранного в кучу оружия стояли часовые, примчались первые два курда. Поздно! Не надо было бояться обрыва!*

...Грудь моя полна буйным переживанием победы. Да, порыв не терпит перерыва. И, право, я заслужил ожидаемую „клюкву”**.

* * *

«По вызову приехал в штаб дивизии. Буду представляться новому начальнику дивизии. Говорят, что он очень старый и очень придирчивый. В штабе шутят: „Чем знаменит начальник N-й дивизии? – спрашивают друг друга и отвечают: – Тем, что его жена – может быть, внучка”. Молодая генеральша поступила сестрой в „летучку”. Завтра увижу обоих».

* * *

«Моя голова в угаре хмеля и любви. Вавочка здесь... Только что, за ужином в штабном собрании, я дышал запахом ее волос... „Сестра Вавочка” – я так называл ее сегодня. За столом много пили, говорили тосты. Пили за меня. Какой-то военный корреспондент спросил мое

* Весь этот случай был на Турецком фронте в 1915 году.

** [Орден] Св<ятой> Анны 4-й степени.

отчество. Хочет описать „подвиг сотника Батыр-Бека Койсыновича Кабардейшау“ в газетах. Я очень рад. Пусть все знают, что наша фамилия верна старым традициям. Пусть горечь материнских слез облегчится гордостью за сына... Но я – я горд восхищением моей обаятельной подруги. Она так рисует дело, будто я перевернул весь фронт...

Потом принесли кофе, ликеры, карты. Штаб хорошо живет... Ни Вавочка, ни я не играли. Мы заняли край стола и своей близостью создали особый мир, и тишина нашего мира не нарушалась звуками речи: мы писали друг другу; писали на маленьких листках этой тетрадки, на бланках штаба, на меню: о радости встречи, о любви, о памяти сердца!..

Когда разлили по бокалам „Абрау-Дюрсо“, Вавочка написала: „За что выпьем?“

Я ответил экспромтом:

Так будем же, как встарь, гостями жизни пира,
Красиво будем брать от жизни ценность дней
И в поклонении бессмертному кумиру
Умчимся вдаль, в волшебный мир теней...

За женщину, цветы, поэзию, любовь,
За смех – застольный культ – его бокалов звон,
И за влюбленных глаз влюбленный перезвон
И за безумство тех – чья горячее кровь!..

– За это, – сказал я, показав последнюю строчку.

Чокнулись:

– Алла-Верды, сестра Вавочка!

– Якши-Ол, милый Батыр! – выпили до дна. До дна, о моя любовь!..

...Одно только удивляет меня: я перехватил несколько странных взглядов».

* * *

«Вавочка – жена начальника дивизии. Ничего больше не могу и не хочу писать».

* * *

«Один штабной приятель передал, что генералу чуть ли не рапортом донесли о необъяснимой и внезапной симпатии между его женой и мною. А генерал будто бы выразился, что я „наглец и молокосос, не умеющий себя держать в обществе дам“; что я „вообразил себе, что нахожусь в духане“ и т. д., что, в конце концов, меня следует „осадить“. Посмотрим, кто и как сумеет „осадить“ Батыр-Бека?

В столовую больше не хожу. Кончу дела – и аллюром „три креста“^{**} – в полк».

* * *

«Его превосходительство сердится, и сердится довольно глупо: он прислал адъютанта с передачей мне выговора. За что?! – а вот, не угодно ли...

Я ехал подле команды ординарцев. Шли колонной, и шел страшнейший дождь с ветром, снегом и прочими лакомствами турецкой осени. Казаки приуныли. Вид печальный: бурки-башлыки, бурки-башлыки, а их покрывают хлопья тающего, на рахат-лукум похожего снега; а под ними усталый ропот. Остановились в версте от поселка – в ожидании: когда же, наконец, господа квартирьеры соблаговолят указать помещения?!

Ждем полчаса, час, полтора часа. Небо щедро посылает рахат-лукум. И даже с водой^{**}. Снег может потушить костер. Но на костре нетерпеливого гнева человеческого он превращается в нефть.

Тишина. Безудержный ветер и сдержанный „мат“ разнообразят унылое ожидание... В этот момент слышу – кто-то вопит:

– Блоха! Блоха! Передать по колонне! Блоха!

А у меня вестовой Муха. Я кидаю в темноту ночи:

– Муха!!

– Чего изволите, Ваш балродь? (он стоял в двух шагах).

Я говорю отдельно и громко:

– Поезжай! – найди Блоху и познакомься.

Разумеется, общий хохот. Все повеселели. Смех бодрит человека. Смех – это дрожжи в скупенной массе людей: он ее поднимает...

И вот оказывается, что Блоха – вестовой его превосходительства! И генерал вообразил, что это я над ним издевался: выцукал⁵ через адъютанта...

К черту всю эту мелкую штабную войну – войну мышей и лягушек! К черту отсюда!»

* * *

«Вчера закончил страницу пожеланием „к черту отсюда“ и как будто напроорочил отъезд. Только что Муха принес из штаба предписание ехать обратно в полк. Приказал седлать на рассвете... Отъезду я очень рад. Но... как же с Вавочкой? – Какая-то осязательная неловкость

⁵ «Как можно скорее» – кавалер<ийское> выражение.

^{**} На Востоке к рахат-лукуму подают воду.

давит мою грудь. Так просто, без слов, без свидания, расстаться с ней, с Вавочкой?! Нет, это невозможно!.. Что она может сейчас думать? Она может думать, что я боюсь генеральской ревности и потому трус; или что я играл на старом чувстве и потом бросил, и потому негодяй. Но фамилия Кабардейшауу никогда не знала ни трусов, ни негодяев. И не будет знать. Но наша фамилия не знала и воров...

Как бы ни хотелось мне отомстить генералу; как бы ни влекло меня прильнуть к чаше и выпить ее всю до дна – за безумство тех, чья горячее кровь, я говорю: предел!

Вавочка, поймете ли вы меня?

Желание отомстить генералу за его спесивую ревность, ограбить его, отнять его жену; желание нарядным гостем вступить на пир жизни и зажечь жизнь трепетной, как пламя, жаркой страстью – борются во мне с чувством презрения к дрянной низости моих желаний. Не могу и не хочу оскорблять заветы, которыми жили мой отец и дед. Да! Их наставления суровы; их наказания кровавы и жестоки. Но так и должно быть. Я сказал: предел.

Вспоминаю суд и расправу покойного отца.

У нас в степях Моздокских есть хутор. Последние годы жизни отец безвыездно провел там. И он был судьей на всю округу. К нему приходили разрешать споры. Отдавали в нашу кунацкую своих сыновей на воспитание. Советовались о делах... Помню, однажды наш работник Хацу украл ночью из нашего же двора девушку-сироту, дочь недавно умершего чабана *. Отец возмутился: как так – украл с нашего двора да еще свой человек. И конца траура не дождал. – Послал погоню... Привели бедного Хацу – с невестой. Та кинулась в ноги: старая любовь! Вымаливает прощение.

– Оттого, – говорит, – и украл меня, чтобы скорее с трауром покончить и свадьбу справить.

Но отец простил лишь наполовину.

– Хацу! – сказал он. – Ты знаешь, что полагается за кражу? За кражу руку секут, не так ли? Ты низкий ночной вор. Получай свое! – И кинжалом надрубил ему плечо.

– Смотри, Хацу, – добавил отец, – помни: любовь Айшет сохранила твою воровскую руку...

Так присудил отец ⁶. И все считали его суд судом правым: у нас знают, что суровость – мать благородства... И сейчас я сужу себя, свое

* Пастух.

сердце сужу я. Напряженно думаю о ней, о Вавочке; хочу ее видеть – как славу, как счастье, как Мир. Но – я сказал: предел.

Нет отца, который бы кинжалом разрубил мое плечо до сердца, и я сам...»

* * *

Следующие странички батыр-бековских записей представляют необыкновенное, сравнительно с другими, зрелище. Многие строчки вымараны начисто. Оставшиеся набросаны кое-как, в волнении; буквы джигитуют, как молодые кабардей-уорки * на майских скачках... а почерк моего покойного друга наполнен был полновесной чеканностью букв.

...Один листик до половины занят чужим – хрупким, готически устремленным – почерком, но об этом после.

* * *

«За шумом ветра, – писал Батыр-Бек, – я не расслышал и повторного стука. Постучали опять.

Равнодушно, даже с досадой, сказал:

– Да-да! – войдите...

Вошла Вавочка – в бурке, в башлыке, в папахе.

– Нет, я не сяду, ни одной минуты не буду с вами... Я пришла вам сказать, что вы... вы изверг, да! Понимаете – un monstre!..⁷ Вы завтра едете на фронт? Я знаю... Прощайте...

И хотела уйти (дальше зачеркнуто)... и когда перестала плакать, я усадил ее за стол. Вот за этот стол, за которым сейчас пишу (снова зачеркнуто)... встал с колен, показал ей последние страницы. Вавочка с недоумением начала читать. И, дочитав до Хацу, прошептала:

– Mais c'est horrible⁸... но я понимаю...

И мне показалось, будто какое-то одобрение, какая-то восхищенная согласность звучала в ее – „я понимаю“... О, она поняла все!»

* * *

Хрупким, готически устремленным почерком Вавочка написала: «Пусть Вы знаете, что хотя я не знаю, можно ли молиться за магометан, но я всегда буду за Вас молиться. Моя молитва всегда с Вами, мой воин, топ héros⁹... Вавочка поняла все».

Так перевело русское Вавочкино сердце французскую Вавочкину мысль... Кое-где строчки расплылись – это слезы; это – святые слезы.

* Кабардинские дворяне.

Аслан-Бек Ширипов

Но и закаленное сердце Гехи жаждало человеческой ласки. И в порыве тоски искал Геха товарища-друга, кто бы мог облегчить ему минуты страданий и черных дум... Искал – и не находил¹.

Кавказский горец. 1934. № 1. С. 34

Горькую истину о себе заключил в этих немногих словах покойный Аслан-Бек Ширипов...

Вообще надо сказать – вся небольшая вещица «Абрек Геха» как нельзя лучше отражает порывистую, жаждущую подвига душу ее автора.

От первого слова и до последней мысли – предчувствия: «...победитель тот, кто в жертву борьбе, на верную смерть без раздумья бросает душу и тело свое...»² Всюду трепещет и перебегает от переживания к переживанию – один мотив: мучительная жажда подвига.

Я не стану здесь говорить о Ширипове как о политическом деятеле. Да если бы и хотел об этом писать – задача была бы трудно исполнима: он не успел выявить себя до конца, не успел сформироваться в определенную политическую личность.

Аслан-Бек митингов, речей, политики... словом, Аслан-Бек революции мне и непонятен и неизвестен.

Но Аслан-Бек «страданий и черных дум», замкнувшийся в мучительной одинокой тревоге; Аслан-Бек страстного горения, надежд, хотений и муки – этот Аслан-Бек, как живой, и сейчас стоит около меня.

* * *

Я был старше Аслан-Бека годом или двумя, и мы встретились впервые, будучи я в пятом, а он в четвертом классе кадетского корпуса (в

Полтаве). Уроженцев Кавказа самых разных «племен и наречий» было здесь довольно много, но все мы были разбросаны по разным классам (и ротам).

Встречались сравнительно редко; главным образом на рождественских и пасхальных каникулах, так как за дальностью расстояния домой не ездили.

Однако и при таком малом общении заметна была тяга Аслан-Бека к одиночеству. Узами тесной дружбы ни с одним из нас он связан не был.

Редко присоединялся он к нашим затеям, не говоря уже о шалостях.

Какая-то скорбная дума владела им. Всегда медлительный, молчаливый и грустный – он не располагал к себе, да и не искал ничего расположения. Ему грезились бури, сдвиги, усилия; он мечтал о подвигах, в то время как огромное большинство окружающих предавалось ежедневной «суеде мирской».

Будучи одним из лучших (кажется, первым) учеников в классе, пунктуально следуя предписаниям дисциплины, он считался образцовым кадетом.

Но от всего «может уйти человек, но нельзя ему уйти от самого себя, от того разлада, тех противоречий, которые составляют существо его духа»³, и вот в отношении духа, действительно, было неблагоприятно – Аслан-Бек определенно страдал...

* * *

Наше сближение произошло на почве любви к книге. Я был заведующим библиотекой, а он – один из усерднейших читателей ее книг. Часто в мои руки попадали книги из так называемой фундаментальной библиотеки, особенно интересные и трудно доставаемые. Читали мы их вместе.

От книги беседа переходила к Кавказу, от Кавказа к его народам, к чеченцам в частности, и, наконец, к единственному их представителю, т. е. к самому Аслан-Беку...

– Ты не можешь себе представить, – глухо говорил он, – до какой степени мне тяжело быть в этой клетке. Я ежеминутно чувствую ее прутья и мечтаю только о том, чтобы свободно вздохнуть... Клянусь тебе Аллахом, я предпочел бы быть сейчас пастухом, чем зубрить французские глаголы или дежурить по классу...

Для меня до сих пор неясно, каким образом Ширипов попал в кадетский корпус – да еще в Полтаву. Никогда ни слова не говорил он об этом.

А я не спрашивал. Точно так же не могу дать себе отчета и в том, при каких условиях и в силу каких обстоятельств он вышел из корпуса и поступил в Грозненское реальное училище.

Религиозный до фанатизма, он стыдился исполнять обряды, так как их пришлось бы исполнять на людях. Влюбленный в величественный образ Шамиля, он чувствовал неприязнь к русским и часто бывал недоволен тем, что между русскими и «кавказцами» не только не делали различия, но, наоборот, к нам проявлялись со стороны начальства заботливость, а со стороны местного общества – интерес.

Мне кажется, он был бы больше доволен, если бы к нему придирались или подчеркивали его нерусское происхождение.

Он хотел «доли лютого зверя и героя... так как она полна опасностей, требовала жертв, сил и борьбы»⁴.

* * *

Однажды по одному поручению старшего класса мне надо было переговорить с кадетами младшего класса, но не со всеми сразу, а по отделениям: сперва с одним, потом с другим.

Случилось так, что когда собралось первое отделение, то в зале находилось несколько человек из второго. В их числе – Аслан-Бек.

Я предложил им выйти, и все вышли – кроме него.

– Аслан-Бек, – сказал я, – подходя к нему. – Мне нужно переговорить только с первым отделением. Я должен тебя просить уйти.

– А я не желаю выходить, – ответил он.

Положение создалось неловкое: терять престиж старшего я не мог; ссориться не хотел. Что делать?

– Почему же ты не желаешь? – продолжал я.

– Потому что это помещение, как и все, казенное. И я имею право бывать, где хочу.

– Но ведь ты понимаешь, что я не могу сделать для тебя исключение: раз все вышли, и ты должен выйти. Тут речь не о праве...

Я убежден, что если бы кто-нибудь другой был на моем месте, кто-нибудь другой делал ему подобное предложение, то дело неминуемо кончилось бы скандалом, а быть может, даже и дракой.

Но существовавшие уже отношения, известная связь и близость, взаимно испытываемая, предотвратили столь возможное злополучие. Аслан-Бек ушел.

Но, уйдя, не вернулся, когда после переговоров с первым отделением я собрал второе (где он был).

Собрались все, кроме Ширипова, и... и я сделал уступку, как бы «не заметив» его отсутствия...

Впоследствии мы потолковали на эту тему, и Ширипов говорил, что я лишил его возможности выступить одному против всех.

– Да ведь в крайнем случае тебя бы избили, – заметил я.

– И я бы многих избил, – возразил он.

И я знаю, что Аслан-Бек говорит то, что переживает.

Он хотел быть «как затравленный волк... чтобы радостно-тревожно забилось его бурнопламенное сердце»*.

* * *

На следующий год я перешел в 6-й класс, а Ширипов в 5-й. Мы были в разных ротах (и помещениях), виделись гораздо реже. Но именно поэтому-то отношения стали устойчивее, глубже.

В библиотеке его роты произведений Достоевского не было. А я, перейдя в 6-й класс, первой же темой для реферата (по русскому языку) взял роман «Братья Карамазовы».

Ясное дело, что не только «Братья Карамазовы», но и почти все другие творения гениального писателя, чье сердце было наполнено духом пророческим, прочитывались и обсуждались нами обоими.

Он сам предложил мне кооперировать свои и мои усилия и вместе работать «Братья Карамазовы».

С тех пор прошло много лет, в течение которых я не раз возвращался к этому произведению, но неизменно и постоянно мои личные переживания как-то переплетаются с переживаниями Аслан-Бека, и я вспоминаю наши толки и споры по поводу того или иного героя, той или иной сцены.

Из нашей «кооперации» ничего не вышло. Нужно сознаться: оба мы не понимали тогда Достоевского. Но не понимали по-разному. Например, я считал, что старец Зосима – тип бытовой, хоть и устарелый. А Аслан-Бек утверждал, что он «выдуманный».

* Кавказский горец. № 1. С. 35.

– Таких людей нет, – говорил он.

К Алеше относился он с жалостным участием, и эта жалость была обидной. Порой он возмущал Аслан-Бека своей «уступчивостью».

Смердякова презирал откровенно, а о Дмитрие сожалел так: «Жаль, что он не убил эту дрянью», т. е. Федора Павл<овича> Карамазова.

Из женских образов самым для него привлекательным был образ мятущейся, своевольной и гордой Настасьи Филипповны («Идиот»).

Но, в общем, Достоевский удовлетворил его несполна. Аслан-Бек наслаждался мрачными взрывами, но требовал еще художественной скульптурности...

* * *

Я имел привычку сохранять всякие «живые документы», т. е. письма, записочки и т. п. За год Шириповских записок у меня накопилось десятка полтора. Некоторые из них содержали в себе стихотворение⁵. Иногда даже не одно.

Вот что с особенным старанием скрывал он от людей... Прослыть поэтом ему – силачу, чеченцу, суровому и недоступному – казалось самооскорблением. Но, видно, натура и ее порывы сильнее даже волевого глушения. И то сказать: что тяжелее – невыплаканные слезы муки или невылившийся восторг творчества?

А Ширипов иногда переполнялся творческим восторгом.

Основной мотив его произведений можно охарактеризовать в двух словах: скованный великан. Эта идея или лучше этот образ преследовал его, угнетал, вызывал гнев, но никогда жалость.

Вместе с орлом, презрительно глядящим на пищу, просовываемую сквозь прутья клетки и не принимающим ее, чтобы умереть с голоду; вместе с Прометеем, изнывающим в цепях... Аслан-Бек тосковал, метался и гневно кричал, суля грозу и смерть, посылая проклятия, но не мольбы.

Вспоминаю его посвящение Казбеку: застывший телом богатырь обладает гордым духом, страдает от сознания своего бессилия и льет слезы (реки), мечущиеся и все сметающие в своем ураганном беге...

Писал он слишком скульптурно, нагромождая образы, рассмотреть которые можно скорее издали, нежели вблизи. Писал он немного и из этого немногого лишь небольшую часть показывал мне.

С большой тревогой ожидал ответ единственного читателя и критика, т. е. мой ответ.

Прозой он почти не писал, а если писал, то только о горах, о клочущих реках, о живом лесе, а из людей выбирал только сильных, отважных и борющихся.

Повторяю (с его слов): кроме меня, читателей его произведений не было. Бывшие с нами в кадетском корпусе Мусса Дудоров (убит), Дудор Добриев (убит) ⁶ и др.<угие> горцы-мусульмане стояли к нему ближе по природе; но литературными вопросами они интересовались мало.

И в конце концов – ни они, ни я не состояли в подлинно дружеских отношениях с Шириповым. Больше всего – он был с самим собой.

* * *

О выходе Ширипова из корпуса я узнал только по возвращении с летних вакаций. Причины ухода объяснялись разное. Сам Аслан-Бек в скорости прислал мне письмо, в котором коротко сообщил: ушел потому, что не мог больше быть.

Переписка наша через непродолжительное время заглохла.

Но мы свиделись еще раз – в 1916 году. Увидел его я очень радостным, полным жизни, веры в себя и решимости.

– Чем ты занят, что делаешь? – спросил я его.

– Многим занят, многое делаю – свое и чужое!

Он смеялся, отшучивался, но, в чем заключалось его «дело», не сказал. О прошлом – почти не говорили. Посидели, поговорили и расстались – навсегда.

* * *

В начале своего очерка я обещал не касаться политических настроений и действий Ширипова. И не коснусь...

Но приведу материал, относящийся к его характеристике как политического деятеля, полученный мною (в 1921 и 1924 годах) от лиц, заслуживающих полного доверия.

В 1918 году наш (то есть Аслан-Бека и мой) однокашник застрял в городе Грозном. Вся власть перешла к Советам. Бежать он не успел. Как офицер, попал в тюрьму... – и в список подлежащих расстрелу.

В момент, когда он готовился к концу земного странствования, подъехал автомобиль. Вылезший оттуда Ширипов накинул на осужденного бурку, вывез его и, снабдив деньгами, отправил в безопасное место.

Другой аналогичный по своей бескорыстности и самоотверженности случай: некто М., бывший соученик Аслан-Бека, был приговорен к смертной казни.

Сестра приговоренного бросилась к чеченскому комиссару, прося спасти брата.

Он спас... Мне говорили, что он многих спасал... Многих, но не спас самого себя⁷.

Печать обреченности всегда лежала на нем. Он искал опасности, он играл неосторожно, находясь под давлением созданных еще в ранней юности грез о героических подвигах.

Аслан-Бек видел в своем народе и «великана в цепях», и друга. И он «звал, искал»⁸...

Но нашел ли?

29 ноября 1924 года.

Прага

Кто всех сильнее?

Балкарская сказка

Посвящаю Петру Николаевичу Савицкому¹
Автор

У истоков реки Баксан, там, где начинаются ледники, приютился горский аул. В крайней сакле аула жила семья, состоявшая из мужа, жены и еще неродившегося первенца.

В ту ночь, когда раздался первый крик младенца, мальчика, его отец погиб, раздавленный обвалом.

Мальчику дали имя Балкарук, в честь дальнего предка, прославившегося среди горцев необычайной силой.

Балкарук с детства отличался удивительным здоровьем и выносливостью. Мать кормила его утром, уходя на работу, и вечером, возвращаясь домой. Но дитя росло и укреплялось в силе, так что все соседи покачивали одобрительно головой, глядя на него.

Однажды, когда Балкаруку исполнилось семь лет, семь месяцев и семь дней, его мать доила корову. Сын стоял поблизости, отгоняя веткой мух, летевших к молоку. По хлеву бегал годовалый теленок, который беспрестанно лез к вымени, мешал доить.

Мать обратилась к Балкаруку, говоря:

– Сын мой, разве не замечаешь ты назойливости теленка? Отгони его.

Балкарук отогнал. Через мгновение мать опять сказала о теленке, и так до трех раз. Когда в третий раз теленок потянулся к вымени, истощилось терпение юного горца. Разгневался он, поднял теленка на руки и перекинул его за ограду двора.

Гордость наполнила сердце Балкарука:

– Вот, – сказал, – какая сила в руках моих. Кто сильнее меня? – Никто.

– Ошибаешься, – возразила горянка-мать, – есть много людей более сильных, нежели ты.

Не поверил ей молодой богатырь. Взял он посох, суму, наполненную кукурузным хлебом и сыром, и отправился искать сильных людей, чтобы помериться с ними своей силой.

Три дня шел он вниз по течению реки Баксан. На рассвете третьего дня встретил рыболова, сидевшего на камне у воды. В руках его, вместо удочки, была сосна. Приманкой служил теленок, такой же большой, как тот, которого перебросил юноша.

Заметив Балкарука, рыболов крикнул:

– Эй, мальчик! Пусть будут благословенны шаги твои. Ты приходишь как раз вовремя, чтобы помочь мне. Подержи удочку, пока я разведу костер.

Взял Балкарук сосну, едва удержал. Колени его дрожали от натуги, спина разламывалась на части. Все-таки не уронил удочку.

Поблагодарил его вернувшийся от костра рыболов, потом спросил:

– Куда и зачем идешь, гитче (мальш)?

– Иду искать сильных людей, – отвечал Балкарук, застыдившись. Не осмелился добавить о своем желании помериться силой с богатырями.

– Иди, иди! Ты идешь правильной дорогой, – одобрил рыболов, – там дальше удит мой средний брат, он сильнее меня.

Немного отдохнув, Балкарук двинулся дальше. Вот видит он: сидит на берегу горец. Спина у него, как гранитная скала. Руки толстые, как балки сакли, на которые опирается кровля. Вместо удочки держал он чинар, вместо приманки привязал большую корову. Остановился юноша в удивлении перед такой картиной. А богатырь зовет его:

– Подойди сюда поскорее! Подержи удочку, а я тем временем поймаю себе медведя на ужин.

Балкарук послушался, взял в руки чинар. Едва не свалился в реку, но и это испытание выдержал до конца. Богатырь узнал о цели его путешествия и сказал ему:

– Еще дальше ты найдешь моего старшего брата. Вот он, действительно, сильный горец. Снеси ему поклон от меня.

Через короткое время увидел Балкарук старшего из братьев, великана, большого, как гора. Он имел в руке столетний дуб и ловил рыбу, приманивая ее буйволом.

Старший брат крикнул голосом, похожим на громовой раскат:

– Эй, юноша! Как видно, Аллах услышал мою молитву, посылая тебя сюда. Полови за меня рыбу, а я отойду на мгновение, чтобы переменить чувяки, вымокшие в воде.

С величайшим трудом держал Балкарук богатырскую удочку. В глазах у него возникла ночь с мерцающими звездами, он ожидал, что вот вот оторвутся его руки и упадут в Баксан. Однако и здесь он оказался достойным имени своего предка.

Переобувшись, рыболов спросил его, куда он идет, и, получив ответ, посоветовал:

– Тебе нечего долго искать. Вон там, за лесом, живет наша мать, нана. Она всех сильнее.

Направился Балкарук к нане, приветствовал ее по обычаю, потом рассказал ей о своих приключениях. Засмеялась горянка-великанша, подняла его мизинцем с земли и сказала:

– Да, еще вчера я думала, что сильнее меня никого нет. Но сегодня, когда выгоняла стадо, я заметила пещеру. В ней поселился богатырь, на которого я и взглянуть не посмею. Пойди к нему.

И показала юноше дорогу.

Шел Балкарук, шел и нашел пещеру, находившуюся над слиянием рек Баксана и Малки. День был жаркий. Он наклонился к источнику, чтобы напиться, вдруг на него упала тень. Он оглянулся и увидел: шагает по горам и долам чудище, папашой облака задевает, ногами скалы разбрасывает. В руке его был конец толстой цепи, он тащил за собой сто одну арбу, нагруженную припасами. Великан шел без дороги, прямо в гору, и еще посвистывал. От его свиста ветер поднялся, деревья к земле пригнулись.

Присмотрелся Балкарук к невиданному богатырю, ужаснулся: была у него лишь половина тела – половина головы, половина туловища, одна рука и одна нога. А вдоль разреза шел плетень, замазанный глиной.

Великан приблизился к пещере, отвалил от нее камень ударом ноги, втащил во внутрь арбы и стал есть.

Балкарук подождал, пока великан насытился, потом подошел к нему, говоря:

– Привет тебе, Раздвоенный! Меня прислала мать рыболовов-богатырей, чтобы я преклонился перед твоей мощью.

Горько усмехнулся Раздвоенный:

– Надеюсь, – сказал, – не для оскорблений прислала тебя нана, мать рыболовов. Взгляни, мое тело рассечено тем, рядом с которым мы все

кажемся муравьями. Если хочешь склонить свою голову перед настоящим богатырем, побереги поклон свой, о юноша! Сойди в равнину, там пасет табуны Ногай-богатырь. Этот Ногай победил меня, а потом из жалости скрепил мое тело плетнем, вымазанным глиной.

«Ну, – подумал юноша, – кажется, приходит конец моим поискам. Невозможно, чтобы нашелся кто-нибудь сильнее Ногай-богатыря! Ведь недаром сказал Раздвоенный: мы все кажемся рядом с ним муравьями!»

Отдохнул Балкарук в пещере, подкрепился пищей, предложенной Раздвоенным, и сошел вниз, в равнины. Там протекала река Терек, разрывающая берега, покрытые высокими курганами.

Шел он долго, потерял счет дням. Наконец, повстречался с табунами, которые охранялись маленьким всадником с косыми глазами. Спросил его Балкарук:

– Послушай, косоглазый! Не знаешь ли, как найти Ногай-богатыря, победившего Раздвоенного?

Всадник подъехал к молодому горцу, засмеялся, показал свои белые зубы, скрытые редкой черной бородой:

– Зачем искать Ногай, когда Ногай стоит перед тобой? Вот этими руками я сразил того, о котором говорит язык твой.

Совсем изумился юноша. Широко раскрыл глаза. А Ногай говорит:

– Как видно, удивляешься ты, пришелец. Но так уж всегда было и будет: против самого сильного может выступить еще более сильный и победить его.

– Нет, нет, – воскликнул Балкарук, – уж если ты одолел Раздвоенного, то нет никого сильнее тебя. Прими мой поклон, богатырь Ногай!

Еще ярче засияли косые глаза Ногай:

– Ошибаешься, мальчик, – сказал он, – и я кое-кого боюсь. Из дальних степей приезжает сюда иногда Степной Наездник, чтобы угнать мои табуны. Я боюсь его...

Задумался юноша. Показалось ему, что нет конца-краю его поискам. Поколебалась душа его. Но он овладел собою и пошел в дальние степи, чтобы повидать Степного Наездника.

Путь его лежал через безводную пустыню, покрытую кое-где солончаками. Шел он двенадцать дней и двенадцать ночей. На рассвете двенадцатого дня заметил пестрый шатер, расположенный на берегу высохшей реки.

Около шатра сидел Степной Наездник над трупом своего сына и рыдал, и ручьи слез его наполняли русло реки.

Приблизился к нему Балкарук, поклонился достойно и объяснил, откуда и зачем пришел, чтобы потревожить его. Степной Наездник молча выслушал повесть Балкарука, потом вытер глаза и сказал:

– О юноша! О неразумный Балкарук из горных ущелий, лежащих на границах ледников! Неужели никто не открыл тебе, что над всеми властвует Закон Судьбы? Ты говоришь: Ногай победил Раздвоенного, а Степной Наездник победил Ногаю. Я же отвечаю тебе: все это наваждение и суета! Взгляни, пришла минута моя, и я, побежденный Судьбою, сижу над трупом сына, рыдая...

Низко поклонился Балкарук Степному Наезднику и тронулся в обратный путь, умудренный всем виденным и слышанным. И с той поры он уже искал не силу, но мудрость, чтобы познать Закон Судьбы.

Вказание об Амиране

I. Охотник

Смелый охотник жил в лесу, вершина которого достигала неба. Была у него жена, хлопотливая, молодая, и два сына, подростки. Сыновья росли крепкими, как сучья дуба, резвыми, как молодые пташки.

С рассветом вышел охотник на охоту. Видит: лежит при дороге орлиное гнездо. Наклонился над ним – видит: лежат в гнезде два вороных яйца. Удивился лесной житель – никогда ни о чем подобном не слышал.

Взял яйца. И только их взял, вылупились из них две собаки: белая и черная. Пожал плечами, ничего не сказал, пошел. Собаки последовали за ним.

Сначала шел он впереди, потом собаки побежали вперед. Охотник думал: «Приведут меня к дичи». Так шли полдня, и замечает охотник, что очутился в незнакомом краю. Великая тишина царствовала вокруг. Лес поредел, открылись высокие скалы, утесы.

Послышался охотнику отдаленный вопль, будто шакал воет или ребенок плачет. Прислушался. И собаки уши подняли. Стоны неслись от скал. Быстрым шагом двинулся навстречу звукам. Подошел совсем близко: перед ним высится неприступный гранитный кряж, на вершине которого виднелась башня. Из башни раздавались стенания и плач.

II. Дали

«Кто бы ни был страдающий, – сказал про себя охотник, – я должен ему помочь».

Полез вверх, карабкаясь, падая и снова поднимаясь. Вот, взобрался он на вершину, нашел вход в башню.

В башне, на каменном полу, лежала охапка соломы, а на соломе лежала женщина удивительной красоты, с золотыми кудрями. Она мучилась родами, это ее вопли слышал охотник.

Увидев пришедшего, женщина улыбнулась ему. Потом сказала:

– Сядь, послушай мою повесть.

Охотник сел, псы расположились направо и налево от него.

– Мое имя Дали, – начала женщина, – я единственная дочь царя [из рода] Дареджанов. У меня был жених, солнцеокий юноша. Шлем его украшал полумесяц, ноги осыпали звезды. Враги отца моего желали лишить его потомства, они похитили меня и отдали птице Анкаа, принесшей меня сюда. Мой жених повсюду искал меня, а я сидела у окна башни, пела песни и вила из волос веревку, чтобы помочь милому подняться на недоступный утес. Возлюбленный услышал мой голос, нашел место моего заключения. Он нашел способ подняться в башню: завернулся в баранью шкуру, птица Анкаа подняла его и оставила здесь. О, как сладостна была наша встреча. О, как радостно было любить возлюбленного моего. Три дня и три ночи, притаившись в башне, мы любили друг друга. Потом поднялась буря. Прилетела птица Анкаа. Увидела возлюбленного моего, заклевала его и выбросила тело юноши на скалы. Я же осталась здесь, печальная и счастливая, в ожидании рождения дитяти, которое принесет мне смерть.

III. Рождение Амирана

– Возьми свой острый нож, охотник, – продолжала златокудрая Дали, – и разрежь мое чрево, и извлеки из него младенца. Если рожденное мною будет подобно мне, сбрось его со скалы; если – о чем молю Создателя – рожденное мною будет мужского рода, то поступи так: возьми его и спеленай косами моими золотыми. И отнеси к потоку Яман, протекающему через лес. Найди перекресток трех дорог, сходящихся у потока, и положи там младенца под охраной псов. Первый путник, пришедший туда, будет крестным отцом сына моего, он наречет ему имя. Теперь не медли, охотник, я чувствую: приходит час мой.

Охотник сделал так, как велела царская дочь, златокудрая Дали. Взял острый нож, рассек чрево ее, извлек младенца, сына. Дали умерла, славя Бога, сохранившего род Дареджанов.

IV. Крестины Амирана

Отрезал охотник золотые косы царевны, обвил ими младенца. Осторожно поднял его и понес к ручью, протекающему через лес. Вот увидел он перекресток трех дорог, сходящихся у ручья. На перекрестке стояла колыбель из чистого золота, круглая, подобная царской короне, с двенадцатью зубцами. Положил он младенца в колыбель, приставил к нему псов для охраны и скрылся в зарослях.

По прошествии некоторого времени услышал охотник чью-то легкую поступь, услышал чью-то неторопливую речь.

Три путника подошли к колыбели, остановились около нее, тихо беседуя. В середине стоял Христос-Бог, по правую сторону – архангел Гавриил, по левую – святой Георгий Победоносец, покровитель Страны Сакартвело, что значит Грузия. Христос сказал, простирая руку:

– Вот наш крестный сын, имя ему Амиран.

И благословил младенца.

– Аминь, аминь, аминь, – трижды повторили святые. И все удалились.

Тогда вышел охотник из зарослей, поклонился младенцу до земли, облобызал следы ног Христовых в траве. Взял колыбель с Амираном и отнес к своему дому, удивляясь в душе всему, что видели глаза его за этот день.

V. Амиран растет

Амиран рос от часа к часу, ото дня ко дню. Жена охотника заменяла ему мать и кормилицу. Однажды пошла она за водой к источнику. Взяла с собой Амирана, которому не исполнилось еще года. Уложила ребенка в тени, под ветвистым платаном, кувшин подставила под падающую струю, сама же разговорилась с соседками. Было тут много людей, пришедших за водой.

К спящему Амирану подошли чужие, смотрели на него, говоря вслух:

– Посмотрите, какие длинные руки и ноги у этого дитяти. Посмотрите, какая большая голова у него. Несчастлива мать, родившая тебя, о Амиран!

Проснулся младенец, увидел над собой насмешливые лица, пришел в гнев. Схватил он чужие кувшины, полные и пустые, разбил их и

разметал черепки. Некоторые черепки упали на лугу, иные же отлетели далеко, к лесу. Испугались люди, ужаснулись гневу младенца.

Юношей Амиран забавлялся на мельнице. Придет, сорвет жернов с оси, подбросит его так высоко, что пробьет потолок и крышу. А потом выбежит на двор и успеет подхватить падающий жернов на лету. Уже тогда никто не осмеливался раздражать растущего богатыря Амирана.

С ним вместе росли названные братья его, Усуп и Бадри. Усуп носил железную шапку, крепко сжимавшую его череп. Носил он ее, чтобы не разлетелась его голова от крика. Когда кричал Усуп, напрягая грудь, дэвы падали на землю от страха, как желуди. Бадри был строен, красив, как девушка. Он был подобен хрустальной башне, освещенной утренними лучами.

Амиран был похож на черные тучи, дыхание которых – вихрь, очи которых – молния, голос которых – гром, сила которых – ураган, сметающий все на пути своем, от давления неимоверной силы героя под шагами его содрогалась земля. В могучих руках его рассыпались в прах камни, и потому друзья и враги его прозвали Амирана князем скал.

VI. История богатыря Цамцуны

Амиран, Усуп и Бадри отправились однажды на охоту. Перешли девять гор. Около десятой горы Алгети увидели они оленя с ветвистыми рогами. Амиран пустил стрелу, ранил оленя. Братья поспешили за ним в погоню.

Олень помчался сквозь чащу, из раны его сочилась кровь. Братья преследовали его семь дней и семь ночей, идя по кровавым следам.

Олень привел их к высокой башне из хрусталя и исчез.

Башня была отовсюду замкнутой. Братья обошли ее вокруг, ища вход, и не нашли его. Тогда ударил Амиран башню ногой, выломал хрустальную глыбу. Сквозь брешь вступили они вовнутрь и увидели там усопшего богатыря, Цамцуна имя ему.

У ног Цамцуны-богатыря стоял конь поседланый, со щитом, висевшим на передней луке. По правую его руку лежала шашка, по левую стояло копье. В углу башни виднелась груда алмазов, золота и других драгоценностей, блиставшая нестерпимо. На земле сидела мать Цамцуны, а над его головой склонилась, рыдая, супруга, с лицом, сияющим, как вечерняя звезда над небосклоном. Супруга рыдала, и ручей слез ее, вытекающая из башни, достигал моря.

В правой руке богатыря, лежавшей на груди, было письмо. Братья прочли:

«Я, Цамцуна, славный воитель и богатырь, наследник славы отцов и дедов, не знавших поражений. Пока был жив, я побивал всех врагов своих, но потом пал я в нечестном бою от руки Неуклюжего дэва, Бакбак имя его. Тому, кто одолеет Бакбака, завещаю свое копье. Кто поведает миру, что смерть моя отомщена, дарю шашку. Кто сохранит память обо мне навеки – отдаю золото и драгоценности. А тому, кто позаботится о тризне по мне, завещаю коня и жену».

Братья похоронили героя, поклялись над его курганом исполнить его последнюю волю. Сели на коней и отправились, не мешкая, на поиски Неуклюжего дэва Бакбака.

VII. Борьба с дэви Бакбаком

Пересекли они пустыню, выжженную солнцем, поднялись к необитаемой горной местности, переехали семь рек. Вдруг повеяло на них жарким дыханием, клубы дыма и серы окутали их. Вот увидели они трехглавого Бакбака, идущего на них. Конь Амирана присел в страхе на задние ноги. Кони Усупа и Бадри упали на колени. Амиран спросил спокойно:

– Куда ты идешь, дэви?

– Иду пожрать Цамцуну, богатыря, убитого мною.

– Кто же позволит тебе, смрачному псу, пожрать славное тело Цамцуново?

– Как кто? – заревел дэви. – Кто может помешать мне?

Неуклюжий Бакбак вдруг кинулся под ноги Амиранова коня, поднял коня и богатыря и бросил их на скалы. Амиран, падая, успел выхватить меч и опустил его на согнутую спину дэви. Меч разлетелся в куски. Конь Амирана упал на брюхо, богатырь встал на ноги, готовый к битве. Схватился он с трехглавым врукопашную, загорелся великий бой. От столкновения могучих тел гигантов горы стонали, повторяя эхо ударов. Дважды Амиран лежал на земле, дважды Бакбак. Упав, Неуклюжий дэви грозно рычал и поднимался с земли с новой свирепой силой. Заметил это Амиран, изловчился, обнял дэви вокруг пояса, поднял его и со всего размаха ударил им о гранитный утес, как дубиной. Треснул гранитный утес, и грудь Бакбакова разломилась, плечо с рукой остались лежать на земле. Взмолился тогда побежденный дэви:

– Не убивай меня, о Амиран! Пощади, и я скажу тебе, как разыскать околдованную девицу Камари, солнцеобразную, живущую за морями.

Великодушный герой хотел простить Бакбака. Усуп и Бадри напомнили ему завет убитого богатыря Цамцуны:

– Отсеки ему головы, – сказали братья.

Взял Амиран Усупов меч, взмахнул раз, взмахнул второй – далеко отлетели две головы Бакбака. Со свистом поднялся меч в третий раз, но успел дэви закричать пронзительно:

– Из моей головы выползут три детеныша. Хоть их пощади ты, Амиран из рода Дареджанов!

Упала и третья голова. Из нее выползли три гада: белый, красный и черный. Шипя, поползли они прочь от места битвы. Опять советовали братья погубить нечистое племя, но не послушался их великий победитель. Напоминание о Дареджанах тронуло его. И так, позвал он Усупа и Бадри разделить его новый подвиг – отправиться на поиски очарованной девицы Камари.

VIII. Борьба с Черным Драконом

Путь богатырей пролегал через безводную пустыню. Нигде не видно было ни здания, ни деревца; колючие кустарники и голые камни – жилища змей – окружали их. Лишь местами вздымались остроконечные холмы с крутыми склонами. Братья оглядывались по сторонам, как бы вопрошая один другого: правильно ли едут они. Сомнение овладело Усупом. Бадри беспрестанно прикладывал ладонь к глазам, всматриваясь в бесконечную даль. Все молчали.

Вдруг на горизонте возникло серое облако. Оно приближалось с ужасной быстротой, было грозным, как туча. Не успели братья приготовиться к опасности, как их уже окружили гады, выползшие из Бакбаковой головы. Но это уже не были гады: они превратились в гигантских драконов. Белый, красный и черный драконы угрожающе надвинулись на них.

Амиран без размышлений вступил в бой с чудовищами. В мгновение ока он разрубил на части и разметал белого; кинулся коршуном на красного и умертвил его – только алая река крови и груды окровавленного мяса остались от него. В бою меч Амирана и шлем блистали лучами полуденного солнца.

Но Черный Дракон тихо надвинулся на Амирана сзади и проглотил его, живого, одолел непобедимого. Бесшумно поползло чудовище дальше, ускоряя свой мрачный ход.

Объятые ужасом братья скрылись от драконов на высокой горе. Они окаменели, увидев гибель героя, слава которого сияла вселенной. Исчезновение Амирана пристыдило их. Они поспешили в долину, желая преследовать чудовище.

Усуп натянул тетиву, прицелился усердно. Пустил остроконечную стрелу, она впилась в чудовище с такой силой, что отвалился хвост у него. Но Черный Дракон продолжал медленно ползти дальше, содрогаясь.

Амиран изнутри рвал и терзал поглотившего его Дракона, грыз его сердце. Черный Дракон выл и корчился от боли, извергал клубы мрака, неуклонно поспешая вперед. Он полз к Великому Столбу, обвинившись вокруг которого, он умерщвлял свои жертвы.

Тогда Бадри обратился к Усупу со словами:

– Надень свою железную шапку покрепче. Закричи ему, как спастись.

Усуп надвинул железную шапку на самые брови, закричал, напрягая грудь:

– О Амиран, пресветлый, непобедимый! Вспомни о своем ноже, который носишь ты на поясе! Распори брюхо дракону и выйди огненным лучом из чрева его. Озари нас, Амиран, ибо мы мертвы от страха за тебя!

Услышал герой вопль Усупов, опомнился. Собрал силы и пронзил бок Черного Дракона. Вот выглянули пресветлые руки его, вот и весь он вышел из мрачного чрева дракона таким же сильным, блистательным, каким был. Лишь усы и бороду оставил он во тьме драконова тела.

Усуп рассмеялся от радости. Не зная, что сказать, произнес:

– Ты теперь истинно младший из нас, ты – безбородый.

Амиран разгневался на шутку брата. Но Бадри помирил их, сказав:

– Нехорошо тебе, Амиран, сердиться на брата. Но еще хуже поступаешь ты, Усуп, смеясь над несчастьем Амирана. Впрочем, идемте к Игри; он окунет нашего безбородого в источник, и тогда снова вырастут усы и борода, какие хочешь.

Братья повернули коней в ту сторону, где жил Игри. И вот, красота мужественной силы вернулась на лицо Амирана.

IX. Красавица Камари

Тогда сказал непобедимый: «Пойдем искать девицу Камари, красавицу, прекрасную, солнцеобразную».

Ехали беспрерывно, к рассвету дня приехали к берегу моря. Здесь пересел Амиран на белого коня с золотой гривой и переплыл море. Братьев просил терпеливо ожидать его.

За морем высилась башня неслыханной красы, невиданной высоты. В ней обитала солнцеобразная девица Камари, царская дочь. Герой оставил коня внизу, поднялся по ступеням. Вот встретились лучи их глаз, девица не выдержала блистания Амиранова лица, потупила очи.

Прекрасная потупила очи, в замешательстве стала переставлять прозрачные чаши, тонкогорлые кувшины. Ее девичьи руки, лилии белые, беспомощны были.

Амиран говорил несвязные речи, любовь разрасталась, как заря, в груди его, бушевала в богатыре, как весенняя буря. Когда дважды и трижды переставила смутившаяся Камари прозрачную чашу, наступил предел терпению Амирана. Взял чашу и бросил, разлетелась чаша в куски – шум и звон наполнили башню, разнеслись далеко вокруг. Слуги, сторожа, хранители башни побежали донести царю о дерзком поступке.

Тогда Амиран пригласил девицу сесть на коня. Помчались они, за ними отправилось в погоню великое войско. Преследователи имели свежих коней. Белый конь Амиранов был утомлен. Все короче делалось расстояние между беглецами и погоней.

Богатыри Усуп и Бадри выбежали навстречу. Первым бросился в сечу Усуп. Кричал он, летал от крыла к крылу, разметая вражеское войско. Убил всех богатырей и половину войска и сам пал, простреленный множеством стрел. Тогда кинулся на врагов Бадри, юный, стройный, как девушка, подобный хрустальной башне, освещенной утренними лучами. И Бадри склонился к земле, как склоняется цветок, ушибленный камнем.

Амиран, громopodobный, молниеносный, начал битву. Всех побил и встретил царя, отца девицы Камари. Долго бились они, грозная схватка была. Победил герой Амиран.

День кончался. Багровый отсвет тянулся вдоль горизонта полосой крови. Грустно возвращался Амиран через поле битвы. Те, кто жили, блистая доспехами, волновались, ожидая победу, пели о славе и сча-

стье, – лежали в молчании мертвом. Смертельная тоска овладела героем. Тщета мира придавила его.

Наклонился он к трупам братьев, Усупа и Бадри, сказал:

– Все напрасно, о братья. Усуп, ты кричал, напрягая грудь, и дэвы падали от крика твоего – не закричишь более. Бадри, ты гордился станом своим, красивым, девичьим, – не будешь городиться. Всему конец.

Великая скорбь покорила его. Перестал желать жить. Силы его иссякли. Амиран двигался медленнее, склоняясь к земле горбатой спиной. Доспехи его, покрытые багряной кровью, почернели. Лицо блистательное погасло. Амиран споткнулся, упал грудью на меч, торчавший из земли. И умер.

Х. Воскрешение Амирана

Несчастливая Камари видела гибель героя. Поспешила к нему, преклонила колени, упала на бездыханное, недвижимое тело, проливая слезы.

Поле битвы вокруг них, и незримое небо над ними, и весь мир захитли в безмолвии ожидания. Пустынно, мрачно было вокруг. Мир вымер.

Из темной норы выбежал серый мышонок. Подобрался к телу богатыря, облизал кровь, застывшую на сухой земле. Оскорбилась в горе своем девица Камари. Сняла сандалию, бросила в мышку, убила серого зверька. Некоторое время спустя вышла из норы мыш-мать. Нашла свое дитя убитым, сказала красавице плачущей:

– Плачь, плачь, несчастная. Из-за тебя погибли герои. Из-за тебя умерли отец-царь и пресветлый герой Амиран. Ты сидишь сложа руки, льешь слезы. Это ли называешь ты любовью к ним? – Гляди, свое порождение верну я к жизни. Ты же, убийца дитяти, горюй и плачь.

Мышь-мать обежала вокруг трупа детеныша, поискала недолго, нашла травку. Приложила стебель травы к голове и ранам мышонка – и воскрес он.

Изумленная Камари, дочь царя, следила за мышью-матерью, не переводя дыхания. Вот скрылись мышки в норе. Прекрасная девица нагнулась, подняла травку. Обошла с ней вокруг тела возлюбленного, испытывая дрожь восторга в груди. Приложила стебель к голове и ранам возлюбленного – и свершилось чудо: воскрес Амиран, восстал он с ложа смерти.

XI. Амиран и Амбри-богатырь

Всех победил Амиран; думал он: нет никого сильнее, славнее его. Спрашивал встречных:

– Эй, не слышал ли ты о героях, о богатырях? Кого еще не победил я, непобедимый?

Жажда подвигов, славы, возвеличения имени своего овладела им. Встретился ему странник из отдаленных земель. Рассказал о царстве, где живет никем не побежденный богатырь, Амбри – имя его. Убивает Амбри-богатырь львов, как кошек. Одной рукой звезды достает, другой земную утробу ворочает.

Воспламенилось Амираново сердце, неукротимо-гневное. Домой не заехал, погнал коня в страну, где жил Амбри.

Увидели его Христос-Бог, крестный отец Амирана, и спутники Христа, бывшие при крещении младенца Амирана: Гавриил и Георгий.

Сказал Георгий:

– Если Амбри одолеет Амирана, не будет ли это оскорбительным для Христа-Бога, крестившего героя?

Возразил Гавриил:

– Если Амиран одолеет Амбри, гордость его возрастет, станет неслыханной. Амиран возомнит себя богоравным, он Бога вызовет на поединок, неукротимый!

Христос выслушал, сказал, улыбаясь тихо:

– Пришла пора призвать слугу нашего Амбри-богатыря в небесные чертоги. Смерть Амбри избавит Амирана от позора поражения, предостережет путь гордости его.

И произошло по слову Христа.

Амиран встретил при въезде в аул, где обитал Амбри-богатырь, печальное шествие. На огромной арбе везли тело Амбри-богатыря, двенадцать пар быков едва тащили арбу. Рука Амбри-богатыря не поместилась на арбе, упала на землю, волочилась, проводя глубокую борозду. За телом богатыря ехала его мать, с плетью в руке. Увидела Амирана, сказала:

– Не ты ли зовешься Амираном? Не о тебе ли прошел слух, будто хочешь помериться силами с моим сыном?

Подтвердил слух Амиран, говоря:

– Да, печальная вдова, да, скорбная мать, это я.

Тогда сказала ему:

– Видишь, волочится рука сына по земле. Непристойно это, подыми.

Наклонился Амиран с седла, хотел поднять: не поднял. С коня сошел, схватился за руку Амбри-богатыря, тянул ее, земля вогнулась под Амираном: не поднял. Тогда мать Амбри-богатыря подняла упавшую руку сына, не сходя с седла, плетью. Сказала при этом:

– Ты, слабосильный, хвастался силой своею. Не наказываю твою дерзость лишь из уважения к памяти матери твоей, имя которой Дали. Иди.

Огорчился Амиран, женщина пристыдила его. Возроптал он, прося у Бога прибавить ему силы. Бог внял просьбе нареченного сына любимого. Наградил его силой трех разбушевавшихся потоков, трех горных обвалов и девяти буйволов.

Прибавка силы не успокоила героя. Горечь стыда жгла сердце его, гневом отвечало сердце богатыря. Шел он, словно в безумии. Рвал с корнем столетние деревья, опрокидывал храмы, разрушал высокие башни из камня.

Шел ураганом по земле, глядя на небо с вызовом. Сердило его, что не может сорвать с неба звезд – светильников Божиих, разметать созвездий – престолов всемирного храма Господня.

XII. Единоборство с Богом

Встретил Амиран Христа, не преклонился пред Ним, дерзко вызвал Его:

– Померяемся силами!

– Остановись, человек, не тебя ли крестил Я в люльке у трех дорог, сходящихся к потоку Яману? Не наградил ли тебя Я многими дарами; чего хочешь от Меня, Амиран из рода Дареджанов?

Амиран утопил свой разум в море гордости:

– Вызываю Тебя на бой, – повторил.

И принял Бог вызов человека.

– Вот, – сказал Христос, – мой посох. Вот, Я вонзил его в землю. Попробуй вырви его.

Усмехаясь, взялся Амиран за посох, рванул его – посох не двинулся. Чем сильнее тряс его, тем глубже уходил в землю посох. Ибо, по слову Христа, посох пустил корни, обняв ими Вселенную; вершина его ушла ввысь, упершись в сердцевину неба неподвижную.

– Что же ты, гордец, где твоя сила? – спросил Бог. И разгневался на Амирана, прокляв его. Приковал его к посоху-древу, сдвинул над скованным вершины гор Мкинвари¹ и Гергеты, дабы навсегда лишит его радости видеть небо и землю в свете, дабы вечная тьма стала уделом крестника Божия, восставшего на Него.

Определил Бог, чтобы ворон ежедневно приносил Амирану хлеб и чашу вина. Приставил к Амирану двух псов: белого и черного. Псы, чередуясь, лижут цепи, желая освободить господина своего. Цепь истончается, и тогда, в предчувствии освобождения, приподнимается Амиран и окрыляется душа его надеждой.

К утру Страстного четверга цепи так тонки, что готовы распасться. Загораются взоры скованного, глядит он без усталости на чередующихся псов. И в это мгновение все кузнецы Грузии идут к наковальням и ударяют по ним трижды тяжелыми молотами. Они произносят при этом слова молитвы смирения пред Господом и осуждения дерзости Амирана.

Снова крепнут тогда Амирановы цепи, снова прикован он на целый год к Мировому Столбу. Звук молотов грузинских кузнецов приводит скованного в уныние. Он проклинает весь род кузнецов, грозит истребить его, когда упадут его цепи, но не падают цепи.

И так, от года к году, мучается скованный Амиран, переходя от отчаяния к надежде. Верные псы, белый и черный, бродят вокруг него, лижут цепи.

Предназначено Амирану мучиться скованным до последнего Судного Дня.

Орлиная скала

Вблизи Казбека, над ущельем, в глубине которого рождается Терек, возносится к небу огромная неприступная скала.

Раз в сто лет на голую вершину этой скалы слетались со всего Кавказа орлы, чтобы выбрать себе нового царя. Этим днем начиналось у них новое столетие.

Каждый из орлов приносил с собою добычу, такую крупную, какую ему позволяли силы. Иной приносил козу, иной зайца, иной молодого тура.

Собрались орлы. Прилетел и старый царь, его встретили восторженные клики подданных. Старый властелин сел поодаль, а против него полукругом расположились остальные. Все они ожидали восхода солнца.

Прозрачные тучки, встревоженные утренним ветром, всколыхнулись и тихо поплыли, красивые, как корабли. Одно золотое облачко остановилось над гордой головой царя, венчая его короной.

Царь был угрюм и печален. Сегодня он разлучался не только с царским правлением, сегодня ему предстояло проститься с жизнью – таков орлиный закон.

Скорбный, он вел прощальную беседу со своим орлиным народом, желая ему счастливо избрать нового царя; желая всем удачи в охоте и войне с чужими; мира и согласия со своими.

Окончив беседу, царь приступил к предсмертному обряду. Воссел на трон, расправил крылья, обратил неподвижные взоры навстречу лучам солнца – последнего солнца в его жизни.

Орлы подходили поочередно к подножию трона, смиренно склоняли перед царем свои могучие головы. Прошли орлы дагестанские, грузинские, черкесские, кабардинские. За ними следовали орлы Армении, Осетии и Чечни. Последними поклонились орлы Балкарии, Карачая и иных стран великого Кавказа.

Когда прошли все, царь трижды глубоко поклонился своим подданным, тяжело взмахнул крыльями, воспарил над тронном. Кружась над ущельем, над Орлиной скалой, над белоснежным шлемом Казбека, он поднимался все выше и выше – к небу, к восходящему солнцу; и за ним поднимались другие орлы.

Они образовали исполинский конус, вершиной которого был царь, уходящий из мира.

Страшная минута приблизилась.

Покорный древнему обычаю, он простер крылья навстречу смерти. Вот он замер над острой скалой, над своим столетним тронном. Он вдруг сложил крылья и, как молния, ринулся грудью на скалу.

Дикий орлиный клекот разбудил горы. Черной зловещей тучей орлы снизились к скале. Там, над пропастью, лежали перья, покрытые кровью; и солнце отражалось в каплях кровавой росы.

Избранию нового царя предшествовал осмотр принесенной добычи. Серны, джейраны, туры, газели, козы составляли пестрое, как бы живое кольцо. В середине его не лежало, но стояло никогда не виданное здесь существо: маленький горец в серой черкеске с ручками, сжатыми в кулаки. Дитя храбро размахивало ручонками, отбиваясь от любопытных птиц, слишком близко подходивших к нему.

Зашумели, заклекотали орлы. Как поступить, чтобы поступить справедливо? Если судить по силе, употребленной на захват добычи, царем следует избрать того, кто поднял на Орлиную скалу газель.

Но с тех пор, как стоит мир, человек был и есть царем над всей природой. Не имеет значения, что плененному дитяти пять или шесть лет, – ведь говорят старики: «Порождением льва будет всегда лев...»

– Несправедливо предпочитать большую газель маленькому человеку! – крикнул седовласый орел, руководивший собранием. Все подхватили его крик. И молодой отважный орел, победивший человека, был посажен на царский трон.

Тотчас после избрания начался шумный пир. Был он таким же веселым, как всегда. Только временами умолкали голоса – когда очи орлов встречались с властным человеческим взором.

– Царственные братья! – заявил орел, принесший газель. В сердце его жил пламень боли, он хотел выместить свой гнев. – Царственные братья! Не наскучило ли вам присутствие бескрылого среди крылатых?! Не хотите ли позабавиться зрелищем полета этой личинки с Орлиной скалы?

– Да, да, хотим! – поддержали его те из орлов, которые были суровее других. Но едва сделали они движение к ребенку, раздался грозный окрик молодого царя.

– Нет! – сказал он, и все замолчали, глядя на него. – Нет, недостойно обгагрять кровью первый день нашего правления. Мы желаем вернуть мальчика в его аул невредимым.

Не успел он договорить последних слов, как поднялось смятение среди орлов, сидевших у края скалы. Все бросились туда на помощь, и впереди других встретил опасность орел-царь.

Снизу, преодолев все пропасти и крутизны, поднимался неустрашимый охотник, отец похищенного ребенка. Он увидел сына и крикнул ему:

– Эй, джигит! Не бойся ничего! Это я!

– Спроси крылатых, – горделиво ответил малютка, – боялся ли я их?

Орлиный царь вступил в единоборство с горцем и провалился в бездну, сраженный меткой стрелой.

В один день, в один путь солнечной колесницы потеряли орлы двух властелинов. Скорбь овладела их сердцами, и они навсегда расстались с Орлиной скалой, свидетельницей их несчастий.

С той поры, говорят старики, живущие под Казбеком, каждый из орлов считает себя царем над царством остальных крылатых.

Вудьба

Мотив взят из грузинских народных сказок

Царевич, прекрасный и юный, с лицом светлым, как у молодого месяца, был на охоте и заблудился. Наступил вечер. Царевич взглянул на звезды, желая определить место, где он находился. Густой туман поднялся за вершины деревьев, скрыл небо. Тогда он попробовал развести костер и тем привлечь к себе внимание друзей и слуг. Но вокруг простиралось болото: огонь не занимался.

Всю ночь пробродил царевич, изнемогая от тоски одиночества, тумана и голода. Минутами хотел он избавиться от мучений, уже протягивал было руку к пистолету, однако неведомая ему сила удерживала его.

Утреннее солнце рассеяло туман. Царевич увидел, что стоит на краю обширной поляны. Через поляну протекал ручей с чистой прозрачной водой. На берегу ручья, на зеленом холме, стояла деревянная хижина, с крестом над входом. С ветки чинара, который рос около хижины, свешивался колокол. Царевич понял, что набрел на келью монаха, оставившего мир ради спасения души.

Царственный юноша быстро перебежал поляну, поднялся к хижине, постучал в дверь. Каждый его шаг был радостью, каждый удар в дверь – ликующей песнью.

За дверь никто не отозвался.

Дурное предчувствие возникло в душе его: «Не убит ли святой муж?..» Обошел домик, заглянул в окно. Увидел ветхого денем старца, в черной рясе, склоненного над книгой. Седые потоки волос спадали на плечи, сливались с густой, белой, клинообразной бородой. Старец читал книгу, по временам вздыхал, записывал в нее что-то и снова читал, не обращая никакого внимания на присутствие юноши.

– Послушай, святой отче, – громко сказал царевич, в котором радость, что он видит живого человека, смешивалась с гневом, что человек этот не желает взглянуть на него, – послушай, эй!

Монах как будто оглох.

Кровь повелителей-предков взволновалась в юноше. Он схватил пистолет и выстрелил за окном, у которого сидел старик.

– Заставлю тебя заметить царского сына, – прошептал он сквозь сжатые зубы.

И действительно, монах отложил перо и перевел свой задумчивый мудрый взор на пришельца.

– Чего ты хочешь, дерзкий? – тихо спросил он.

– Хочу знать дорогу! Хочу выбраться из этой проклятой трущобы! – с гневом отвечал царевич. Старец вздохнул:

– Праздное любопытство! О, суетный ум человеческий... Разве не знаешь ты, о юноша, что куда бы ты ни пошел, все равно будешь идти стезей, предуганной свыше?

Слова монаха поразили молодого царевича. Вспомнил он ночные приключения и хотел было согласиться с монахом, но присущее ему упрямство воспротивилось этому.

Сказал:

– Думай себе, старик, что хочешь. А я прошу лишь одного, покажи мне дорогу, выводящую из леса.

– Все... все дороги (мечтательно произнес отшельник) сливаются в дорогу нашей судьбы. Хочешь ли, иди направо, хочешь – налево. Все равно придешь ты к тому, что ожидает тебя впереди и что записано в Книге Судеб. Итак, оставь меня в покое и удались.

Уверенность монаха в своей правоте поразила царевича. Он вдруг понял, что монах знает больше, чем говорит. И стал умолять его рассказать об ожидавшей его судьбе. Улыбнулся старец. Перевернул несколько страниц книги, покачал головой.

– О, самонадеянная юность... Знай, что здесь (указал перстом на строки) написано: царевичу Левану, горячсердому, заблудиться на охоте, повстречать пустынножителя, нарушить его спокойствие, потом найти свою суженую, которою будет дочь бедного пастуха, страдающая отвратительной, гнусной болезнью, жениться на ней. И быть ему, Левану, счастливым в браке оном.

Задрожали Левановы руки. Не будь пистолет разряженный – кто знает? – не пролилась бы кровь оскорбителя?

В чувствах своих не знал царевич ни меры, ни удержу... Он бросился бежать от кельи и бежал так долго, покуда изнеможение не подкосило его. Упал. Кругом стояла сказочная тишина. Ни откуда не доносилось ни звука.

– О! – простонал Леван.

Даже эхо не ответило ему. Неподалеку рос малиновый куст. Царевич приблизился к нему и стал есть так же много и жадно, как едят малину медведи.

Опять наступил вечер. Грустно опустив голову, юноша шел лесом. Он не знал, чего ему желать. Слова монаха угнетали его душу. Когда вдалеке показался огонек, никакое волнение не отозвалось в ней.

Медленным шагом подошел царевич к костру. Навстречу залаляли псы.

Какой-то оборванец поднялся, сделал шаг и замер увидев богатый наряд азнаура *, а может быть, даже тавалы **. Языки пламени, трепеща, освещали золото царственной одежды прибывшего и лохмотья человека, поднявшегося от костра.

– Чем можем послужить твоей милости? – кланяясь, спросил бедняк. Он крикнул собакам, и они умолкли.

– Дай мне какой-нибудь ночлег, – вяло проговорил Леван. Сознание, что он связан предначертанием судьбы, не покидало его, был он печален.

– Боже мой! – горестно воскликнул бедняк, – как же мне угодить высокорожденному? Положить тебя у костра, где сплю я, разделяя ложе с собаками? Невозможно! Если твоя милость не брезгает, я положу тебя в сакле***. Там спит только моя больная дочь.

– Больная дочь? – переспросил царевич, оживившись. – А сам ты кто?

– Убогий пастух, если угодно слышать твоей светлости...

Леван догадался, что в сакле лежит больная девушка, предназначенная ему в невесты, и решил погубить ее. Он воспрянул духом.

Не желая вызывать подозрений, он не сразу отправился спать. Посидел с пастухом, отведал его похлебки, приласкал псов. Расспросил, где он, куда надо идти, чтобы прийти в город. И только потом простился, ушел в саклю.

* Дворянин.

** Князь.

*** Хижина, дом.

Ночью, убедившись, что все живое погружено в непробудный сон, царевич поднялся со своего ложа. Чувствовал, как горели его глаза. Руки его были тверды.

Леван осторожно наклонился над спящей, высоко занес руку, со всей силой ударил девушку кинжалом в живот. Громкий вопль огласил ночь. Послышался протяжный хрип, и все смолкло.

Теперь, когда она была уже мертва, он почувствовал облегчение. Грудь его вздохнула свободно. Но вдруг жгучий стыд и раскаяние охватили его...

– Что же я сделал? – в ужасе прошептал Леван (сердце его никогда не было жестоким). – Убил! За что?.. Святой Георгий, покровитель Грузии! А ведь, может быть, монах ошибся?

В страхе, что его застигнут у тела убитой, юноша снял с себя драгоценные кольца, золотую цепь, оставил в сакле кисет * с червонцами и ушел в темноту ночи. Душа его была еще темнее. Сознавал, что никакими бриллиантами не вернуть жизнь девушке, которую он зарезал.

* * *

А утром пастух и его жена нашли свою дочь вполне счастливой и здоровой. Удар кинжалом исцелил ее, она страдала водянкой. Девушка, с волосами, как золотое море, и глазами, сияющими радостью, сидела на постели. В ее исхудалых тонких руках переливались драгоценные камни, которые она подносила к лучам солнца, бившим из окна.

Родители девушки благословляли неведомого посетителя, который принес их дочери исцеление, а дому богатство. В глубине души они верили, что то не был человек, что то был джинн **, вознаградивший их за прошлые страдания.

Пастух теперь не был уже пастухом. Его величали почтенным горожанином. Богатство его росло ото дня ко дню.

Его красавица-дочь вызывала всеобщее изумление и похвалу. Поэты сочиняли ей стихи, рыцари-азнауры мечтали служить ей, но она ни на кого не поднимала взоров своих. В душе ее жил образ таинственного ночного гостя-исцелителя. Девушка не верила, что удар ножом, спасший ее, мог причинить бестелесный джинн.

* Расшитый мешочек (для денег, табака и пр.).

** Дух.

Однажды девушка, при выходе из храма, когда все расступались перед ее красотой, повстречала юношу. Был он светел лицом, подобно молодому месяцу, и осанка его была величественна. Впервые в жизни дрогнули ресницы ее, краска прелестной стыдливости залила щеки.

Юноша преследовал ее до ступеней отчего дома. Дождался, когда она обернулась к нему, и обратился к ней со словами:

– Скажи мне, девушка, чья ты?

Твои глаза напоминают ежевику;

Лоб твой походит на луну,

Которая появилась среди ночи.

Лицо твое подобно утреннему солнцу,

А стан – тростнику, растущему при море...

Спутницы девушки обступили ее, увели в дом. А светлицый юноша, царевич Леван, удалился, неся в сердце своем великую любовь, которая была то легка, как орлиные крылья, то тяжелее горы, называемой Мкинвари*.

Леван пал на колени перед своим царственным отцом, умоляя его о разрешении жениться. Пылкий юноша уверял, что лишит себя жизни, если ему запретят соединиться с возлюбленной. Милостивый царь согласился на выбор сына, благословил молодых.

Все царство радовалось на пышной свадьбе Левана и Натико, так звали молодую. Царевич был счастлив, и каждый, видевший его счастье, радовался в сердце своем.

Однажды старая царица с сестрой Левана и его молодой супругой были в бане. Увидели женщины шрам на прекрасном теле Натико, стали расспрашивать. И узнав причину, передали обо всем Левану.

Глубоко взволновался Леван. Страх и радость обуяли душу его. Опустился перед женой на колени, сказал:

– Неужели?! Тебя, богоданную, хотел убить. О!

И слезы ринулись из глаз его, ибо рыдала потрясенная его душа.

– Возлюбленный, – кротко возразила Натико, – ты исцелил меня.

Она стала на колени рядом с ним. Тогда в Левановом сердце встретились ужас и счастье. Вместе с избранницей судьбы своей обратил он молитву к Тому, во власти Которого были оба они. И Левану казалось, что сквозь туман слез мерцает дивный образ Неведомого, Мудрого.

* Казбек.

Сказание о Мириам-амазонке

Давно это было. Так давно, что только ветхие старцы из племени шапсугов помнят сказание о Мириам-амазонке.

Жил в горном ауле отважный джигит по имени Инал. Внезапно скончалась его молодая жена и оставила на его руках полугодовалого сынка. Не было у Инала ни матери, ни сестры. Сам заботился о мальчике и познал, что не умеет заменить мать, что без новой матери погибнет сынок.

Пошел Инал к богачу, знатному соседу, в доме которого шесть девушек-невест ожидали женихов. Отверг сосед сватовство Инала:

– Не отдам ни одну из дочерей за вдовца. Да и род твой не ровня моему роду, – сказал.

Отправился джигит к другому соседу, а тот говорит:

– Разве ты в жены хочешь взять мою дочь? Ты ищешь няню для своего мальчугана. Нет, дорогой, не поладим мы с тобою.

К бедняку обратился Инал, предложил богатый выкуп за дочь. Бедняк сказал:

– Теперь, когда тебе отказали другие, я оказался хорош для тебя? Ничего от меня не получишь. Поезжай-ка ты к амазонкам, попытай счастья у них.

Знал обиженный бедняк, что каждого горца-джигита встречают амазонки мечами и стрелами. Гибели желал Иналу оскорбленный бедняк.

Переоделся Инал странствующим купцом, сел на коня без шлема, без кинжала, без шашки. Другой конь вез два плетеных короба: в одном товары лежали, в другом сынок спрятан. Переправился он через реку Маныч, отделявшую владения горцев от владений амазонок; проехал через Священную рощу, где в ночь полнолуния воинственные девушки

совершали моления. Там, за рощей, в ковыльной степи, белели шатры амазонок. Был жаркий полдень, когда Инал приблизился к шатрам. На небосклоне собирались грозные тучи.

– Стой! – закричала амазонка, стоявшая на страже. – Что ты, дерзкий, ищешь на нашей земле?

– Ничего не ищу. Гордым владицицам степей предлагаю красивые товары.

В середину лужайки, окруженной шатрами, завели амазонки Инала. Жадно глядели их очи на посеребренные колчаны для стрел, на блестящие лезвия охотничьих ножей, на другие диковинки. Вдруг загрохотал гром, туча, как черный дракон, подкралась к солнцу. Гром разбудил мальчика в коробе, он заплакал.

– Что это? – спросила одна амазонка.

– Как будто козленок, – ответила другая.

– Нет! Ягненок, – возразила еще какая-то.

– Что вы, сестры! – это дитя плачет. Но где же это дитя?

Из рядов вышла высокая девушка с синими глазами и золотой косой:

– Где же это дитя?

Из брюха тучи-дракона брызнула яркая, как огонь, кровь, и вместе с громовым ударом стали падать тяжелые дождевые капли. А мальчик в коробе заливался горьким плачем. Инал открыл короб, вынул ребенка. Как нагибаются колосья пшеницы, колеблемые ветром, так нагнулись амазонки, приблизились, кольцом окружили дитя.

– Дай его мне! Дай! Дай! – слышались голоса. Десятки рук протянулись.

– Да, я дам сынка той, какая пожелает... Но дам навсегда! – перебивая урчание грома, крикнул Инал. – Возьми его, кто хочет, пойдись с ним, стань ему матерью в моем доме!

Окаменели амазонки. А немилосердный дождь хлестал, и мальчик захлебывался от плача.

Тут вышла вперед синеокая девушка с золотистой косой.

– Я возьму дитя, я стану ему матерью!

Нежное сердце было у этой девушки-воительницы. Нежное сердце, в котором внезапно вспыхнула жалость, предвестие любви. Она приняла мальчика из рук Инала, прижала его к сердцу, согрела его теплом своей груди. И тогда ярость овладела амазонками.

– На судный камень! – закричали они.

Посреди лужайки лежал огромный валун. На него ставили совершивших проступок, судили. И если признавали вину, убивали стрелами из луков.

Синеокая девушка, обнимая ребенка, поднялась на камень. В это время туча уже умчалась, дождь перестал, засияло солнце.

– Смерть изменница Мириам заслужила! – звучали злобные голоса.

Вперед вышла королева амазонского племени, в золотом шлеме, с серебряным щитом и длинным узким мечом – знаками ее королевского достоинства.

– По нашим законам смерти заслуживает та, которая изменила в бою или отдала свое сердце мужчине. Мириам отдала свое сердце ребенку. За такой поступок мы не можем Мириам казнить, ни даже судить...

После слов королевы наступила незыблемая тишина. Было так тихо, что чуткое ухо могло услышать, как полевые цветы, склонив свои разноцветные венчики, прошептали:

– Слава тебе, Мириам!

И как листва Священной рощи прошелестела:

– Будь благословенна, Мириам!

Лучи солнца осветили стоявшую на камне девушку, державшую в объятиях затихшее дитя. Лучи солнца проникали до самых глубин ее сердца, наполненного материнской любовью, о которой старцы-шапсуги говорят, что ее сиянью уступает сиянье самого солнца.

КАДРЫ ИЗ СТАРОГО ФИЛЬМА

Мария Чхеидзе

Когда я искала старые семейные фотографии, то в одной папке нашла пожелтевший лист бумаги с моими записями, сделанными когда-то, сорок лет тому назад, в начале 70-х годов прошлого века:

«Опять мне захотелось взять в руки одну книгу, и я знала, что эта книга лежит где-то в старом доме, за десятки километров. В доме, который даже трудно назвать домом, – это скорее только воспоминания, чем дом.

Конечно, я могу туда прийти, но все равно буду там себя чувствовать беспомощным иностранцем. Там, посередине кухни, стоит большой, тяжелый стол, под который я маленькой любила влезать и там тайне играть. Еще я могу опереться о него руками, еще могу сесть рядом к печке и сквозь щель в дверцах долго глядеть на пламя. Потом могу подняться по крутой, скрипучей лестнице и в верхней комнате поискать свои детские рисунки или заиграть на рояле несколько фольклорных мелодий – и потом, с мыслью, успокоенной одушевлением и чувствительностью музыки разных народов, снова вернуться вниз. Книгу, из-за которой я сюда приехала, я уже не буду искать.

Просто человек имеет всегда много возможностей, и ему достаточно их сознавать, чтобы жить. Но ему не нужно о них мечтать. Мечтать надо о невозможном. Иногда для жизни хватит очень малого – и вопреки тому можно притом жить из многого. И всегда лучше писать о действительности, чем о воспоминаниях».

Как видно, я никогда не принадлежала к людям, которые часами рассматривают старые фотографии и вспоминают о прошлом. Нет причины: то, что мы пережили, неповторимо. И все, что было, остается до сих пор с нами, хотим ли мы этого или нет.

А воспоминания – это как старый фильм, на котором можно разглядеть только несколько уцелевших кадров...

...Пятидесятые годы двадцатого века. Вижу, как мы идем на совхозное поле и после уборки урожая там подбираем несколько оставшихся картофелин. И вот передо мной на столе тарелка – вареная картошка со свежим луком. Как вкусно!

Как в тумане вижу маму на стройке новых домов в Роуднице – она подает каменщикам кирпичи. Эти дома, конечно, не для нас, хоть мы живем недалеко – в доме одной, раньше довольно богатой семьи. Наша

«квартира» очень своеобразна – это бывший магазин; сквозь плохо закрытые двери с улицы холодный воздух врывается прямо в «комнату», пыль, плесень; водопровод в проезде, туалет во дворе...

Потом городской совет. За столом сидит какой-то мрачный «товарищ» и нервно стучит карандашом. Наша хозяйка, вообще довольно неприятная особа, после денежной реформы потеряла все свои сбережения и стала совсем злой. Однажды мы не смогли вовремя заплатить за квартиру, и она немедленно пожаловалась. Наш «товарищ» не знал, что делать. Наконец решил умыть руки – пусть «буржуазные элементы» друг с другом разбираются сами.

А вот другая картина. «Буржуазный элемент» в элегантном платье и белых перчатках катит по городу мусорную тележку и с улыбкой подметает улицы. Люди, которые эту даму встречают, обращаются к ней с уважением и называют ее «пани доктор» («госпожа доктор»). Надо сказать, что мне это тогда казалось совершенно нормальным и меня никак не удивляло то обстоятельство, что доктор философии, этнограф подметает улицы. Как написал один чешский поэт Владимир Холан: «Je to doba, nejsme to my» («Это эпоха, это не мы»).

Белые перчатки! Мама всегда умела найти подходящую форму протеста – безразлично, против ли политического безобразия и бешенства или намного позже, в конце жизни, когда она лежала парализованная и немая в больнице и настойчивый священник все старался ее убедить, что надо «примириться с судьбой».

Маме никогда не приходило в голову, что человеку надо примириться с судьбой! И я уверена, что это было одной из главных причин, почему в центре Европы, в тридцатых годах двадцатого века, встретились и сблизились два человека, происходящих из совсем разной среды: кавказский князь, писатель и философ, эмигрант с военным опытом и невероятно чувствительной душой, и научная сотрудница, преподающая славистику в Немецком университете в Праге.

В Праге всегда были жители, принадлежащие к разным национальностям. Не только чехи, но и – в особенности – немцы и евреи. Во время так называемой *первой республики* появился новый этнический элемент – при поддержке чехословацкого правительства сюда прибыли эмигранты из разных областей России. И вот так случилось, что молодая женщина из немецко-чешской семьи пивовара, жившего в городе Пльзень и работавшего на всемирно известном пивоваренном

заводе, встретила в Праге своего учителя русского языка и будущего супруга...

Наверное, они в то время были убеждены, что перед ними «весь прекрасный двадцатый век», как с грустной иронией поет об этом историческом периоде один чешский певец. У мамы была любимая работа, и зарабатывала она достаточно для солидного уровня жизни всей семьи. Отец тоже делал свою работу, писал книги, статьи, встречался с коллегами. Для всех друзей и знакомых двери дома Чхеидзе всегда были открыты (хотя, по воспоминаниям родителей, были среди них и такие, которые не так уж заслуживали подобного отношения, но законы кавказского гостеприимства были священны и в «сердце Европы»).

А потом «прекрасный двадцатый век» оборвался. Наступила ночь, безнадежная темнота, без конца и без края. Да, до сих пор кажется невероятным чудом, что эти двое – Маргарита (по-чешски – Маркета, фамилия по отцу – Сикорова) и Константин Чхеидзе – все пережили и снова встретились, хотя совсем в другой обстановке.

Опять один кадр из старого фильма: на «моем» месте за большим столом посередине кухни сидит папа и собирается бриться. Я уже не могу дождаться, когда он мне позволит взять за один конец старый ободранный ремень и крепко его натянуть, чтобы он мог на нем хорошо наточить бритву.

Суббота и воскресенье – это праздник. В субботу приезжает папа из Праги. Он там работает переводчиком в Торговой палате и всю неделю живет на квартире у каких-то людей в Стржешовицах (район Праги: Praha – Střešovice).

Обычно он привозит – лично для меня – несколько ломтиков ветчины. Настоящий праздник! Ведь мы живем очень скромно. Мама все время для нас перешивает какую-то одежду и готовит так, чтобы было недорого, но все-таки вкусно. Как папе удавалось сэкономить деньги на ветчину, не знаю. Курить он никогда не переставал, но покупал самые дешевые сигареты и еще их ломал пополам...

Но, конечно, самое главное было не ветчина, а радость встречи. Суббота и воскресенье – это общие игры и прогулки по окрестностям города. Только одно мне было жаль – папа всегда отказывался идти купаться на реку Лабе. А в Роуднице река очень широкая и глубокая, и я так любила в ней плавать! Но он только отвечал: «Это не Терек». Это мне было почти так же непонятно, как то, что он требовал, чтобы мама ему давала на обед к рису еще и хлеб...

Несколько лет я играла в индейцев – не только с другими детьми, но и с моими родителями. Папа со своим типичным чувством юмора и фантазией помогал мне сотворить даже наш собственный «индейский» язык. До сих пор у меня перед глазами лицо какой-то цыганской девочки, которая попробовала у нас на улице попросить денег. В ответ папа сразу начал очень сердечно и ласково разговаривать – но по-нашему, на «индейском», или, как мы его тоже называли, на «конском» языке...

Правда, мама немного сердилась, что папа меня учит глупостям, вместо того чтобы я начала изучать какой-нибудь «настоящий» язык (мама, кроме славянских языков, говорила на немецком, французском и английском, умела немного и по-турецки, а после пятидесяти лет даже начала учить китайский). Понятно, что в детском возрасте я предпочитала учиться по-индейски – и только много лет спустя я начала понимать, почему мне отец так охотно помогал с этой «глупостью»: ведь выдумывание нового языка для творческой фантазии гораздо полезнее, чем зубрение правил какой-то грамматики!..

Между прочим, папа беспрестанно следил за тем, чтобы я не забывала упражняться в писании – ведь свою первую «книжку» я написала и дала ему как рождественский подарок, когда мне было 10 лет... Конечно, я не всегда так охотно принимала советы, как в случае «индейской культуры». Например, много раз папа советовал писать дневник, но мне никогда не хотелось делать что-то подобное. Также он пробовал познакомить меня с некоторыми своими знакомыми, представителями чешской культуры. Но, откровенно говоря, мне эти люди в большинстве случаев не нравились – казались или слишком самолюбивыми, или наивными, живущими в своем собственном мире. Впрочем, были и симпатичные люди – например, жена поэта Йозефа Горы (Josef Hora), умершего уже в 1945 году, или писатель Вацлав Каплицкий, с которым я несколько раз встречалась и даже немножко переписывалась. Конечно, я к нему относилась с огромным уважением – ведь между студенткой средней школы и всеми почитаемым старым писателем такое же расстояние, как между маленьким цветочком на равнине и много-сотлетней елью, растущей высоко в горах! Мне не только нравился стиль исторической прозы Вацлава Каплицкого, но и его искренняя откровенность – и кроме того, я была уверена, что это честный человек, который всегда старался папе помочь. Много лет спустя, когда я наконец смогла прочесть его письма в Пражском архиве, где хранятся

бумаги отца, я убедилась, что была права. Десятки писем, и в каждом много добрых слов, полных поддержки.

Например, в декабре 1956 года Каплицкий советует папе, который был в то время без работы и без средств, обратиться к Литературному фонду и лично к одному из его представителей, писателю Адольфу Бранальду. Недавно мне в руки попала книга воспоминаний Адольфа Бранальда, изданная в 1994 году. В первой части он пишет о людях, которые приходили в Литературный фонд просить помощи. И уже на 13-й странице внизу я читаю: «Человек с лицом аскета, князь и доктор Константин Чхеидзе, интеллеktуал и эмигрант... пишет воспоминания, оглядывается, смотрит очень далеко и одновременно очень близко. Наверное, за ним следят. Кто знает, что случилось с этими воспоминаниями».

Да, и такие бывают с воспоминаниями парадоксы – один писатель не знает, что в то время, когда он пишет свои воспоминания, те, другие воспоминания его коллеги уже двадцать лет лежат в Литературном архиве чешского Музея национальной письменности...

И из нашего «старого фильма» уже остается несколько последних кадров. Лето, рассвет, я еще лежу в постели (нам уже удалось недорого купить собственный дом – маленький, бедный, но все-таки наш!). Прибегает мама, из радиоприемника, который она держит в руке, кричит чей-то голос.

«Они здесь!» – говорит мама. Не надо ничего больше – это утро 21 августа 1968 года. И далее мама добавляет с отчаянием: «Уезжай отсюда, уезжай поскорее!» (У нее какие-то родственники в Германии, можно к ним). Я сразу резко отказываюсь: как же бы я тут могла оставить своих старых родителей? А во-вторых: чувство патриотизма было всегда довольно сильно в нашей семье (наверное, больше всего у папы – чувство долга к стране и людям, которые его тут приняли, обязывают); если бы я убежала, я бы чувствовала, что совершила подлость.

Благодаря «Пражской весне» я только недавно поступила в университет – раньше из-за нашего семейного происхождения это не получалось. Но я не думала о том, что будет дальше. В тот же день я поехала в Прагу.

Вижу это, как сегодня: на Вацлавской площади полно танков. Какие-то идиоты расстреляли фасад Национального музея. Улица 28 октября совсем рядом. На самом верхнем этаже Торговой палаты в отделе переводчиков все суется. Только один человек сидит почти без движения,

спиной к дверям, не оглядываясь, делает свою работу. Ведь это папа! Тогда я не могла понять, как он так может сидеть, но позже стало ясно – он знал, что это только начало...

Прошло несколько лет. Я уже работаю в городе Ческа Липа. Вдруг телеграмма – папа лежит в больнице. Еду в Прагу, говорят, что его перевезли в другое место. Наконец-то его нашла. Но вид потрясающий – на постели как бы только тело без души. И вдруг он открывает глаза и произносит отчетливо по-чешски: «Вы выглядите, как моя дочка!» И снова закрывает глаза. Через несколько часов папа умер.

Наконец похороны на кладбище в Роуднице. Людей немного – несколько соседок, еще какие-то знакомые, – и вдруг вместе со своей женой, «настоящей дамой», приходит высокий худой мужчина. Как он успел узнать? Сейчас июль, но у него, как всегда, длинный теплый шарф – фигура, известная по множеству фотографий в печати, в особенности с Международного кинофестиваля в Карловых Варах – профессор А. М. Броусил, ректор Пражской академии художественных наук. И еще появился один нежданный гость. На кладбище уже был католический священник, которого пригласили знакомые нашего папы из Роудницы (мы с мамой сомневались, насколько это верное решение), когда внезапно прибыл другой священник, православный – прямо из Праги. Несколько неприятных минут – наконец священники договорились, молитву читает православный. Но мы с мамой почти не слушаем его – внезапно мы замечаем, что независимо друг от друга обе смотрим в одно и то же место: на краю гроба, на подушке из свежей светло-коричневой глины сидит зелененький кузнечик и готовится к «концерту».

Когда мы с мамой вернулись домой, нам почти не хотелось разговаривать. Но обе мы были уверены, что эта странная картина имела свой смысл. Маленькое чудо природы как бы хотело нам показать, что человек, который так безгранично верил в доброту людского характера и в бессмертие чистой человеческой души, был прав. И это так и осталось для нас навсегда – не как воспоминания, но как самая настоящая действительность.

В ПОИСКАХ БОЖЕСТВА

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее.
Н. Гумилев

...Печаль продуктивнее радости. Особенно для творческого человека, каким был Константин Чхеидзе. Находясь в оккупированной фашистами Праге, он тосковал о мире, о чистоте человеческих помыслов и благородных поступках. Сердце его было обращено к родному Кавказу, к любимым горам и равнинам, на которых бесчинствовал тот же захватчик, топчя достоинство и убивая свободу там, где превыше всего ценились честь и заветы предков.

Ничего удивительного нет в том, что мысли и переживания эти вылились в роман-сказ (определение самого Чхеидзе) «Крылья над бездной». Преступление тянет вниз, а добродетель дарует крылья – убежден писатель. На склоне лет главный герой повествования Эльдар (Агелик) обращается к Всемилостивому и Всемогущему: «Боже, мир твой – над бездной парящие крылья». А ему ли не знать, сколько правды и боли в этом утверждении. Чхеидзе провел его через такие испытания, столько раз ставил перед выбором, как следует поступить, чтобы не оказаться клятвопреступником и положить конец вражде, которую не он начал...

Герой справился со своей задачей, читатель взволнованно шел по его путям и тоже сделал вывод, что между злом и добром нет середины: «А если возникает сомнение – зови совесть на помощь. Совесть подскажет тебе полную правду, ибо в ней эхо и весть Всемогущего Бога».

Какой правды искал и о какой правде в 1942 году хотел известить мир Константин Чхеидзе? Вокруг шла Вторая мировая война, жестокая и алчущая человеческой крови и плоти, уничтожения души и подавления духа. Германский нацизм людьми считал тех, кто имел с ним кровное родство или происходил из той же земли. Все остальные «чужаки», «варвары», с которыми можно не церемониться.

И сегодня, в XXI веке, есть много людей, которые живут ненавистью, насилием, национализмом и расизмом. Среди них и те, кто откровенно провозглашает свои цели. Все они страстно говорят о любви к родине, о долге, чести, справедливости. Но как только случается общественный кризис, война, люди эти мгновенно направляют свою скрытую энергию к разрушению всего живого. К. Чхеидзе уже тогда понимал то, что мы узнали о Гитлере много позднее. А именно, что фюрер был одержим «синдромом распада», являлся крайне нарциссическим человеком, для которого реальностью является лишь его

собственные желания и мысли. Он был фанатично предан расе и народу и заиклен на идее спасти германскую расу, препятствуя смешению ее крови. В «Mein Kampf» он прямо говорил, что надо спасти нацию от сифилиса и предохранить ее, нацию, от осквернения со стороны евреев. Гитлер представлял собой выдающийся пример «синдрома распада», когда нарциссизм, смерть и инцест сделали его врагом человечества и жизни.

Что мог противопоставить такому всемирному бедствию писатель, философ, юрист Константин Чхеидзе? Только другую жизнь, где люди были бы равными, где проблемы противостояния разрешались бы вполне цивилизованными мерами.

Он разместил события романа-сказа высоко в горах, «в орлином гнезде», назвав его Орсундах. Кому-то, живущему не здесь, не в Кабардино-Балкарии, Орсундах не навевает, очевидно, прямых сравнений. Но нам, знающим о существовании Чегемского ущелья, сельских поселений-соседей Эльтюбю и Булунгу, понятно, что речь идет об Орсундаке, которого уже нет на карте, на его месте располагается Булунгу. А в центре Эльтюбю стоит старинная башня Балкаруковых, с обитателями которой он свел тесную дружбу, в Нальчике, в послереволюционные годы, когда служил адъютантом лидера Белого движения Кабарды и Балкарии Заурбека Даутокова-Серебрякова.

По преданию, Константин Чхеидзе был влюблен в княжну Даумхан Балкарукову, чувства были взаимными, дело шло к свадьбе, но эмиграция навсегда разлучила их. Огонь той, Гражданской, войны, опалил сердце молодого корнета, лишил его родины и средств к существованию.

Моздокский дворянин работал и кочегаром, и грузчиком, и даже дровосеком. Жизненные передряги и совесть пробуждающегося писательского таланта раз за разом возвращали его к пережитым событиям и людям, дорогим и близким, которые во время братоубийственной войны рушили вековые устои, а преступление это против человечности объявлялось неизбежным злом ради достижения высоких идеалов социальной справедливости.

Чхеидзе никогда не разделял пресловутого лозунга постреволуционного октябрябрьского времени: «Лес рубят – щепки летят». За каждой «щепкой» он видел живого человека, с его мечтами, надеждами, страданиями, любовью. И так тонко, правдиво и одухотворенно его перо, что невольно входишь в его человеческую систему координат, погружаешься в его мораль, защищающую идею человека в эпоху, враждебную человеку. Можно сказать о нем, как Бердяев о себе: Константин Чхеидзе пытался проповедовать человечность в самую бесчеловечную эпоху.

А теперь вернемся к щепкам. В прямом смысле слова – к щепкам, с которых начинается действие «Крыльев над бездной». Именно по ним, плывущим откуда-то сверху, два равнинных рыцаря, два брата, преодолев крутые горы и страшные обрывы, вышли к Орсундаху, а местные жители оказали им должное почтение и гостеприимство. Один из братьев, младший, в силу обстоятельств был принят за старшего, и это так ему понравилось, что он и впрямь возомнил себя старшим.

Из этой, в сущности, поначалу мелкой лжи выросли крупные проблемы. Знарок горских нравов и фольклора, Чхеидзе ненавязчиво повторяет, что утратить один обычай – значит, потерять народ. Время обмана длилось, и Орсундах раскололся. Были построены две башни, сторонники братьев даже поклонялись разным богам – вот до чего дошли в противостоянии люди, родные по крови. Только опасность – внешний враг, в данном случае адыгейцы*, – смогла на время сплотить Орсундах, но победа, добытая родом Леуана, настоящего старшего брата, и умножившая его славу, ожесточила сердца рода Кадаевых. Вот когда небольшая ложь их предка, Кадая, о старшинстве своем переросла в страх потери имеющихся привилегий и подвигла братьев Кадаевых на преступление: коварное убийство леуановцев.

«Зачем, зачем крылатый золотой диск вознесся в тот день над долиной твоею, о Орсундах. Зачем голубизна и пурпур восточного края неба порозовели, а потом расплылись, подобно невещественной мгле; зачем раскинулось яркое в эмалевой синеве своей небо над злосчастной долиной Орсундаха? Горе, горе надвигалось на тебя, о белокаменный Орсундах с деревьями зелеными. Текли кристально-чистые, как молодой лед, холодные ручьи в долине твоей, Орсундах, текли столетия, не предчувствуя мига, когда замутятся волны их, покраснеют от горячей крови, рыцарской, благородной крови, крови потомков богатырей».

Свершилось убийство, и «три дня пировали кадаевские победители, носители вероломных сердец, предатели, обрызганные кровью героев». Но не знали они, что спасся один из Леуановых, еще не рожденный своей матерью, увезенной верным слугой за хребет гор. Только для мщения станет воспитывать его слуга и имя даст ему Агелик, какое, по преданию, носил ангел мщения.

Того не предвидели подлые убийцы, что весть об уничтожении рода Леуановых, защитников Орсундаха, достигла ушей адыгейских, и князя их безбоязненно вернулись и легко покорили кадаевцев, трусливо поднявших руки. А что такое несвободный горец? «Пешеход», – посмеивались адыгейцы. Птица без крыльев – так понимал народ. Чужая воля, недобрый взгляд завоевателя исказили нравы жителей долины.

А там, «где нет обычаев, там ссоры. Где поругана святость преданий, от туда уходит милость Аллаха... Нет благословения небес в той стране, владыки которой отступились от правды и совести», – мыслил пастырь Шовгай.

Проходит два десятилетия. В Грузии слугой-воином и муллой воспитан Агелик. Когда ему исполнился год (мать не дожила до этого дня), воспитатели провели обряд первого шага. Из всех разложенных перед ним вещей ребенок выбирает оружие, а потом кладет его обратно. И тянется к книге. Взрослые радуются – быть Агелику воином и быть ему мудрецом.

* На самом деле адыгейцы (одно из адыгских племен) никогда не посягали на независимых чегемцев. Другое дело, что дружа с Балкаруковыми, князь Чхеидзе мог слышать легенду, по которой они, Балкаруковы, считали своим родоначальником абадзехского (адыгского) феодала Анфоко.

Гизо, слуга, добивается, чтобы юноша стал выносливым, храбрым, но не раскрывает тайны его происхождения, откладывая этот миг до возможного возвращения в Орсундах.

Мулла Амирхан, заботливый и нежный, искавший Бога в красоте и добре и находивший его там, духовно наставляет Агелика: «Из ничего мы созданы Всемогущим и уйдем в ничто. Мир прекрасен, если прекрасна душа человека. Мир... таков, каким ты сам видишь, создаешь его. Нет ничего в мире, кроме человека благодарного или не благодарного Богу-Создателю».

Движения поэтической души Амирхана были близки Агелику, а наставления пригодились, когда юноша на самом деле попал в Орсундах, не зная, ни кто он здесь, ни даже того, что он горец. Хозяин высокогорного коша, Эльдар-бек, как и принято, вышел встретить путника.

– Сен таулу? (Ты горец?) – спросил приветливо. – Милости просим, брат, отдохнуть у нас.

– Машалла, мен адам (По милости Божьей, я человек).

Больше двадцати лет не был Чхеидзе в горах Балкарии, но не забыл, как разговаривают и как встречают других балкарцы.

Осенью 1942 года фашисты добрались до высокогорных аулов Чегемского ущелья. Желтел березовый лес, покрывающий правый берег реки. Оранжево-желтая облепиха и красный барбарис манили и цветом, и запахом, но людям было не до даров природы. Они снова познали жестокость, насилие, увидели смерть чужих и своих. Хотя были ли чужими для эльютюбинцев директор сельской электростанции и врач с женами и малыми детьми? Их расстреляли первыми, всех до одного, на огородах при въезде в Эльтюбю только за то, что они были евреями. Затем, разумеется, взялись и за балкарцев – коммунистов и партизан. Но не сработал пресловутый лозунг: «Разделяй и властвуй», когда насильнику показалось, что приструнил и подчинил всех. Но законы психологии, но ментальность готовят борцов. А здесь, к тому же, жили семьи тех, кто уже воевал с фашистами в армейских рядах.

Не вышло у арийцев стать господами. Ни в Чегемском ущелье, ни в Баксанском, хотя и сумели ненадолго водрузить свой флаг над Эльбрусом. Пришли они в горы осенью, а уже в самом начале января вышибли их за пределы Кабардино-Балкарии. А страшным последствием этой оккупации стала депортация всего балкарского народа в марте 1944 года в далекие степи Казахстана и Средней Азии. Родину им вернут через 13 лет и даже извинятся, но только спустя десятилетия, в 90-х годах прошлого века. Малонаселенными станут те чегемские места, овеянные славой предков. Что-то порядка тысячи человек насчитывается сегодня в Эльтюбю и Булунгу. Но берегут люди обычаи и достоинство нации. В ноябре 2009 года побывал в этих местах московский журналист. Объездивший полмира, он неподдельно удивлялся гостеприимству местных жителей. С гостями приходит благодать, и это гуманное утверждение незыблемо, как сами горы.

Если бы приезжий журналист оказался гостем равнины, и там его радушно встретили бы дорогие сердцу Чхеидзе кабардинцы. Писатель так мало пожил на родине, так долго среди иных народов, что невольно закрадывается мысль, что все лучшее в его жизни случилось именно здесь, на благословенной земле Кабардино-Балкарии.

Как этнограф, Чхеидзе уверен, что природное естественное знание подсказывало горцам, как важен сначала все-таки сам человек, а потом его национальность или принадлежность к какой-то группе. Хотя обстоятельства все чаще загоняли и их, живущих довольно обособленно, в ситуации, когда надо было примкнуть к тому или иному лагерю, чтобы просто выжить. Обычай уступал место политическому выбору, и тогда страдали все. Гостеприимный Эльдар-бек не раз заявлял, что «справедливость и Бог выше крови». Конечно, это ведь глубоко выстраданное самим Чхеидзе, пережившим драму бело-красных фронтов на Кавказе, когда кровь в прямом и переносном смысле ничего не стоила.

А он мечтал о гармонии человека с самим собой, природой – храмом Всемогущего Бога, с небесами, несущими свет истины. Но реальность поставляла другие примеры, и кровные братья Леуан и Кадай в благословенном горном оазисе Орсундахе не сумели усмирить ни гордыни своей, ни понять ответственности перед потомками, которые пришли в мир и приняли на себя все обычаи, все обязательства, в том числе и кровной мести. И если Темир Кадаев, сын того самого Барзона, сдавшегося на милость адыгейцев-захватчиков, смирился с ролью плательщика дани иноземцам, то в ауле были и другие люди. Они помнили о роде Леуана-воина, тяготились несвободой и осуждали Темира за безнравственность, чувство вседозволенности, дикие выходки его самого и его дружков. Вот понравилась ему девушка, да жених у нее есть. Не беда, в его руках имеется множество средств это изменить. И он выбирает не только жестокое, но и вовсе немыслимое для горца: на просяное поле (на самом деле ячменное) отца жениха загоняют коня, который не столько ест, сколько топчет растения – поля у орсундахцев крошечные, очищенные от камней, – и зерно это поистине драгоценно.

Несчастный отец с извинениями ведет коня к владельцу Темиру, старика убивают, сын его становится безумным, а невеста – наложницей убийцы. Когда появится желание выгодно жениться, то ее, беременную, сначала попытается пристроить за беззубого старика, а потом и вовсе убьет.

Затем хладнокровно украдет другую, украдет против воли, против обычая, да не сладится план его укрепить власть свою над аулом, породнившись с родом Дзеннетты. И девушка окажется непростой и защитником ее выступит Агелик, тот самый, что обычаем был обречен на кровную месть Темиру и имел право его убить. Но потомок Леуана, воспитанник воина Гизо и муллы Амирхана, выбрал иной вариант. Спасши Дзеннетту, привез плененного Темира на суд старейшин.

Не крови кадаевской жаждал Агелик, хотя знал уже свою историю и свою роль в возрождении Орсундаха, но урока человеческой морали всему аулу, когда

«во имя правды и совести горской» перед лицом Аллаха должно свершиться народное правосудие. Да, он остановил самосуд. Но как быть с двоедушием, расколовшим орсундахцев, ведь и обиженные Темиром хотят сатисфакции, и кровные родственники его готовятся к отпору, да и пленённые адыгейцы смеются: убьете нас, так «князь нашего племени вырежет твоих пешеходов. Опустеют ваши ущелья...».

Да, «кровь, кровь обещает залить Орсундах...»

И вновь Агелик находит выход, и снова опирается на знания, полученные в дар от своих воспитателей.

«Бог держит сторону правого – так говорил Эльдар-бек. – Справедливость и правда за нас». Так зачем кровь, когда можно договориться. И Агелик, скорбя о предках своих, тем не менее роднится с кадаевцами, прикоснувшись губами к груди их близкой родственницы старейшей женщины семьи Эльдар-бека. Погашен пожар вражды в ауле, отпущены на волю адыгейцы, да и неопасны теперь они, а князья их станут уважать горцев и считаться со свободным сильным народом Орсундаха.

А что Темир? Утративший сердце теряет и лицо. А лицо – это весь человек от рождения и до смерти. Небесная кара в виде молнии настигает бывшего тирана аула, обращая его в головешку. Как не вспомнить ужасный и вполне предсказуемый конец и самого фюрера, чьи обгорелые останки свидетельствуют об обреченности зла. Впрочем, вопрос это философский...

Вернемся к героям Чхеидзе. Темир как бы слеплен из предания о роде князей Рачикауовых, на самом деле пришлых, но узурпировавших власть в Чегемской теснине. Их безобразия настолько вышли за рамки терпимых, что Большое тёре Балкарии вынуждено было вынести им смертный приговор. Тоже не самосудом вершилось дело, а решением почетных и уважаемых людей, согласно адатам. А исполнителем приговора был назначен князь Малкаруков, как равный по социальному статусу. Как и в случае с Эльдаром (Агеликом), в живых остался лишь на тот момент нерожденный ребенок Рачикауовых, чья мать находилась в Дигории. Через восемь лет она привезла его в Чегемское ущелье, где Большое тёре дало мальчику новую фамилию и разрешило жить на родине отца. Так похожи и так несхожи эти истории, но как мудро по тем временам была пресечена возможность кровной мести, которая на Кавказе кое-где все еще имеет место.

Агелик волею автора взял себе новое имя, совсем не случайное, а соединяющее в себе то, чего так недоставало вынужденному беглецу, и то, кем он стал для родного Орсундаха. Назвавшись Эльдаром в честь Эльдар-бека, согласно татарскому толкованию имени, он обрел и родину, и стал правителем своего народа. Больше не было Кадаевых, не стало и Леуановых. Эльдаровыми стали называться орсундахцы, и всем это пришлось по нраву. Потому что случилось по правде и справедливости.

«...Как пчела собирает мед в сотах земных, так Аллах собирает мед добрых деяний в нетленные соты небес. Эти небесные соты вечны, благовонны. В них содержится все, что зовем красотой, благородством сердечным, мужеством, правдой; в них и любовь, и забота о бедных, в них вера в Божий Суд, в них надежда на справедливость Аллаха здесь и за гробом».

Глубоко проросли семена веры и добра в правителе Орсундаха, посеянные его наставниками. Он усвоил, что обычаи гор священнее чести владыки. Он чистым сердцем своим услышал святое молчание гор. Он страстно и преданно молился Единому Богу. Не удивительно, что ему досталась Дзеннетта.

«Ароматный жасмин, осыпанный розой – вот чем Дзеннетта была. Прекрасной алмазной звездой, сошедшей на землю. Ангелом Божьим, крылатой вестницей блага...»

Девушку ли имел в виду автор? Или страну Прометея, которой он восхищался, о которой помнил и тосковал, ведь нет никакого сомнения, что сердце его было отдано именно ей. Чхеидзе был уверен, находясь в центре Европы, что прогонят подлого насильника, и расцветет благодатный край его мечты, свободный мир под высокими небесами. И снова птицы совьют гнезда над самой бездной, и встанут на крыло подросшие птенцы, а люди терпеливо и мудро будут оберегать свои души и дома от чуждых нравов и засилья злобы. Бесконечно терпение Бога, несокрушима вера Его в человека, духовную взлетность и тонкость души, способные разгадывать Божьи знамения, способные к состраданию, сочувствию, солидарности и уважению прав не только живущих, но и умерших.

Так не бывает, но так хочется, чтобы все это было.

«Во имя Бога, Всемогущего, Милосердного. Во имя Бога, который прощает, награждает и карает. Во имя Бога, который держит в деснице своей прошлое, настоящее, будущее – в равновесии и справедливости», – именно так ведь начинаются «Крылья над бездной». Что из того, что все повествование кажется сказкой? Оно, повествование, по сути есть глубочайшая притча. Душа жаждет благородства, победы добра над злом, «алых парусов» любви и верности. Спасая свою душу, спасаешь других. «И возьмёт человек лишь то, что приобрел своим старанием» (сура 53, аят 39). Чхеидзе напоминает, что грех одного есть порок целой цепи. А вот семья как раз и является звеном рода людского. И «перед каждым есть выбор. Деятель зла навеки присуждается к каре. Исполнитель добрых сердечных движений поднимает людей к Божеству».

Так понимал жизнь и земное служение людям владыка Эльдар орсундахский, из «рода людей солнечной крови».

Нет никакого сомнения, что он есть alter ego самого Чхеидзе. Автор наделил главного героя живым народным сознанием, единственной истинной системой нравственных понятий и ценностей, народной опять же мудростью. Если жить ненавистью, а не любовью, вряд ли возможно оставаться человеком.

Мария Котлярова, Анна Котлярова

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание представляет читателю избранную прозу К. А. Чхеидзе, связанную с темой Кавказа. Хронологические границы включенных в книгу произведений – 1924–1942 и 1971 годы. Печатаемые тексты сверены по автографам (в тех случаях, когда таковые сохранились) или печатным источникам. Орфография и пунктуация приближены к современным, однако в ряде случаев в текстах сохранены авторские особенности написания.

Подстрочные примечания в текстах, поясняющие отдельные выражения, местные названия и реалии, принадлежат К. А. Чхеидзе. Конъектуры составителя помещены в квадратных скобках.

Тексты подготовили:

«Крылья над бездной» – А. Г. Гачева, М. А. и В. Н. Котляровы;
«Повесть о Дине», «Вавочка», «Аслан-Бек Ширипов», «Сказание о Мириам-амазонке» – А. Г. Гачева.
«Кто всех сильнее?», «Сказание об Амиране», «Орлиная скала», «Судьба» – И. Вацек и А. Г. Гачева.

КРЫЛЬЯ НАД БЕЗДНОЙ

Над романом-сказом «из жизни северокавказских племен XVIII века» (К. А. Чхеидзе – В. Каплицкому. 10 июля 1968 // Литературный архив Музея национальной письменности (далее: ЛА), 27/А/12 – 95/76; далее письма цитируются по этой единице хранения) К. А. Чхеидзе начал работать осенью 1941 года. В 1942 году был завершён русский текст, а в 1944-м – перевод на чешский язык, сделанный С. Погорецкой. В том же 1944 году «Крылья над бездной» были приняты к публикации издательством «Топич», однако арест К. А. Чхеидзе в 1945 году перечеркнул возможность его выхода в свет.

В 1956, 1968–1970 годы К. А. Чхеидзе вновь пытается издать «Крылья над бездной». Он последовательно предлагает чешский текст романа пражским издательствам «Праце» и «Чехословацкий писатель», а также словацкому издательству «Молодые годы». Издательство «Праце» первоначально принимает роман, но затем начинаются проволочки.

«Представители издательства Праце постоянно уверяли <...>, что книга принята и что договор об ее издании лежит у экономического директора», потом стали подчеркивать, что нужно подождать «месяц, два, три или больше», а затем Чхеидзе узнал, что книга будет отдана на повторную рецензию и это рецензирование предпринимается с целью отклонить неудобную рукопись (Письмо К. А. Чхеидзе В. Каплицкому от 3 февраля 1970 года). Тогда автор сам забрал рукопись «Крыльев...» и 30 января 1970 года передал ее в издательство «Чехословацкий писатель», а параллельно отправил второй экземпляр в словацкое издательство «Молодые годы», где печатался его роман «Невеста гор». Поскольку в издательстве «Чехословацкий писатель» стали настаивать на содержательных и «идейных» изменениях в тексте,

К. А. Чхеидзе отказался от идеи печатать там книгу. А в 1973 году окончательно стало ясно, что и в издательстве «Молодые годы» «Крылья над бездной» не выйдут.

В настоящее время местонахождение рукописи с чешским переводом романа неизвестно. Русский текст сохранился в архиве переводчицы и друга К. А. Чхеидзе Софии Погорецкой. Он напечатан на больших листах, убористо, через 1 интервал. На последнем листе стоит год окончания работы над романом – «1942». К машинописи приложена дарственная записка К. А. Чхеидзе:

«Дорогой глубокоуважаемой Софии Антоновне Погорецкой – моей талантливой, терпеливой переводчице с русского на чешский; моему милому другу, о котором навсегда сохраню самые светлые воспоминания.

Прошу Вас принять – от сердца к сердцу – русский текст кавказского романа-сказа „Крылья над бездной“ в воспоминание о нашем многолетнем дружном сотрудничестве.

1942/43

Прага

Ваш Константин А. Чхеидзе
Целую руки, работавшие для меня!»
(ЛА. Ф. 139 (С. Погорецкая). 79/63).

На чешском языке фрагменты романа «Крылья над бездной» в переводе В. Быстрова напечатаны в издании: *Zirající do Slunce: Literárněvědný sborník o životě a díle gruzínského knížete Konstantina Čcheidzeho, spisovatele v Čechách/Sestavili V. Bystrov a J. Vacek. Praha, 2002. S. 226–255.* Далее ссылки на чешские публикации художественной прозы К. А. Чхеидзе даны по помещенной в вышеуказанном издании библиографии литературных произведений писателя, составленной В. Быстровым и Й. Вацеком (S. 93–99).

На русском языке роман публикуется впервые.

¹ С т о г н а – площадь, широкая улица.

КАВКАЗСКАЯ ПРОЗА

В настоящий раздел включена малая проза К. А. Чхеидзе, связанная с историей, культурой, традициями Кавказа. Представлены произведения разных жанров: рассказы, очерк, легенды. Все вещи, за исключением «Сказания о Мириам-амазонке», относятся к 1920–1930 годам и опубликованы в эмигрантских изданиях.

Эмигрантские писатели о себе

К. Чхеидзе

Печатается по: Молва. 1933. 23–25 дек. № 294 (517). С. 3.

Автобиография К. А. Чхеидзе была опубликована в варшавской газете «Молва» в рубрике «Эмигрантские писатели о себе». Эта рубрика появилась в газете в связи с проектом создания Литературной академии русского зарубежья, с которым в ноябре 1933 года выступил Д. В. Философов (подробнее см. вступ. ст.), и первыми в ней были напечатаны два автобиографических очерка: С. Шаршуна и К. А. Чхеидзе.

Основной автобиографического очерка К. А. Чхеидзе стал текст, напечатанный в чешском журнале «Проспект» (Prospekt – Literatura, umění, výtvarné, divadlo, film).

1931. № 4. С. 15–16). Этот текст Константин Александрович отправил работавшему в редакции «Молвы» поэту и критику Л. Н. Гомолицкому, присовокупив к нему и другие материалы о своем творчестве. Л. Н. Гомолицкий выбрал для публикации текст из «Проспекта», вычеркнув из него несколько фраз, прямо не относящихся к биографии Чхеидзе, и добавив некоторые сведения, почерпнутые из остальных материалов.

Помимо текстов С. Шаршуна и К. Чхеидзе в газете печаталась обширная статья Д. Философова «Две автобиографии». Она представляла собой своего рода творческий комментарий к ним, размышление о молодой писательской поросли, потенциально талантливой и яркой, но зачастую с трудом пробивающейся к признанию и известности: «К таким потенциальным дарованиям принадлежат Шаршун и Чхеидзе. Может быть, они очень даровиты, но читатели о них знают слишком мало, потому что писатели не имеют возможности высказаться до конца. Во всяком случае, те автобиографические сведения, которые они дают о себе, в высшей степени интересны и поучительны. В возрастном смысле их, конечно, нельзя причислить к молодежи. Вероятно, у Шаршуна уже, так же как и у Чхеидзе, много седых волос. Но, может быть, эти седые волосы не только от возраста. Слишком уж необычна их биография.

Написаны они совершенно по-разному. У Шаршуна своеобразное косноязычие. О многом надо догадываться. Чхеидзе пишет четко, с большой и в высшей степени достойной сдержанностью. Он о многом умалчивает. Целомудренно-скуп, рассказывая о пережитых лишениях.

Спрашивается: можно ли подходить к их биографиям с точки зрения правизны или левизны? Можно ли их распределить по двум нашим „господским“ газетам, гукасовской и милюковской? Они живут совсем в другом мире, с точки зрения Гукасова и Милюкова, где-то на луне. Но именно то, что эти безумцы стремятся в какую-то стратосферу, делает их особенно понятными и близкими всякому изгнаннику, внутренне свободному и с уважением относящемуся к духовным ценностям, к культурному творчеству. В них нет ничего музейного» (Молва. 1933. 23–25 дек. № 294 (517). С. 2).

¹ В воспоминаниях «События, встречи, мысли» К. А. Чхеидзе подробно описал обстоятельства своего ареста и пребывания в пятигорской тюрьме, относящиеся ко времени провозглашения Терской народной республики. Он был задержан в марте 1918 года сначала людьми начальника Пятигорского военно-революционного штаба Нежевясова, а затем охраной на станции Прохладная, когда ехал домой в Моздок, и отправлен в Пятигорск. Освободили Чхеидзе благодаря заступничеству Заурбека Даутокова-Серебрякова, который произнес на только что открывшемся в Пятигорске II Съезде народов Терка «громкую речь о самоуправстве в области и о том, что если „нет других сил, чтобы водворить порядок, то кабардинский народ сам найдет такие силы“» (Чхеидзе К. А. События, встречи, мысли // ЛА. Фонд К. А. Чхеидзе. 6/71/0003. С. 237). В исторических мемуарах о Заурбеке и Гражданской войне в Кабарде, написанных Чхеидзе в 1930-х годах, он, не называя себя, описал этот эпизод как случай с одним из офицеров Кабардинского полка (см.: Чхеидзе К. А. Генерал Заурбек Даутоков-Серебряков и Гражданская война в Кабарде. Нальчик: Институт гуманитарных исследований правительства КБР и КБНЦ РАН, 2008. С. 42–43).

² *Заурбек Даутоков-Серебряков* (1886–1919) – представитель княжеского кабардинского рода Даутоковых, участник Первой мировой войны, организатор и идейный вдохновитель антибольшевистского движения в Кабарде, заместитель правителя Кабарды. Личности и судьбе З. Даутокова-Серебрякова, под началом которого К. А. Чхеидзе служил в Кабардинском конном полку, а затем в отряде «Свободная Кабарда», посвящены книги писателя «Страна Прометея» (Шанхай, 1932), «Глядящий на Солнце» (чеш. пер.: Прага, 1935), исторические мемуары «Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков. Гражданская война в Кабарде» (Нальчик, 2008), а также две «кавказские легенды»: «Заур-бек-разбойник» (чеш. пер.: Večern. 1939. 31 авг. № 203. С. 3) и «Заур-бек в плену» (Večern. 13 марта 1940. № 61. С. 4).

³ Согласно христианскому преданию, апостол Иоанн Богослов был сослан на о. Патмос, который, как и о. Лемнос, находится в Эгейском море, где написал «Апокалипсис».

Повесть о Дине

Впервые: Своими путями. 1926. № 12–13. Июнь – июль. С. 21–24. Подпись: «Кн. К. Чхеидзе».

Прототипом главного героя «Повести о Дине» является Заурбек Даутоков-Серебряков. В основу сюжета рассказа, по признанию самого К. А. Чхеидзе, положены взаимоотношения Заурбека с его верным конем (*Чхеидзе К. А. События, встречи, мысли. С. 299*).

¹ Из перечисленных К. А. Чхеидзе произведений известны опубликованные в журналах «Своими путями» и «Годы» рассказы «Повесть о Дине» и «Вавочка» (их в своем перечне автор именует «двумя повестями», по всей видимости, употребляя слово «повесть» в смысле «повествование»). Остальные произведения – «ряд эскизов и два-три небольших рассказа» – не разысканы, возможно, они существовали только в проекте.

² К. А. Чхеидзе контаминирует здесь военный путь Заурбека и его младшего брата Хасан-бия. Заурбек по окончании в 1912 года Оренбургского военного училища служил в Сунженско-Владикавказском полку Терского казачьего войска в Персии, где в это время шла гражданская война; в Первую мировую войну находился на Турецком фронте. Его младший брат Хасан-бий, служивший в Кабардинском конном полку, участвовал в боях на Австрийском фронте, где и погиб в январе 1915 года. После этого Заурбек подал рапорт о переводе его в Кабардинский конный полк. Рапорт был удовлетворен, но Заурбека отправили не на фронт, а в тыл, начальником учебной команды Дикой дивизии. На фронт он снова попал летом 1917 года, командиром 3-й сотни Кабардинского конного полка, участвовал в боях на Румынском фронте (см.: *Чхеидзе К. А. Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков... С. 17–25*).

³ Эпизод с попыткой революционных властей реквизировать оружие и коня Заурбека описан К. А. Чхеидзе в книге «Страна Прометея» (*Чхеидзе К. А. Страна Прометея. Нальчик, 2004. С. 195–199*) и мемуарах «Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков...» (С. 47–48). В мемуарах красочно описан тайный отъезд Заурбека, будущего создателя повстанческого отряда и революционной партии «Свободная Кабарда», из Нальчика: «На рассвете июля двадцать четвертого дня, имея на себе 270 патронов, вооруженный кинжалом, отцовской шашкой, нагайкой, маузером и карабином, с пикой в руках, на которой трепетал бело-голубой значок, Заур-бек

выехал из Нальчика. Он двинулся навстречу солнцу, на восток, к Тереку. Около р. Шалушка его осветило солнце. Он остановился и еще раз осмотрел подступы к Нальчику – сердцу Кабарды. В его сердце жила надежда» (Чхеидзе К. А. Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков... С. 58).

⁴ П* – станица Прохладная. Здесь находился полевой штаб Терского восстания. Дневниковая запись Батыр-Бека, по всей вероятности, относится к тому времени, когда отряд Заурбека после боя под станицей Зольской отошел в Прохладную «для отдыха, обучения и пополнения сил» (Чхеидзе К. А. Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков... С. 66).

⁵ Бой, о котором идет речь, произошел 23 августа 1919 года во время боевых действий в районе Царицына (см.: Чхеидзе К. А. События, встречи, мысли. С. 299).

⁶ Заурбек Даутоков-Серебряков, прототип главного героя рассказа, погиб в боях под Царицыном 27 августа 1919 года, через 3 дня после гибели Дины (см.: Там же. С. 302). Гибель Заурбека описана в книге К. Чхеидзе «Страна Прометей» (С. 239–241).

Вавочка

Впервые: Годы. 1926. № 3 (25). С. 3–6. Подпись: «Кн. Чхеидзе».

Как и в «Повести о Дине», К. А. Чхеидзе воспроизводит в образе главного героя черты Заурбека Даутокова-Серебрякова, использует в повествовании ряд эпизодов его биографии. Центральная линия рассказа связана с эпизодом, происшедшим во время Турецкой кампании.

Вот как описывает его Чхеидзе в мемуарах «Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков. Гражданская война в Кабарде»: «Заур-бек <...> выходил победителем из всех положений, получал знаки отличия, дважды представлялся к Георгиевскому кресту, однако представление не проходило. Правильно или нет, но то, что представление к кресту не проходило, объясняли враждой и завистью начальника дивизии генерала Ч. Здесь надо сказать, что насколько ближайшее начальство благоволило к сотнику Серебрякову, почти настолько же в штабе его не любили. Сам он терпеть не мог штабных, в штабах не служил, не упустил случая „наступить штабным на ногу“. Вражда и зависть генерала Ч. вытекали из ревности. Оба они – генерал и сотник искали расположения у сестры милосердия Вавочки. Сестра Вавочка, очень красивая и капризная светская барышня, предпочитала общество Заурбека. Справедливо ли это объяснение вполне или отчасти – сказать затрудняюсь» (Указ. соч. С. 19).

К. А. Чхеидзе трансформирует реальную историю, подчиняя ее правде художественного вымысла.

¹ Приводя дневниковые записи Батыр-Бека о своей семье, К. А. Чхеидзе фактически описывает семью Серебряковых: отец, Аслан-бек Серебряков (христианское имя – Никифор), служил в Терском войске. Трое его сыновей: старший – Хаджи-Мурат, средний – Заурбек и младший – Хасан-Бий – стали офицерами. Хаджи-Мурат Серебряков участвовал в составе экспедиционного отряда, посланного Россией в 1912 году на помощь персидскому шаху в разгар гражданской войны в Персии, и одним из мотивов, побудивших Заурбека проситься на «персидский фронт», было то, что там уже воевал его брат. Младший брат, Хасан-Бий, окончил Владикавказский кадетский корпус и Елизаветградское училище, в составе Кабардинского пол-

ка воевал на Австрийском фронте (погиб 15 января 1915 года). (См.: Чхеидзе К. А. Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков... С. 11–12, 17–18, 21).

² Прекрасно, не правда ли? (фр.)

³ Знаете ли (фр.).

⁴ Этот военный эпизод, за который Заурбек получил орден Св. Анны 4-й степени, описан К. А. Чхеидзе в мемуарах «Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков. Гражданская война в Кабарде» (С. 20).

⁵ *Выцукать* – от «цукать»: резко, рывком дергать поводья лошади; в данном случае имеется в виду переносное значение данного глагола: грубо издеваться над кем-либо.

⁶ Данный эпизод – художественное переложение реального случая, происшедшего в семье отца Заурбека – Аслан-бека Серебрякова (см.: Чхеидзе К. А. Страна Прометея. С. 148–150).

⁷ Чудовище (фр.).

⁸ Но это ужасно! (фр.).

⁹ Мой герой (фр.).

Аслан-Бек Шерипов

Впервые: Кавказский горец. 1925. № 2–3. С. 59–65. Подпись: «Конст. Ал.»

Асланбек Джемалдинович Шерипов (1897–1919) – чеченец, один из активных участников борьбы за советскую власть на Северном Кавказе. В феврале 1918 года в качестве делегата от Чечни принимал участие во II Съезде народов Терека, был избран членом Терского Народного Совета, затем комиссаром по делам национальностей Терской народной республики. Был командующим чеченской Красной армией, одним из руководителей 100-дневной обороны Грозного от белогвардейских войск. После захвата Северного Кавказа войсками Деникина создал повстанческий отряд. Погиб 11 сентября 1919 года.

К. А. Чхеидзе, знавший Асланбека Шерипова по Петровскому кадетскому корпусу (в Полтаве), посвятил ему ряд страниц своих воспоминаний. Объясняя причины, по которым гордый и независимый юноша примкнул к большевикам, он подчеркивал, что Шериповым двигала совсем не марксистско-ленинская идеология: «Он считал революцию необходимой и неизбежной и думал, что она может привести к двум результатам: или к распадению империи, следовательно, к освобождению кавказских народов от русского гнета; или к полной перестройке государства на основе самоопределения народов с последующей их свободной конфедерацией» (Чхеидзе К. А. События, встречи, мысли. С. 48).

¹ Здесь и далее К. А. Чхеидзе цитирует рассказ Асланбека Шерипова «Абрек Геха. (Из чеченских народных сказаний)», напечатанный в журнале «Кавказский горец» (1924. № 1. С. 36). В своем очерке он проводит параллели между героем этого рассказа, отважным абреком, «не боявшимся смерти и не знавшим страха», одиноко и гордо несшим свою «долю дикого зверя и героя» и одновременно тосковавшим по человеческому теплу, и самим Асланбеком.

² *Шерипов Асланбек*. Абрек Геха // Кавказский горец. 1924. № 1. С. 36. К. А. Чхеидзе цитирует финальные строки рассказа, кончающегося смертью героя в схватке с правительственными войсками.

Приведем более развернутый фрагмент финала: «И излил Геха в последней страстной мольбе Аллаху весь пыл души и приготовился к последней абреческой игре – к веселой игре со смертью.

И игра началась, веселая, радостная, последняя игра абрека.

Ободренный женщиной, которая удесятерила его силы, Геха с безграничной отвагой поражает врагов... Напрасно разъяряются черные вороны... Геха купается в густом темном море огня и свинца. Смерть кажется Гехе огненным свинцовым крылом вражеских пуль. Геха радуется ее прикосновению и, потешив вдоволь сердце борьбой и кровью трусливых врагов, сам кидается в объятия смерти...

И абрек Геха погиб красивой смертью, погиб победителем. Ведь победитель не тот, кто сражает врага, а тот, кто в жертву борьбе, на верную смерть без раздумья бросает душу и тело свое...» (Там же. С. 35–36).

³ Павел Иванович Новгородцев (1866–1924) – философ и правовед. К. А. Чхеидзе цитирует введение к его книге «Об общественном идеале» (см.: Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 21).

⁴ Шерипов Асланбек. Абрек Геха // Кавказский горец. 1924. № 1. С. 34.

⁵ В 1918 году во Владикавказе вышел сборник «Из чеченских песен», содержащий образцы чеченской народной поэзии в обработке Асланбека Шерипова. Над этим сборником витает гордый, романтический дух молодого Максима Горького, автора «Буревестника».

⁶ Сведений о М. Дудорове и Д. Добриеве разыскать не удалось.

⁷ В своих воспоминаниях К. А. Чхеидзе так комментирует обстоятельства гибели Асланбека Шерипова: «Как мне говорили чеченцы, Аслан-Бек действительно был убит в бою, но не противниками, а одним из „своих“, по мотивам кровной мести. Во время Гражданской войны политические мотивы прихотливо переплетались с личными, житейскими, иногда играла роль и „священная месть“. В некоторых случаях какой-либо чеченский или ингушский род становился на „белую“ или „красную“ сторону, потому что их противники находились на противоположной стороне. Иногда „мстители“ притворно выражали примирение и становились на ту же сторону, где были их противники. Но становились для того, чтобы в удобный момент с ними расправиться. Так, по-видимому, было и с Шериповым» (Чхеидзе К. А. События, встречи, мысли. С. 48а).

⁸ Из рассказа Асланбека Шерипова «Абрек Геха» (Кавказский горец. 1924. № 1. С. 34).

Кто всех сильнее? Балкарская сказка

Впервые: Новая Искра. 1936. 14 июня. № 68. С. 2, 4. Подпись: «К. А. Чхеидзе».

В газете «Новая Искра», имевшей подзаголовок «Орган русской независимой мысли», в 1936 году Чхеидзе напечатал 14 публикаций: статьи по актуальным проблемам политики и культуры, зарисовку «Из болгарского дневника» и четыре кавказские сказки и легенды (все материалы обнаружены Й. Вацекком).

В переводе на чешский язык сказка «Кто всех сильнее?» напечатана: Venkov. 1936. 7 июня. № 133. С. 2.

¹ Петр Николаевич Савицкий (1895–1968) — экономист, географ, социолог, один из основателей и идеологов евразийства; председатель ЦК евразийской ор-

ганизации и глава Пражской евразийской группы. Чхеидзе с П. Н. Савицким связывали долгие годы общения и дружбы, совместной работы в евразийском движении. Примечательно, что сказка с посвящением П. Н. Савицкому была напечатана в газете «Новая Искра», редактором которой был член Литовской евразийской группы журналист Д. Д. Бохан.

Сказание об Амиране

Впервые: Новая Искра. 1936. 18–20 июня. № 72–74. Подпись: «К. А. Чхеидзе».

В чешском переводе: Magazín DP. 1936–1937. № 4. P. 313 – 317; Pražké noviny. 1937. 10 марта, 16 окт. № 58, 243.

Черновик сказания К. А. Чхеидзе в 1936 году подарил Русскому культурно-историческому музею в Праге. В настоящее время этот черновик хранится в личном фонде К. А. Чхеидзе в ГАРФ (ф. 5911, оп. 1, ед. хр. 22). Листы с текстом вложены в конверт, на котором зелеными чернилами рукой К. А. Чхеидзе написано:

«К. А. Чхеидзе.
Черновики легенды об Амиране
(Амиран – грузинский Прометей).
Апрель 1936 г.» (Там же, л. 2).

¹ Гора Казбек:

Орлиная скала

Впервые: Новая Искра. 1936. 12 июля. № 96. С. 2.

В чешском переводе: Venkov. 1936. 5 июля. № 156. С. 1.

По заглавию легенды К. А. Чхеидзе позднее назвал сборник кавказских сказок и легенд, выпущенный в Праге в 1958 г.: *Al-Kostan. Orlí skála*. Praha: SNDK, 1958.

Судьба

Впервые: Новая Искра. 1936. 13 июля. № 97. С. 2, 3.

В чешском переводе: Venkov. 1936. 10 апр. № 93. С. 2.

Сказание о Мириам-амазонке

На русском языке публикуется впервые.

«Сказание о Мириам-амазонке» написано в 1971 году. Авторизованная машинопись «Сказания...» хранится в собрании Ю. Р. Берковского в составе писем К. А. Чхеидзе О. Н. Сетницкой. Писатель прислал этот текст своей московской корреспондентке, дочери философа Н. А. Сетницкого, в письме от 8 января 1972 года в ответ на просьбу Сетницкой познакомиться ее с его сказками и легендами.

По-чешски в переводе Й. Вацека «Сказание о Мириам-амазонке» прозвучало по чешскому радио 28 декабря 1971 года; опубликовано: *Zírající do Slunce. Literárněvědný sborník o životě a díle gruzínského knížete Konstantina Čcheidzeho, spisovatele v Čechách*. С. 220–221.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| <i>Анастасия Гачева. Взыскание совершенства (Жизнь и творчество Константина Чхеидзе)</i> | 3 |
| КРЫЛЬЯ НАД БЕЗДНОЙ. Роман-сказ | |
| Две башни | 48 |
| Гизо | 68 |
| Перевал | 85 |
| На кошу | 99 |
| О Орсундах! | 115 |
| Праздник быка | 135 |
| Темир, Темир... .. | 154 |
| Ночь полнолуния | 173 |
| Судилище мэхкэмэ | 193 |
| Волны... Крылья... .. | 206 |
| КАВКАЗСКАЯ ПРОЗА | |
| Эмигрантские писатели о себе. К. Чхеидзе | 214 |
| Повесть о Дине | 216 |
| Вавочка | 223 |
| Аслан-Бек Ширипов | 231 |
| Кто всех сильнее? (Балкарская сказка) | 238 |
| Сказание об Амиране | 243 |
| Орлиная скала | 255 |
| Судьба | 258 |
| Сказание о Мириам-амазонке | 263 |
| <i>Мария Чхеидзе. Кадры из старого фильма</i> | 266 |
| Вместо послесловия | |
| <i>Мария Котлярова, Анна Котлярова. В поисках божества</i> | 272 |
| Примечания | 279 |

Литературно-художественное издание

Чхеидзе Константин Александрович

КРЫЛЬЯ НАД БЕЗДНОЙ

Роман-сказ

Кавказская проза

Заведующий редакцией В. Н. Котляров

Художник Ж. А. Шогенова

Корректор Н. В. Лысенко

Лицензия ИД № 00003 от 27.08.99

Сдано в набор 10.12.09. Подписано в печать 21.06.10.
Формат 84x108 ¹/₃₂ Бумага офсетная. Гарнитура Мургад.
Усл. печ. л. 15,12. Тираж 2000. Заказ 8082

ISBN 9-785-93680-369-7



Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



Издательство М. и В. Котляровых
(«Полиграфсервис и Т»)
360000, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19
Тел./факс (8662) 42-62-09
e-mail: elbrus@mail.ru www.elbruss.ru

